

ISSN 0132-0637

7 1996

Октябрь

Октябрь

7 1996

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

7

1996

ИЮЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е :

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

| | |
|--|-----|
| Юрий БУЙДА. Рассказы | 3 |
| Константин ВАНШЕНКИН. В былое спуск всегда отлогий. Из книги «Волнистое стекло». Стихи | 14 |
| Владимир КАНТОР. Крепость. Роман. Окончание | 18 |
| Светлана МАКСИМОВА. Пять стихотворений | 50 |
| Павел САНАЕВ. Похороните меня за плинтусом. Повесть | 54 |
| Борис ФАЛЬКОВ. Два рассказа | 129 |

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

| | |
|--|-----|
| Владимир КОШКИН. Инстинкт веры, или Чего жаждут боги | 139 |
| Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ Хирургия повседневных катастроф | 156 |

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ.
Человек без свойств 172

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Свинина могла бы быть более выразительной ... 181

Вавилонская библиотека

Бенедикт САРНОВ. «Ты тоже усмехнулся ей в ответ...»
* Кирилл КОБРИН. Попытка рецензии. * Сергей КАМЕН-
СКИЙ. «Прорвется стих в расхлябанном стихе». ... 185

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимается Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах. Адреса фирм-агентов вы можете узнать в А/О «Международная книга»:

117049, Россия, Москва, Большая Якиманка, 39

факс: (095) 238-46-34

телефон: (095) 238-49-67

телекс: 411160

Индекс издания: 73293

Цена годового комплекта (12 номеров), включая стоимость авиадоставки: 115,0\$.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 29.05.96. Подписано к печати 21.06.96. Формат 70x108^{1/8}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 15 700 экз. Заказ № 549. Цена 8900 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 5 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды»^{*}, 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64, 214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Р а с с к а з ы

ПРОДАВЕЦ ДОБРА

Целыми днями Родион Иванович сидел в лавчонке на базаре, торговавшей цескобьяным товаром,— это был зимой и летом ледяной каменный мешок с единственным окном под самым потолком,— и грыз жареные семечки, чтобы пересилить тягу к табаку. В магазинчике командовала его жена — толстенькая энергичная бабешка, сыпавшая матерком и покрикивавшая на какого-нибудь неуклюжего мужика в тулупе, забывшегося в угол: «Эй, ты чего там разжопатился? Из-за тебя к ведрам не подойти!» Родион Иванович, повинувшись ее приказам, таскал из подсобки ящики с гвоздями, мотки проволоки или «занадобившийся этому черту сепаратор». Усатый «черт» в мерлушковой шапке притопывал сапожищами на кирпичном полу, приговаривая: «Добра-то у вас как много... и откуда только берется?» Выбравшись из склада с сепаратором в руках, Родион Иванович отвечал с одышкой: «Добра-то много — да добра нет». Выражение лица его всегда было печально-ласковое.

Вина он не пил, потому и удивились люди, узнав, что Родион Иванович сошел с ума. Все чокнутые делились в городке на две категории: на тех, кто от роду дурак, и на тех, кто свихнулся из-за безудержного пьянства и лечился в психушке. Ни к тем, ни к другим Родион Иванович не принадлежал, даже на рыбалке замечен не был. Когда жену его спрашивали, не страшно ли ей жить бок о бок с психом, она хмуро отвечала: «Да чего страшного? Сидит себе в уголку, с мухами беседует...»

Вскоре, однако, Родион Иванович нашел себе занятие, прославившее его на весь городок. Из обрезков бумаги он клеил коробки чуть больше спичечного и разносил по домам, предлагая купить за деньги или за спасибо.

Однажды он постучал и в нашу дверь. Я открыл. На пороге переминался с ноги на ногу тощий тип с печально-ласковым выражением лица, в стареньком брезентовом плаще и выгоревшем до рыжины берете на стриженной под ноль узкой голове.

— Не желаете ли добра? — просипел он, заискивающе заглядывая мне в глаза.— Вот.— Он протянул коробочку с потеками клея на углах.— Не обижайтесь...

Выручил отец. Он сердито сунул Родиону Ивановичу какую-то медную мелочь и захлопнул дверь. Коробочку отдал мне.

В своей комнате я осторожно открыл ее. Одна сторона была не заклеена и служила крышкой, внутри оказалась коробочка поменьше, с такой же незаклеенной крышечкой. На дне этой второй коробочки аккуратным почерком малограмотного человека было начертано одно-единственное слово — «добро».

Я до сих пор храню эту коробочку, чудом уцелевшую после всех переездов и передраг. Чернила на донышке выцвели, приобрели желтоватый оттенок, но слово по-прежнему хорошо различимо. Кажется, с годами я начал понимать, что слово «добро» обладает всего одним смыслом, и именно тем, который вложил в него несчастный Родион Иванович из затерянного на краю света городка.

РЫЖИЙ И РЫЖАЯ

По всеобщему убеждению, Петр и Лиза Иевлевы не были мужем и женой, хотя вскоре после знакомства зарегистрировали брак и прожили более сорока лет вместе, в одном доме, и умерли в один день. Только смерть и похороны Буянихи собрали людей больше, чем кончина и погребение Петра и Лизы.

Оба были рыжие, молодые и горячие, чтобы не сказать — бешеные. Петр отличался что в танцах, что в драке. Однажды на спор он плясал без передышки двадцать шесть часов кряду, пока внутренности у него не перемешались, как овощи в кипящем супе, а подметки не стерлись до голой пятки. Лиза пела в фабричном хоре и иногда — опять же на спор — целый час держала верхнее «ля».

Они были слишком похожи друг на дружку, чтобы составить гармоничную семейную пару, однако пришел час, когда вечерние прогулки вдвоем и робкие поцелуи приблизили их к решающему объяснению. Свидетелей при этом, конечно, не было, но тем же вечером Лиза подняла с постели доктора Шеберстова и чуть не силком отвела к Петру, а спустя несколько дней по городку поползли слухи один страшнее другого.

Тут я вынужден сделать небольшое отступление. Незадолго до знакомства и сближения с Петром Лиза с болью переживала неудачный сердечный опыт — разрыв отношений с красавцем конюхом Арвидасом. Парень он был балованный женщинами и любил поозоровать. Однажды ни с того ни с сего велел Лизе прыгнуть с Банного моста в Лаву, и она не раздумывая прыгнула в чем была, — из чего многие заключили, что ради Арвидаса девушка готова на все. До чего там у них дошло — никому неизвестно, но поговаривали — уж эти злые языки, — что до всего. Вскоре после этого Арвидас просто-напросто бросил ее. Городок был свидетелем Лизиных унижений: долгое время она преследовала неверного и даже влезала у него в ноги, но он — видимо, получив свое, — только смеялся в ответ...

Уже потом, годы спустя, из каких-то обмолвок, полупризнаний и домыслов сложилась версия объяснения между Петром и Лизой, состоявшегося у него в саду. Ключевой в этой версии стала Лизина фраза: «Все вы, мужики, одного и того же хотите!» — намекавшая, надо полагать, на ее отношения с Арвидасом. Наверняка Петр принялся горячо возражать. Возможно, он еще и не успел предложить Лизе выйти за него замуж. Не исключено, что оба увлеклись поцелуем, лежа в высокой пахучей траве в конце сада. Лиза была девушка спелая, и многим мужчинам, видевшим ее на речных пляжах, снились ее плечи и шея, — а Петр был парень страстный, чтобы не сказать отчаянный... Поэтому легко вообразить, как Лиза, вдруг спохватившись, оттолкнула Петра и задыхающимся голосом проговорила: «Все вы, мужики, одного и того же хотите!» За этим последовала бурная перепалка возбужденных молодых людей. В кармане у Петра был кривой садовый нож — именно им, это известно точно, он и сделал с собою такое, о чем страшно подумать любому мужчине. Исчерпав все аргументы, он прибегнул к последнему доводу, к такому доказательству своей любви, какого даже Бог, наверное, не вправе требовать от человека.

Доктор Шеберстов сделал что мог, но ведь он всего-навсего врач. Когда Петр наконец забылся сном, доктор собрал окровавленные тряпки и, стараясь не смотреть на Лизу, пробормотал: «Теперь ты свободна. Иди спать». И будто бы Лиза ответила ему: «Теперь я раба ему и никогда не покину его». Может, все сказано было и другими словами, но за смысл — ручаюсь.

Через два месяца они поженились, и никто в городке не обвинял молодых в том, что свадьба прошла тихо, без многолюдного пьянства и удалой драки, как было принято. Хотя, конечно, в те дни по городку ходило немало едких шуточек насчет холощенного жеребца и пышущей здоровьем кобылки.

Молодые получили домик от железной дороги в конце Семерки, в двух шагах от клуба, и теперь их каждый день можно было видеть вышагивающими парочкой вдоль железнодорожного пути. Служба лютая, если кто не понимает. Россия — страна железнодорожная, недаром у нас и главный герой — стрелочник, и тут уж не до разбора на мужчин и женщин: фуфайку на плечи, кирзачи на ноги — и булгачь без продыху зимой и летом с киркой и кувалдой, чтобы дорога была в порядке. Зарплата маленькая, поэтому все держали скотину, благо

с сенокосами у железнодорожников проблем не было: вся полоса отчуждения — твоя.

Нельзя сказать, чтобы горе сблизило супругов, да и может ли такое горе вообще сблизить? Выпив рюмку-другую, Лиза впадала в ярость и кричала Петру: «Уйду! Уйду от тебя! У меня-то есть чем потресть, а у тебя и помахать нечем!» Муж, однако, в споры не вступал, тихо убирался в сарай, к скотине, и там пережидал приступы Лизиной ярости. Она, впрочем, вскоре приходила в себя. Поначалу к ней подъезжали иные мужички, пытались полакомиться, но как-то уж так получилось, что никому это не удалось. Стоило ей вспомнить слова мужа: «Я тебя за это осуждать не стану», как ухажер получал от ворот поворот. По этому поводу Буяниха однажды сказала: «Русской бабе не привыкать жить назло себе».

На пятом или шестом году совместной жизни Иевлевы взяли из детдома девочку, насквозь больную, и выходили, вырастили и, кажется, полюбили. Ничего особенного с появлением Анечки в семье не произошло, разве что Лиза стала пореже впадать в женскую ярость. По воскресеньям они втроем выбирались на берег Преголи, за Башню, и часами гуляли по дороге сбоку сенокосов. Где-нибудь напротив Детдомовских озер останавливались перекусить, и, пока Лиза с Анечкой охотились в траве за кузнечиками, Петр задумчиво наблюдал наливавшийся млечной кровью облака, выстанывая тихонько бессловесную песню. Вообще он старался при посторонних рта не раскрывать, однако Лиза замечала, чувствовала, что внутри него будто ворочаются какие-то слова или даже просто звуки, и он не знал, что с ними делать. Вечером они ужинали втроем на маленькой веранде, пристроенной к домику. Мягкий желтый свет прикрученной — для экономии — керосиновой лампы выхватывал из темноты их руки, расплющенные тяжелым трудом, и тонкие детские пальцы, поправляющие маслянистый локон, и спокойные лица, смягченные усталостью и улыбкой...

Лиза по-прежнему в среду и субботу старалась попасть на спевки фабричного хора. Дня не проходило, чтобы товарки не предлагали ей прихватить с собой и мужа: так уж всем хотелось услышать его новый голос. Лиза лишь отмахивалась: в том, чтобы звать Петра на спевку, ей чудилось что-то стыдное, какой-то намек на тот страшный вечер в саду... С другой стороны, в голову ей иногда приходила мысль о том, что, быть может, Петру стало бы легче, отважась он открыть путь тому слову, звуку, который изнутри бередил и терзал его душу. Хотя она, конечно, и не могла знать, в самом ли деле поможет ему участие в хоре, исполнявшем «По долинам и по взгорьям» и русские народные песни после торжественных заседаний в клубе по случаю государственных праздников.

Летом спевки проходили на большой деревянной веранде, обращенной к старому парку. Анечка бегала послушать хор, а иной раз и сама смело вставала в первом ряду и звонко выводила «Родина слышит», умиля взрослых и даже руководительницу хора Магнию Михайловну, высоченную сухую старуху с белым пучком на затылке, с шалью на плечах, давно вытершейся и превратившейся в рыболовную сеть. Беспокоясь о дочке, Петр тайком пробирался парком поближе к веранде и, спрятавшись за деревом, наблюдал за хором. Когда его однажды заметили и окликнули, он убежал. В другой раз ему не удалось скрыться, потому что позвала его Анечка, которой молчун отказать не смог. Она вытащила отца из темноты за руку и повела к веранде. Магния Михайловна прикрикнула на смущенного Петра и велела ему встать с тенорами, а потом взмахнула руками-веслами и грозно уставилась на новенького. Прячась за спинами соседей, он вполголоса подпевал. Магния Михайловна сердилась, но ни с первого, ни с третьего раза распеть Петра ей не удалось.

Чувствуя себя виноватым, он остался после репетиции, чтобы помочь Лизе и Магнии Михайловне убрать стулья и скамейки.

Анечка бегала туда-сюда по веранде, смеясь и напевая — очень весело, бойко — «Вечерний звон».

— Аня! — со смехом крикнула Лиза. — Я разве так тебя учила? Зачем озорешь?

— Да знаю, знаю — как! — Анечка мигом взобралась на табуретку, строила постное лицо и затянула: — Вечерний звон, вечерний звон! Как много дум наводит он...

— О юных днях в краю родном,— с нажимом, указывая дочке, как именно нужно петь, подстроилась Лиза.

— Где я любил, где отчий дом,— вдруг печально и негромко выпел Петр, отрешенно глядя поверх Лизиной головы.

И уже следующие две строки —

И как я, с ним навек простясь,
Там слушал звон в последний раз! —

они пропели тремя серебряными голосами: ломким — Аня, сильным и звонким — Лиза и чистым, божественно чистым — Петр.

Старуха Агния Михайловна стояла перед ними со стулом, прижатым к груди, и боялась только одного — упасть, потому что ноги у нее отнялись.

Больше Петр не боялся петь на репетициях и на концертах так, как ему хотелось и как он мог. Они с женой по-прежнему вкалывали на железке без продыху, а свободные часы убивали на сад, огород и скотину, но по средам и субботам, за редкими исключениями, оба являлись на спевки к вспылчивой и суровой Агнии Михайловне. На концертах хор встречали бурными овациями: тогда еще редко кто обзавелся телевизором и люди семьями ходили в фабричный клуб, часто невзирая на расстояние и погоду. Хор угощал их и привычной «По долинам и по взгорьям», и «Полюшко», и «Коммунистическими бригадами», но главным номером, которого всякий раз с возрастающим нетерпением ждал зал, было выступление трио Иевлевых, и, когда их объявляли, многие вскакивали и, роняя кепки, начинали хлопать в ладоши, подначивая соседей: «Ну! Чего сидите? Иевлевы ж! Давай!» — и их поддерживал зал, жаждавший чуда.

И Иевлевы исполняли какую-нибудь «Во поле березоньку» так, что в буфете на втором этаже сами собой выстреливали бутылки с шампанским.

Летними вечерами, после спевок, хористы не спешили разбегаться по домам: кто таскал туда-сюда стулья, кто слонялся по залу с метлой, кто глубоко-мысленно курил... Лиза и Петр не обращали внимания на эти нехитрые уловки и, если бывали не в настроении, просто уходили домой. Чаще же, однако, Петру не моглось уйти просто так, словно тяготило его что-то недосказанное, важное, что непременно нужно договорить, выговорить именно сегодня, сейчас. Он бродил с Анечкой по веранде, напевая — мыча что-то себе под нос, то принимаясь вполголоса петь, то вдруг досадливо себя обрывая: не то, не так, да и не нужно этого вовсе. Иногда пыталась помочь Лиза, осторожно подбрасывая слово либо выпевая простенькую мелодийку. Постепенно их колоброевание по веранде замедлялось, словно Иевлевы заметили добычу и уже подбирались к ней, боясь спугнуть, и вот кто-нибудь — бывало, что и Анечка — начинал вести звук... Нет, это была не песня (хотя, конечно, чаще всего именно песня), вообще не что-то определенное, — Лиза плела свою мелодию, Анечка — свою, а Петр словно бродил между ними, качаясь туда и сюда, будто примериваясь, откуда нырнуть, прыгнуть — вверх ли, вниз ли — не важно, важнее место отыскать, — и вдруг нырял, прыгал... Три голоса сливались в один, Иевлевы сходились и останавливались друг против друга, вряд ли уже замечая других, и сросшаяся в одну мелодия стремительно взмывала в темноту над парком — и тотчас падала, и вновь взлетала, и так много раз, пока поток серебряного звука сам собою не начинал уверенно взбираться выше, выше и выше — и исчезал, растворяясь в ночи, в воздухе, и уже сама ночь звучала ломким Анечкиным голосом, сильным и звонким — Лизиним и чистым, божественно чистым голосом Петра... Звук был так высок, его было так много, что как бы уже и не было. Выросшее дерево серебряной мелодии круглилось, вспухало и бурлило незримой кроной, возвращая звук Иевлевым, а они лишь дышали им, не имея к нему никакого отношения, возвращая звук ночи. Голоса их — но это уже были как бы и не их голоса — звенели над облитой лунным светом Преголей, над заречными сенокосами, и усталый дед Муханов вдруг отбрасывал вилы, которыми ворошил сено, и изумленно вслушивался, глядя на звездное небо: Господи правый, что это? Что происходит? Голоса летели над улицами, созывая людей, которые сходились к клубу и молча сгущались у веранды, зачарованные совер-

шенно непонятной силой звука. И вот звучал уже весь блистающий звездами и славой Божией мир, и древнее тысячеокое чудище ночи замирало в своих берлогах и на безумных высотах, и устанавливалась звучащая тишина, какой она была, наверно, в те времена, когда Бог и дьявол еще не вступили в распря из-за души человеческой...

Иногда это наваждение длилось всего несколько минут, а иной раз растягивалось на часы, и потом люди рассказывали о разных чудесах — об исцелениях и полетах наяву, а потом те же люди, посмеиваясь, напоминали друг другу о другой ночи и садовом ноже, положившем начало чуду, однако, вернувшись домой и оставшись наедине с собой, они же думали: «Если в этой жизни бывает такое, значит, эта жизнь того все же стоит? И не в ноже, конечно же, дело, — но тогда в чем? И почему ему это дано, и что это такое, что ему дано?» И какой-нибудь мальчик утыкался носом в подушку, чтобы родители не услышали, как он плачет, и шептал что-то возвышенно-бессмысленное, ради чего можно было и умереть — тотчас же, сию секунду, с радостью и даже без свидетелей...

Анечка выросла, удачно вышла замуж за слесаря с мукомольного завода Колю Суздальцева, у них родились двойняшки. Петр и Лиза состарились, да и голоса их — повкальвай-ка на морозе и на ветру — изменились не к лучшему. Вскоре по выходе на пенсию у Петра вылезла болячками каторжная работа. Он не выходил из больницы. Доктор Шеберстов предупредил Лизу насчет рака — так и получилось. За несколько месяцев внутренности у Петра вконец сгнили, двигаться он уже не мог. Его поместили в отдельную палату, но поскольку пахло от него так, что не выдерживали даже видавшие виды старые санитарки, ухаживали за Петром Лиза да Анечка. Иногда они тихонько пели ему, однако он лишь бессмысленно тарачил налитые слезами глаза. Почувяв кончину, он все же собрался с силами и велел позвать Лизу. Анечка прибежала к матери, когда та, воздев на расплывшийся нос очки, штопала внучкину варежку. Услыхав, что ее зовет Петр, она воткнула иголку в клубок, обмотала ее ниткой и ушла, приказав Ане оставаться дома.

Войдя в палату, она тотчас поняла, что кончина Петра близка. Он попытался что-то сказать ей, но из горла вырвался лишь тихий хрип. Лиза придвинула к кровати два стула, легла рядом с мужем, голову его пристроила на своем плече и закрыла глаза. Утром их нашли мертвыми.

Вот и вся история рыжей Лизы и рыжего Петра Иевлевых. Хотя я не думаю, что это вся история, думаю даже, что что-то осталось за пределом ее — жизнь ли, Бог ли, любовь ли, звук ли какой, предшествующий слову, как любовь предшествует жизни, — что-нибудь да осталось, хоть что-нибудь — иначе зачем живы мы, Господи?

ЧТО-ТО ОРАНЖЕВОЕ

Он бочком протискивался в дверь и, пробормотав что-то приветственно-невразумительное, устраивался в дальнем углу под окном. Следом за ним протискивалась его собачонка с вечно поджатым хвостом, которая пряталась под столом и до самого закрытия не подавала признаков жизни. Зимой и летом он носил черное пальто с прозеленью в швах и черную шляпу с обвислыми полями, покрытую пятнами плесени. Он молча просиживал весь вечер над кружкой пива, время от времени закуривая сигарету (и стараясь при этом чиркать спичкой как можно тише). После двух-трех затяжек он замирал, глядя перед собой пустыми глазами, и не понять было, слышит ли он очередного рассказчика, которыми славилась Красная столовая. На него давным-давно не обращали внимания. Даже прозвище — Утопленник — ему дали нехотя: такой человек заслуживал лишь того имени, что значилось в его паспорте. Его это не огорчало: он привык к одиночеству в глухом городке на краю обитаемого мира.

Он жил с матерью в домике за лесопилкой и служил фельдшером в больнице на Семерке. До работы было далеко, и, чтобы сократить путь, Николай Порфирьевич (так его звали) вымолил у задастных охранниц позволения ходить через железнодорожный мост, соединявший берега Лавы. Проводив егоத்தை душную фигурку презрительным взглядом, охранницы лишь морщились и, ре-

шитительно поправив ремень, на котором висела огромная винтовка, и выпятив обтянутую синей гимнастеркой двухведерную грудь, продолжали обход объекта по узкой металлической дорожке, висевшей над рекой вдоль железнодорожного пути. Больше всего Николай Порфирьевич боялся встречи с поездом на этой дорожке. Если же это случалось, он вцеплялся обеими руками в ржавые перила и зажмурился, чтобы не видеть ни ползущих в угрожающей близости вагонов с их страшно выпирающими буксами, ни струящейся внизу мутно-желтой воды, вспенивающейся вокруг толстенных гранитных опор.

Подпертая плотиной Лава разделялась на два рукава. Один обрушивался водопадом в глубокую и широкую чашу, дно которой было усеяно острыми камнями, другой резко забирал вправо, в узкий судоходный канал со шлюзом, а от него ответвлялся канальчик, доставлявший воду к небольшой турбине и обеспечивавший энергией картоноделательную фабрику и мукомольный заводик. Три рукава встречались под железнодорожным мостом и через полкилометра сливались с Преголей. Пробегая вечером по мосту, Николай Порфирьевич чувствовал себя маленьким и беспомощным перед надвигавшимися из темноты поездами, перед черневшими над водой громоздкими зданиями мельницы и фабрики с клубами пара на крышах, перед струившейся внизу Лавой, наконец перед загастыми стрельчихами, чьи презрительные взгляды оставляли на его лице ожоги. «Скорее! Скорее отсюда!» — это была единственная мысль, владевшая безраздельно бедолагой фельдшером на мосту. Успокаивался он лишь на хорошо освещенном железнодорожном переезде, откуда было рукой подать до дома и Красной столовой.

Промозглым осенним вечером Николай Порфирьевич был достигнут на середине моста поездом, медленно влачившимся к тому месту, где с главным путем встречалась ветка, ведущая к мельнице. Фельдшер замер, вцепившись в перила, но не успел зажмуриться — перед глазами, на самом краю зрения, вспыхнула и тотчас погасла оранжевая искра, и почему-то эта вспышка, словно сигнал тревоги, заставила его сердце учащенно забиться. Он испуганно посмотрел на покрытую мучным налетом черепичную крышу мельницы, на клубы пара, поднимавшиеся над картоноделательной фабрикой, на ивняки на берегу, слившиеся в сплошную темную массу, — и вдруг увидел белую фигурку у воды, там, где сходились две тропинки — одна поднималась к железнодорожному переезду, другая через прибрежные ивняки выводила к Красной столовой. «Это женщина», — сообразил Николай Порфирьевич. Его била дрожь — но не от холода. Держась за перила, он напряженно наблюдал за белой фигуркой, даже забыв о скрежетавшем за спиной поезде. Приподняв подол, женщина ступила белой ногой в воду. Шагнула. Оступившись, покачнулась, но удержала равновесие. Еще раз шагнула, тотчас погрузившись до пояса в ледяную черную воду. Широко развела руки — и вдруг бросилась вперед. Ее подхватило сильное течение. Она заколотила руками, что-то крикнула. Из освещенной сторожевой будки на мосту выглянула стрельчиха в капюшоне. На тропинке со стороны фабрики показались темные фигуры людей. Охранница выстрелила из винтовки в воздух. Люди на тропинке испуганно присели, заозирались. Тяжелый состав начал тормозить, визгом и скрежетом металла заглушая все звуки. Женщину сносило к мысу, где Лава встречалась с потоком пены, выброшенным турбиной. Николай Порфирьевич подался вперед, пытаясь разглядеть женщину в воде. Он вдруг понял, что она вот-вот погибнет. Или погибает. Или даже уже погибла. И он должен что-то сделать. Закричать? Прыгнуть? Он мгновенно вообразил, как освобождается от пальто (пять больших пуговиц, туго входивших в петли), сбрасывает шляпу, пиджак (четыре пуговицы), брюки (три пуговицы), рубашку (пять пуговиц на планке да две на манжетах), кальсоны, ботинки... Нет, как же без кальсон? Нет, нет, все не так и не то, нужно бежать назад — вдоль остановившегося состава, к лестнице об одном поручне, ведущей на берег, огороженный колючей проволокой, нужно пролезть под проволокой и при этом успеть опередить овчарку, которая охраняла предместье с этой стороны (другая — за насыпью, еще две на том берегу), и через пятнадцать — двадцать шагов он окажется у самой воды... Но ведь женщина — у мыса, а между мысом и берегом — метров тридцать ледяной Лавы... Словно прикипев к пе-

рилам, Николай Порфирьевич продолжал наблюдать за мысом, на который уже выбежали люди. Они что-то кричали.

— Он там! — Стрельчиха в капюшоне показала рукой в темноту. — Вон там!

Несколько человек бросились к фабрике — до нее было метров сто пятьдесят — и вскоре вернулись с фонарями и баграми.

Поиски утопленницы продолжались несколько часов. На берегу, несмотря на позднее время, собралось много народу. Поеживаясь под ледяным дождем, мужчины курили и давали советы тем, кто с лодок обшаривал дно баграми. Наконец из воинской части прибыли водолазы. Они-то и отыскали утопленницу, застрявшую под корягой. Тело вытащили на берег. И только тогда Николай Порфирьевич, словно очнувшись от сна, разжал вконец окоченевшие руки и спустился вниз. Собаки не тронули его. Он пробился через толпу к воде. Женщина лежала на спине с широко раскинутыми руками и ногами, изо рта у нее что-то вытекло, испачкав подбородок, белую шею и полное плечо. При свете фонарей Николай Порфирьевич разглядел, что женщина была красива. На ней был домашний халат, перехваченный поясом с кистями.

— Кто-нибудь знает ее? — спросил участковый Леша Леонтьев, сидевший на корточках рядом с утопленницей. — Откуда она такая?

— С поезда, — предположил младший Разводов. — Рижский полчаса как ушел.

Леша снизу вверх посмотрел на него и покачал головой.

— Ладно, пошли по домам. Давайте, давайте, мужики, расходитесь...

Женщину на носилках перенесли к фабрике и погрузили в машину.

— Глянь-ка, и ты тут. — Леонтьев поманил Николая Порфирьевича. — Лезь в кузов, доктор, опять на службу надо.

Николай Порфирьевич полез в кузов.

В приемном покое женщину раздели — под халатом не было ничего, даже чулок. Доктор Шеберстов велел Николаю Порфирьевичу отправляться домой и на прощание поблагодарил за усердие. Фельдшер смущенно пробормотал, что на мосту он оказался случайно, но его уже никто не слушал.

Несколько дней в городке только и говорили, что о загадочной утопленнице. Вскоре выяснилось, что она и впрямь сошла с рижского поезда, оставив все свои вещи и документы в купе. Судя по бумагам, она была замужем, мать двоих детей. Что побудило ее в одном халате и босиком покинуть теплое купе, сойти именно на этой станции (стоянка — две минуты) и отправиться к реке? Опросы проводников, соседей по купе и вагону ничего не дали. В крови покойной не было обнаружено следов алкоголя. Говорили, что, когда муж, приехавший забирать тело, увидел на ее груди и бедрах следы укусов, а на полных плечах — небольшие характерные синяки, он лишь насупил и закусил губу. Из чего завсегдатаи Красной столовой сделали вывод: женщина в поезде встретилась с любовником, который — почему бы и нет? — после страстных объятий объявил, что решил с нею навсегда расстаться; совершенно очумевшая от горя баба и решила покончить с собой...

— Еще та стерлядь! — восхищенно заметил Колька Урблюд. — Таковую и не захочешь, а укусишь!

Дремавшая за стойкой Феня лениво улыбнулась Урблуду и проворчала:

— Врешь, конечно. Но душевно. По-бабьи.

Тогда-то Николай Порфирьевич и попытался внести свою лепту в расследование, предпринятое завсегдатаями Красной столовой. И тогда-то все и поняли, что этот скучный человек преследует лишь одну — и, разумеется, недостоверную — цель: всего-навсего восстановить событие во всей его полноте и достоверности. Увы, его не интересовали версии и предположения. Он рассказывал только о том, что видел сам и заслуживающие доверия свидетели. Он поведал, как увидел белую фигурку на берегу и как решал, прыгать ему в воду или нет. Мужики сходились на том, что, даже если бы фельдшер прыгнул с моста, дело кончилось бы двойными похоронами: темень, ледяная осенняя вода, сильное течение, девятнадцать пуговиц (некоторые насчитывали больше)... А смерти Николаю Порфирьевичу никто не желал. И даже если бы он успел добежать до берега (колючая проволока! собака!), как он преодолел бы рукав Лавы? Как отыскал бы в темноте тонущую женщину и вытащил эту корову на берег?

Наедине с собою он вновь возвращался мыслями к происшествию на Лаве. Быть может, лишь потому, что никаких других приключений в его жизни не было. Но, наверное, еще и потому, что он считал себя непосредственным участником случившегося, а не просто свидетелем. Лежа в постели, он пытался вызвать образ прекрасной незнакомки, молча сидящей в темном купе и глядящей в окно. Тело ее еще хранило память о его руках и губах. Наверное, горькую память. Проводник объявляет станцию. Стоянка две минуты. С улыбкой на губах она спускается на перрон. Мокрый ледяной асфальт обжигает босые ступни. Она идет вдоль состава к переезду и даже не оборачивается вслед тронувшемуся поезду: ее это уже не касается. Она еще не знает, что будет делать и чем все это кончится, но жизнь ее уже безвозвратно перевернута. Пересекает переезд и сворачивает на тропинку, ведущую через ивняк на берег Лавы. Нет ни цели, ни, скорее всего, даже предощущения цели — лишь действие само по себе. Движения сомнамбулы точны и безотчетно целенаправленны. За кустами — тусклый жестяной блеск воды. Высоко в небе — опущенная мукой крыша мельницы, освещенная прожекторами, да клубы пара над строениями фабрики. Громада железнодорожного моста, по которому медленно ползет товарняк. Тщедушный человек, судорожно вцепившийся в перила. Кажется, она чувствует его взгляд. Его страх, недоумение и растерянность. Но она уже ступила теплой ногой в темную реку, и душа ее свернулась бесчувственным комом, как сворачивается в холодной воде капля расплавленного воска. Слышала ли она выстрел? Крики людей? Звала ли на помощь? Или все это почудилось Николаю Порфирьевичу? Как почудилась и оранжевая вспышка перед глазами? Но вспышка-то была. Была.

Он был еще подростком, когда они приехали в этот восточно-прусский городок. Тогда здесь находились репарационные склады, где после депортации немцев были собраны вещи и мебель из опустевших домов. За бутылку-другую водки тут можно было разжиться креслом, фотоаппаратом или часами. Матушка Николая Порфирьевича добыла в складе дамский велосипед — золотые буквы на коричневом лаке, веер туго натянутых разноцветных шнуров по обе стороны заднего колеса (чтобы платье не попадало в цепь и спицы), большой звонок и даже фара, работавшая от динамики на вилке переднего колеса. В первый же день Коля научился управлять чудесной машиной, а на второй, не сказавшись матери, отправился в путешествие по городку. День был солнечный, теплый. Сердце мальчика наполнилось ощущением счастья. Велосипед отлично бежал по асфальту. На крутом спуске с Банного моста велосипедиста догнал грузовик. Коля прижался к бровке тротуара, пропуская машину, и в этот-то миг перед его глазами и вспыхнула оранжевая искра. Велосипед подбросило на голубоко врезанной в мостовую решетке ливневой канализации, руль вырвался из рук, мальчик вылетел из седла и рухнул на тротуар. Домой он вернулся весь в синяках и ссадинах, с ободраным велосипедом, переднее колесо которого было сильно погнуто. Матушка сурово наказала сына, а когда он рассказал ей об оранжевом всполохе перед глазами, сухо изрекла: «Бог предупреждает, а наказывают люди себя сами». После того как матушка вышла на пенсию, велосипед отправился в сарай. И хотя Николаю Порфирьевичу было далеко до службы, матушка так и не отменила запрета, а ключ от сарая носила на поясе.

После происшествия на берегу Лавы Николай Порфирьевич задумался о природе оранжевой вспышки. В обыденных обстоятельствах она могла бы сигнализировать, скажем, о переутомлении. Но в обоих случаях ни о каком переутомлении и речи быть не могло. И на спуске с Банного моста, и на железнодорожном мосту словно кто-то пытался предупредить его об опасности (ведь мост всегда граница!). Быть может, это его собственная нервная система, повинувшись импульсу из глубин подсознания, предупредила об угрозе. Однако эта гипотеза состоятельна лишь применительно к первому случаю. Во втором же ему ничто прямо не угрожало. Он стоял на мосту, крепко держась за перила, на безопасном расстоянии от движущегося поезда. Он не бросился в воду, с места не тронулся, пальцем не шевельнул. Иногда — без особого энтузиазма — он допускал, что подсознание (в наличие которого, впрочем, он не очень-то верил) каким-то чудесным образом предупредило его об опасности бездействия, угрожавшего последующими муками совести и прочей литературой: мог бы спасти — да струсил и т. п. Совесть, однако, Николая Порфирьевича не мучила, и это его

ничуть не удивляло: он был не в состоянии помочь несчастной женщине. Даже если бы прыгнул с моста не раздумывая и не раздеваясь. Его тотчас снесло бы сильным течением, а намокшая одежда и тяжелые башмаки сводили шансы на выживание к нулю. Прыжок с моста был бы поступком абсолютно бессмысленным, и в городке не нашлось бы ни одного человека, который расценил бы его иначе. Это был бы поступок вроде того, который совершила однажды одноногая Даша, полоскавшая белье в реке и вдруг услышавшая зов о помощи. Заваливаясь набок на своем деревянном протезе, эта совершенно не умеющая плавать бабища скакнула в привязанную к берегу утлую лодчонку-душегубку, в которой сидели четверо малышей, перевернула ее и обрушилась в воду. Дурачившимся на середине реки парням (они-то и звали на помощь) пришлось спасать детей. Дашу спасти не успели. Сиротами остались трое ее сыновей и две девочки — всем им пришлось хлебнуть лиха, и никто из них так и не смог понять материнского поступка: безотчетная глупость — это и есть собственно глупость. Так что выбор, перед которым вдруг оказался Николай Порфирьевич, был явно ложным. Попросту говоря, выбора не было. Поэтому и оранжевая вспышка могла означать только одно: внимание, сейчас что-то случится. Что-то страшное. Но на сей раз не с тобой — с другим. С тем, кого ты даже не знаешь — ни в лицо, ни по имени. И этот прекрасный образ никогда не покинет тебя, навсегда овладев твоими мыслями, мечтами, сновидениями. Быть может, лишь потому и затем все и случилось, быть может, лишь затем женщина и покинула теплое купе и погибла в ледяных водах, чтобы никогда не умирать в твоём воображении... При этой мысли по телу Николая Порфирьевича пробежала дрожь, а лицо искажалось испуганно-счастливой улыбкой, которой он, к счастью, видеть не мог. В такие минуты он верил в Бога, в чей замысел ему случайно удалось проникнуть. Он был счастлив, ибо Господь спас его от одиночества, подарив теплое тело незнакомки, ее тайну, ее любовь.

С годами Николай Порфирьевич стер из памяти самую мысль о том, что в ту роковую ночь он оказался перед выбором. Частенько вечерами он совершал прогулку, начинавшуюся на асфальтовом перроне станции и завершавшуюся на глинистом берегу Лавы близ железнодорожного моста. Однажды он выловил там из воды щенка — сучку, нареченную Лавой и беззаветно влюбившуюся в своего замкнутого и робкого хозяина. Иногда, пробегая по мосту, он ни с того ни с сего вдруг останавливался как вкопанный и, вцепившись обеими руками в перила, вглядывался в темноту. Он мог долго так простоять, ни о чем определенном не думая, в оцепенении, из которого его выводил гудок паровоза или оклик скучающей стрельчихи. Встряхнувшись, он бежал домой, где его ждали состарившаяся мать, преданная дворняжка и волнующе-прекрасное воспоминание о женщине, навсегда вошедшей в его жизнь и преобразившей ее, наполнившей до краев его душу, которую по одному этому не надо было спасать, ибо она уже была спасена...

ВИТА МАЛЕНЬКАЯ ГОЛОВКА

Человек от животного отличается лишь способностью ко лжи. Городской сумасшедший Вита Маленькая Головка не умел лгать. Его строгий отец пытался научить сына заводить в назначенное время часы, чтобы тем самым вовлечь парня в упорядоченную человеческую жизнь, но не смог. А после смерти отца Вита и вовсе остался при своем: по ночам гонял на полуразбитом велосипедике (который называл «велосапедом») да иногда подрабатывал колкой дров и рытьем могил. Ему было не под силу сосчитать деньги, но все же он знал, что две бумажки больше одной, поэтому при расчете люди давали ему ту же десятку, но десятью бумажками, и он бурно радовался. Днем он обычно спал — в комнате без занавесок или хотя бы клочка тюля на окне, чтобы не оказаться застигнутым врасплох неведомыми врагами. По ночам же он неторопливо объезжал на велосипеде улицы городка — громадная туша с крошечной головкой на длинной мальчишеской шее — и бесстрашно забирался в самые глухие места, чтобы вовремя засечь приближение опасности и предупредить горожан о нашествии инопланетян, гигантских жуков или детей. С ребятейней у него никак не складывались отношения: дети его дразнили и забрасывали камнями. Выведен-

ный из терпения Вита норовил догнать обидчика и сразить наповал плевком верблужьей мощи.

Мать не знала, что с ним делать, но сдавать его в больницу для опытов, как советовали соседи, не спешила. Быть может, от этой участи Виту спасали деньги, которые он время от времени приносил домой, а может, мать просто жалела его: после смерти мужа и бегства остальных детей из холодного дома старая женщина осталась в одиночестве.

Единственный человек, с которым Вита поддерживал дружеские отношения, была соседка, известная мужчинам городка под кличкой Белядь — так в детстве она выговаривала слово «лебедь». Это была белокурая прокуренная буфетчица из фабричного клуба, которая вдобавок ко всем своим грехам отваживалась не посещать общественную баню. Раза два в неделю она нагревала на газовой плите несколько кастрюль воды и забиралась в цинковую ванну, поставленную посреди комнаты. Застав ее однажды с вывешенными на края ванны белыми ногами, Вита смутился, но Белядь лишь томно прикрыла глаза и проговорила: «Сколько ж на мне грязи после этих дураков...» Ей Вита колот дрова бесплатно.

Но не белыми длинными ногами привлекала Белядь бедного парня. В углу застекленной веранды стояли два креслица с плетеными соломенными спинками. В одном из них любила отдохнуть сама хозяйка, в другом же сидела огромная — в человеческий рост — кукла из очень твердой розовой пластмассы. У куклы были белые блестящие волосы, которые Вита любил расчесывать большим гребнем. Ему нравились ее неподвижные стеклянные глаза с серыми махрами ресниц, высокая шея, едва намеченная грудь и необыкновенно гладкий живот с дырочкой вместо пупка. Заметив, что кукольные прелести смущают Виту сильнее, чем хозяйкины, Белядь, вдоволь насмеявшись и заплакавшись, сшила кукле нижнее белье, ситцевое платье в цветочек и белые матерчатые туфли.

Отдыхая субботними вечерами в соломенном креслице, Белядь с грустной улыбкой наблюдала за Витой, который разговаривал с куклой на своем тарбарском языке или гулял с нею, бережно обняв за талию и стучая ее твердыми розовыми пятками в пол.

Похоже, Вита не очень хорошо понимал, зачем к Беляди ходят мужчины, но не любил, если они спяну принимались смеяться над ним и тем более — над куклой. Его обезьянье лицо становилось страшным, и со звериным рычанием он наступал на обидчика, обращая того в бегство.

Чаще других гостил у Беляди Сергей Вранов, косоротый нестарый мужчина с ребристым лбом, носивший короткие лаковые сапоги и щегольскую дерматиновую куртку. Несколько раз Вита видел, как Белядь и Вранов ночью затаскивали что-то тяжелое в ее дом. Обиhajивая на веранде куклу, он слышал, как Белядь с пьяненьким надрывом говорила ухажеру: «Надоело мне это, добром оно не кончится!» Сергей отвечал ей со злостью: «Проболтаешься — сплю вместе с домом». И при этом постукивал по столу погромыхивающим спичечным коробком. Белядь прерывисто вздыхала — и умолкала.

Сергею-то Вранову и принадлежала идея женить Виту на кукле: любил косоротый иной раз и поозоровать. Мысль эта пришлась по душе и Вите, хотя, конечно же, никакой души у него не было. Быть может, все дело было в том, что в разговоре с Маленькой Головкой Вранов никогда не повышал голоса? Как знать. «Что ж, — вздохнула Белядь. — Душа к душе, а тут двое бездушных — парочка в самый раз».

Она сшила для куклы фату и накрасила пластмассовые губы своей самой яркой помадой, запах которой волновал Виту: это был запах праздника. Погрузившись в повозку, все четверо и отправились в Красную столовую.

Узнав, что происходит, Колька Урблюд тотчас побежал за гармошкой, а вечно пьяный Васька Петух предложил повертеть в кукле отверстие, чтобы муж сполна наслаждался плодами законного брака.

Вранов выставил хорошую выпивку и закуску и пригласил на торжество завсегдаев Красной столовой. Виту и куклу усадили во главе стола и хором закричали «горько».

— Без этого нельзя, — с серьезным видом объяснил Муханов-младший. — С этого жена и начинается.

Под дружный смех мужиков Вита Маленькая Головка неловко приложил-ся своими губищами к кукольным, при этом выпачкавшись в пахучей помаде. Белядь отвернулась. Колька рванул меха гармошки.

Пили, пели, гуляли допоздна. Вита впервые в жизни попробовал водки и развеселился. Он даже сплясал под Урблюдову гармонию: с зажмуренными глазами и широко открытым ртом высоко подпрыгивал на одном месте и взмахивал своими непомерными руками, вызывая у мужиков рвотные приступы хохота. После пляски он вдруг уснул, крепко обняв куклу за талию. Пришлось их, обнявшихся, так и грузить в телегу.

— Сереж, а Сереж, — вдруг сказала Белядь, когда они подъезжали к ее дому, — а чего ты про нас думаешь, а? Мы-то могли бы покрутиться, а?

— Ты баба хорошая, — серьезно ответил Вранов, — но шалава. А я на шлюхах не женюсь. Я тут приметил одну бабочку...

Он причмокнул на лошадь.

Помолчав, Белядь спросила безразлично:

— А она знает, чем ты на самом деле занимаешься, Сереж?

Вранов со скрипом повернулся к ней — Белядь безмятежно улыбнулась ему. Мужчина ответил ей улыбкой, от которой у нее отнялись ноги.

Вита проснулся от криков. Окно пылало красным: горел соседний дом — дом Беляди.

Во дворе суетились люди с баграми и ведрами. Пламя было такое сильное, что уже в тридцати — сорока шагах от пожара брови у Виты запахло паленым.

— Эй! Куда? — завопил Колька Урблюд. — Не пускайте! Сгорит же!

Но было уже поздно. Подвывая от боли, парень нырнул в охваченную огнем и дымом веранду.

Наконец подкатила пожарная машина. Вялые водяные струи ударили в пламя. Выскочивший из огня человек упал наземь и покатился под ноги зевакам. Это был Вита, тащивший за руку белокурую женщину. Его облили водой.

Участковый Леша Леонтьев пробрался через толпу к Вранову и что-то вполголоса сказал ему. Тот пожал плечами.

— Это еще доказать надо, начальник. А, бля...

От сада к толпе брела Белядь с бутылкой в руке. Платье на ней было измято и выпачкано землей. Она уставилась на Вранова и с нехорошей усмешкой погрозила ему бутылкой.

— Что, гад, не вышло по-твоему? Если бы я в саду не свалилась, ты б меня... А вот он... — На нетвердых ногах она шагнула к лежавшему на земле Вите, который все еще однообразно стонал. — А вот он меня спасать бросился...

— Сдалась ты ему, — угрюмо возразил Урблюд. — У него жена есть.

— Витек... — Белядь икнула, наклонилась к Вите. — Скажи ты им, фомам неверующим...

Вита вдруг сел и взмахнул невесть откуда взявшейся железкой. Ткнул вслепую — навстречу голосу. Лицо его было сильно обожжено, и он не мог открыть глаза. Обезьяняя челюсть его дрожала. Леша Леонтьев схватил Белядь за локоть. Вита угрожающе выставил железку перед собой и закричал, срывая голос:

— Не подходи! Мое! Мое! Мое!..

И никто до самого утра не осмелился приблизиться к кукле, превратившейся от огня в сущую уродину: волосы сгорели, руки и грудь оплавилась, шея искривилась, — но никому и в голову не пришло смеяться или даже плакать, видя, как Вита Маленькая Головка то и дело склоняется к своей пластмассовой жене, еще источавшей волнующий праздничный запах губной помады, во всем этом не было ни капли лжи, отличающей людей от животных.

Константин ВАНШЕНКИН

В былое спуск всегда отлогий...

ИЗ КНИГИ «ВОЛНИСТОЕ СТЕКЛО»

Борт

Идут набеги
На прежде устоявшийся уклад.
Прощай навеки,—
Кому-то сын, кому-то муж, кому-то брат.

Худые вести —
Иль, может, это сон приснился злой? —
Опять «груз-200»
Плывет над обезумевшей землей.

И три, когда-то
Ни разу и не думавших о том,
Живых солдата,
Летающих ночью этим же бортом.

Лето

Коровы стали в круг
И, опустив рога,
Готовы встретить вдруг
Возникшего врага —
Нахальных трех волков.

Туман. А на реке
Негромкий стук вальков
Совсем невдалеке.

Такой спокойный стук.
Смех. Бабы голоса.
И спит в кустах пастух,
Ведь высохла роса.

Но смех еще не стих,
Как брезжащий слегка
Пастушеский инстинкт
Тревожит пастуха.

И выстрел, что в лугах
Произведен кнутом,
Развеял общий страх —
Все кончилось на том.

И снова нет волков,
А где-то на реке
Негромкий стук вальков
Совсем невдалеке.

* * *

В былое спуск всегда отлогий,
Даль видится до дна:
Бери одну из аналогий,
Которая годна.

Любой тиран, любой диктатор,
Едва момент возник,
Себе находит Alma Mater,
Которой выпускник.

Вот так, приличия отбросив,
Когда пришла пора,
Пропагандировал Иосиф
Ивана и Петра.

Уходит день

Уходит день, окончившись вполне,
Тускнеет лес, нахмурившийся кстати,
Но долго тлеют небеса в огне,
Как это и бывает на закате.

Собою зажигая окна хат,
Речушку и канавы при дороге,
Смущает нескончаемый закат,
Как преувеличенья в некрологе.

Осенний двор

Начало хмурого сезона.
Гараж. Машина, как в норе.
И неподвижная ворона,
Сидящая на фонаре.

Она привержена покою
И старая, всего скорей,
А может, выглядит такую
Из-за сутулости своей.

Берез осыпанная охра.
Стекла промытого слеза.
И двор, глядящий окна в окна,
Как мы порой — глаза в глаза.

Птица и кошка

Измучены присутствием друг друга
В пределах комнаты одной...
На штору кошка прыгает упруго,
А птица в клетке хохлится родной.

Вновь солнце появляется в тумане,
И птица певчая поет.
А кошка мрачно дремлет на диване,
Обдумывая следующий ход.

Но вечер наступил. Спит птица в клетке,
Накрытой клетчатым платком,
И, как, бывало, в синем небе предки,
Мечтает попорхать под потолком.

Женщина

| | |
|--|--|
| Милая женщина Тонкою кожей бела. Длинная трещина В жизни семейной была. | Снова улещена, Снова обманом взята. Добрая женщина, Нравом из тех, что слабы... Мелкая сдельщина Пестрой дальнейшей судьбы. |
| Бедная женщина Этим по горло сыта. | |

Приход весны

| | |
|---|---|
| Сквозь сонную поволоку Во мраке неподалеку Всю ночь уже напролет Похрустывал тонкий лед. | Весна явилась всей мощью. Так женщина поздней ночью Новей любых новостей Является к вам в постель. |
|---|---|

Прости

В пути,
В краю березок и орешин,
Прости
За все, в чем был когда-то грешен.

Вот так себя средь поросли
Уколешь.
Прости порой за помыслы
Всего лишь.

Совещание молодых

| | |
|--|---|
| Я давал ученикам Очень жесткие уроки. Не учил их пустякам, А вскрывал им их пороки. | Я встречал их иногда, А порою и в печати. Для кого-то трын-трава То, что слышали вначале... Но не раз мои слова Навсегда запоминали. |
| Через многие года, Кстати или же некстати, | |

Трезвый гений

| | |
|--|---|
| Штопора визг, Горлышка оканье. Принявших вдрызг Чоканье-чмоканье. | Коего злят Признаки пения. Но, чтоб понять Эти замашечки, Проще поднять Две-три рюмашечки. |
| Пристальный взгляд Трезвого гения, | |

Потери

Не покидая давно столицу,
Живу все задумчивей и скучней,
Попав как будто бы за границу,
Где мало знакомых и нет друзей.

Перелеты

Осень. Серые тучи холодными стали,
И у точно известной небесной развилки
Перелетные птицы сбиваются в стаи
Для последней прикидки и общей разминки.

А настанет весна — вновь дорога отраднa,
И опять нужно осени чистой дождаться.
Так парят над морями туда и обратно
Перелетные птицы двойного гражданства.

Ностальгия

Ностальгия — как морская болезнь,
Что мгновенно излечивается,
Едва вы ступаете на твердую почву.
Только это должна быть земля
Вашей родины.



Крепость

РОМАН

Глава XVII

ШКОЛА

Им не страшен закон...
Овидий. Скорбные элегии.

За углом дома ветер был ощутимее, не очень сильный, но достаточный, чтобы Петя, стоя на остановке, поднял воротник куртки, спасая горло от простуды. К тому же это, как он полагал, придавало ему мужественный вид. Голова гудела вчерашним.

Интересно, догадывается ли кто-нибудь, что он этой ночью лежал голый в постели с голой женщиной?.. Почему он с Линой решился на такое, а не с Лизой?.. Ведь Лиза хотела того же, что и Лина. Лиза созрела уже, проскочило в голове вдруг паскудное словечко не из его лексикона.

Он сморщился, чувствуя стыд. Покраснел. И в трамвае постарался ни о Лизе, ни о Лине не думать. Только о сочинении.

Первым, с кем он столкнулся в вестибюле рядом с раздевалкой, был Витя Кольчатый, по прозвищу Змей, который вдруг ринулся к нему.

— Слыхал про Желвака? — протянул он руку. — Ночь у Зойки отлеживался. Утром к матери пришел, там его и замели. Его со спины Когрин узнал. Сейчас в ментовке отдыхает. — Тут он увидел Зойку. — А-а, вот и она. Ты чего на Вострого пялишься? Во, ненасытная!

— Как тебе не стыдно, Витя! — сказала, отступая, Зойка.

— Зачем ты так с ней? — заступился робко Петя.

— Она знает, зачем. Пошла прочь! Шалава!

И, когда Зойка скрылась в проеме дверей, ведущих на лестницу, Змей понял:

— Желвак мне позвонить сумел. Он перед тем делом с ней же ханку жрал. Зазвала к себе, пузырь поставила и на жизнь жаловалась. Кстати, на тебя да на Когрина. Но Желвак к тебе хорошо относится. Он ей пистон поставил, а потом его с бутылки повело, мне позвонил, добавить хотел, да я на тренировку бежал, он к дворовым своим корешам, там еще жажнул. Вот кирпичом и пульнул. Пьян был. Головешка-то не работала. И опять к Зойке, она же всегда дать готова.

Петя стоял растерянный, недоумевая, зачем Змей все это ему вываливает. Обычно с Кольчатым они и тремя словами могли за неделю не обменяться. Но тут же все выяснилось.

— Мелким хулиганством сочтут, — шипел Кольчатый ему на ухо, — он же без намерения. Если б он кому об этом заранее говорил, было бы с намерением, это уже другая статья. Хуже. А так — пустяки! Ты понял, Вострый?.. Не подведи друга.

— А как я могу подвести?

— Да ты подумай! Держи при себе, что знаешь. И путем. Не будешь же ты своего русского из-за еврея губить.

— Какого еврея? — побледнел, испугавшись, Петя.

— Из-за Когрина.

— Эй, — крикнул, пробегая мимо, Телков, — вы чего тут? Акула уже поплыла. — Румяный, вечно улыбающийся, будто ничего не происходит и ничего не может быть страшного в жизни, он нырнул в дверной проем и быстро побегал по лестнице вверх. За ним, догоняя его, ринулись Змей и Зойка.

Петя поспешил следом. Почти у самых дверей класса он увидел Лизу. Похоже, она ждала его. Змей, Телков и Зойка скрылись за дверью, а она пошла ему навстречу. Лиза была бледна, под глазами синяки; веснушки, еле заметные обычно, теперь отчетливо выступили на переносице. Но под коричневым школьным платьем отчасти опытный с прошедшей ночи Петя увидел красивое женское тело. И со странным чувством самодовольного понимания ощутил, что она влечет его.

— Как дела у Герца? — спросил он.

Лиза нахмурилась и сухо ответила:

— Не уверена, что ты интересуешься судьбой Александра Рувимыча Когрина в самом деле. Но если хочешь знать, я вчера еще ночью звонила Герцовой Наташе («Пока я с Линой...» — промелькнуло у Пети в голове), а она сегодня мне до школы звонила. Там лучше. Наташа — молодец, настоящая верная жена. Герца поддерживает замечательно! Такой жена и должна быть. Впрочем, тебе это не интересно и не нужно.

— Почему это? — растерялся Петя.

— Мальчик, ты не собираешься в класс? — выглянула криворотая Акула, математичка.

— Ой, извините, Валентина Александровна, мы сейчас с Петей по поводу комсомольского собрания договоримся, — ласковой лисой улыбнулась Лиза. Петя так бы не сумел перестроиться в момент.

— Тогда поскорее. Мы сложный материал сегодня повторяем. — Дверь закрылась.

— Почему? — переспросила Лиза. И вчерашним вечерним жестом прижала руку к горлу, словно задыхалась. — Петька, неужели ты не чувствуешь, что я видеть тебя хочу?! И вовсе не в этих стенах!.. На прочти. — Она сунула ему в руку листок бумаги, повернулась и пошла прочь от его класса.

Петя развернул листок. Это было письмо, не стихи.

«Петенька! Прости за все мои насмешки. Можно тебя спросить? Почему ты стал со мной чужой? Меня мало гладили, а ты много. Я сначала обожглась, а теперь кожа слезла. Ты покраснел? Я тоже. Я, наверно, не очень умная. Это все во-первых. А во-вторых, у меня всю ночь очень болела голова. Петенька! Я тебя очень прошу, пойдем сегодня куда-нибудь. И еще. Если не сможешь или не захочешь, то последнее. Я сейчас много решаю разных задач. А уж эту реши ты. Ты сам остыл или я тебя охладила? На этом все. Твоя?.. Лиза».

Опять заняло сердце, опять ему стало страшно, что она его так любит. Спрятав записку в карман, Петя вошел в класс.

— Ну что, наговорился, мальчик? — спросила математичка. — Иди тогда к доске и доказывай теорему Виета.

Первые три урока по классу шло смутное перешептывание, ждали четвертого — литературы. Учителя, кроме математички Акулы, спрашивали вяло. На переменах разговоры и предположения шли в полный голос. Ходили из кабинета в кабинет, решали задачи, прогоняли прошлогодние билеты, делали опыты, но как-то отстраненно. Да и учителя были встревожены, часто выходили из классов, не дожидаясь звонка, бежали в учительскую, куда таскались подслушивать Змей, рыжий Сашка и будущий золотой медалист Вася Утятников. Для репутации школы это было чудовищное ЧП. Но ясно было, что учителя сами еще ничего не знают и живут слухами, потому что Герца пока в школе нет.

Девочки вели свои пересуды в классе. Ребята толпились в коридоре около подоконника: и Змей, и долговязый Юрка Мишин, и Вася Утятников, и рыжий Сашка, и Костя Телков, и Петя, разумеется.

— Пшикалка, ну директриса то есть, не захочет дело поднимать!

— Точно. Замять попросит.

— Попросит! Потребуется, милый ты мой. Ты что — честь школы!

— А если еврей помрет?

— Х-хе, навряд. Желвак пьяный был, слабенький.

К говорившим подошел физкультурник Игорь Сергеевич, под два метра ростом, ходивший по школе в синем тренировочном костюме (на занятиях очень любивший шутать девочек — Лиза рассказывала).

— Жаль Желватова. Что ж вы его не уберегли? Кто теперь за школу выступать будет? Что молчишь, Кольчатый?

— Да я что? — ответил тот. — Да мы его, Игорь Сергеевич, на поруки — хап! Сыграет — и опять у крепость!

— Тебе шуточки! А у меня игра горит. Драть вас некому.

— Нынче не крепостное право, Игорь Сергеевич! Нынче мы государственная собственность, а не помещицья, так что уж драть нас не могли, — сострил Мишин.

— Э-эх! — Физкультурник зашагал навстречу юной учительнице химии, игриво на нее поглядывая.

— Ишь, жеребец! Поскакал! — зареготал Кстин.

Но тут долетело, все разговоры прерывая:

— Герц пришел. Говорят, Герца видели.

— Может, пронесет?

— Не, вон какие тучи собираются. — Длинный Мишин издали увидел решительно шагавшую к ним Пшикалку.

Она носила коричневые платья до щиколоток, черный галстук на шее, короткую комсомольскую стрижку, была худа.

— Попрош-шу пройти в кабинет литературы. Шейчаш придет Григорий Александрович, надо, чтобы вы сидели по мештам.

Расселись по местам. Петя сел рядом с тихим Колей Васильевым. Но ручек и тетрадей не доставали, словно ждали чего-то. В кабинете было как всегда сумрачно: огромные горшки с какими-то ползучими и выющимися растениями стояли по подоконникам, а вдоль окон — стенды с датами жизни великих писателей и иллюстрации советских художников к их произведениям.

Пшикалка принялась говорить об их долге — всем, как один, выступить и осудить хулиганский поступок товарища, добиться его исправления, а потом, взяв на поруки, совместными усилиями перевоспитывать, чтобы честь школы никогда больше не была замарана. Змей и Телков понимающе и довольно переглянулись.

В это время дверь резко открылась, в класс вошел Герц. Был он мрачен, глаза запали, превратились в щелки. Но в остальном все такой же: комиссар двадцатых годов.

— Здравствуйте, Григорий Александрович, — вскочила ему навстречу комсорг Бомкина, а следом весь класс, как положено, поднялся, приветствуя учителя вставанием. — Мы бы сейчас хотели комсомольское собрание провести.

— Это я с ними пообшудала вчерашнее, — пояснила Пшикалка.

Герц еще больше помрачнел.

— Это лишнее, Анна Васильевна. Сейчас у нас по расписанию сочинение должно быть, а все остальное потом.

— Понимаю ваши чувства, — прошептала, потупившись, Пшикалка и вышла из класса.

Герц закрыл за ней дверь, повернулся к сидящим, сказал сухо:

— Если вы рассчитываете, что после вчерашнего не будет сочинения, вы жестоко ошибаетесь.

— Григорий Алексаныч! А как вчера бы-ыло? Нам бы подробности! — вылез, юродствуя, рыжий Сашка.

Герц тяжелым взглядом осадил его, но не ответил, глянул на Петю.

— Переходим к сочинению. Помните, что времени у вас немного, но я полагаю, дома вы хоть чуть-чуть думали, по театрам не ходили, с кирпичом под окнами не стояли. Текстом пьесы пользоваться разрешаю. Начинайте.

Послышался чей-то одинокий кашель, затем все стихло...

Прозвенел звонок. Торопливо сдавались последние сочинения.

Собрав тетрадки в стопку, Герц взял их, поднялся и сказал:

— Я бы попросил всех не расходиться. Я сейчас вернусь.

Минуты через три он вернулся, но не один. Следом в сопровождении пожилого, квадратного, с толстыми плечами и толстой грудью милиционера в перетянутой ремнями форме появился Юрка Желватов. Шел он твердым, пружинистым шагом, опустив голову, набычившись, напряженно озираясь, окидывая класс быстрыми взглядами. Петя ожидал увидеть его испуганным, но не тут-то было: разве что слегка подавлен своим положением. Как животное, которое попало в капкан, но пока не рвется, присматривается. Желватов при этом хотел выглядеть виноватым, но не умел. Он упирали глаза в пол, однако наглость, нераскаянность так и перли из него. Еще он старался не уронить себя перед приятелями, поэтому, когда милиционер усадил его за парту и сам с трудом втискивался рядом, ухитрился улыбнуться Змею, Кстину, всем.

Герц оглядел класс.

— Я просил никого из учителей не присутствовать на этом собрании, потому что хотел поговорить с вами, как с людьми...

— А раньше мы были для него нелюди, — шепнул сзади Змей.

Открылась дверь, вошла Лиза:

— Григорий Александрович!

Он с тревогой посмотрел на нее. Она покачала головой: мол, все в порядке, не тревожьтесь.

— Можно я посижу?

— Садись! — буркнул Герц.

Лиза села за парту позади Пети.

Герц засунул большие пальцы рук за брючный ремень, качнулся с пятки на носок и обратно и заговорил:

— Я предполагаю, все вы, во всяком случае, большинство, знаете, что вчера произошло. Но все же я вынужден вкратце рассказать, чтобы вам было понятней, о чем я дальше буду говорить. — Он вздохнул, потер лоб рукой, словно пытался найти формулировки поточнее. — Вчера ученик вашего класса Юрий Желватов бросил в мое окно кирпич. Разбив окно, кирпич попал в голову моему отцу, склонившемуся над коляской, где лежал мой годовалый сын. Кирпич нанес тяжелую травму черепа моему отцу, а если бы попал в ребенка, мог бы убить насмерть. Если бы было известно, что Желватов бросал кирпич с заранее обдуманном намерением, этот поступок можно было бы назвать покушением на убийство.

— Товарищ правильно квалифицирует, — пыхтя, подал голос толстый милиционер.

Но Герц не стал продолжать о намерениях.

— Я привык называть вещи своими именами, даже если это кому-то и не нравится. Могу сказать о себе словами поэта Павла Когана: «Я с детства не любил овал. Я с детства угол рисовал». Такое уж у меня воспитание — на идеях русской литературы. Я, извините, реалист. Вы относитесь к литературе как к школьному предмету, материалу для нудного заучивания, а ведь — это школа жизни. Вы думаете, ваша жизнь впереди, что она еще наступит, а пока вы к жизни только готовитесь, учитесь. Это ошибка. Вы уже живете. И в вашей школьной жизни есть все проблемы взрослого мира.

Все сидели с сумрачным, тупым выражением на лицах, не понимая, куда Герц клонит и почему он так далеко ушел от конкретного дела, от того, что будет с Желватовым. Это затягивание казалось преднамеренной жестокостью по отношению к нему, теперь уже выглядевшему затравленным, бросавшему из-за массивной спины милиционера блудливые взгляды на одноклассников в поисках поддержки. И кто-то избегал его ищущего взгляда, а кто-то ободряюще улыбался в ответ.

— Меня удивляет бессмысленность поступка. Я понимаю, что может быть убийство из ненависти, мести... Я не могу допустить, что Желватов ненавидит меня. Наше общение не столь тесно, чтобы я мог ему как-то навредить, отнюдь я к нему всегда неплохо, не связаны мы с ним никакими запретными делами, чтобы он мечтал избавиться от свидетеля путем убийства...

— Черт нерусский! — снова прошипел сидевший сзади Лизы Змей.

— Мне понятно, когда убивает грабитель. У него есть цель — деньги. Здесь же на первый взгляд никаких мотивов. Так сказать, немотивированное преступление.

— Товарищ правильно квалифицирует, — снова подал голос милиционер.

— Возможно, что и правильно, — согласился Герц. — Но я не к тому веду. А к тому, что у этого вроде бы немотивированного преступления не может не быть причины и реального виновника. Которого по закону не накажешь. И тут я перехожу к самому главному своему рассуждению.

Класс недоуменно переглядывался. Что за главный виновник? Даже Желватов выглядел озадаченным.

— Я знаю, что родители Юры Желватова переехали в Москву, когда мальчику было всего четыре года. У него отец сельский механизатор, потом инженер. Юра жил и воспитывался в народной, крестьянской среде. А я верю в народ, в детей из народа. И считаю, что причиной многих наших бед была интеллигенция, особенно нынешняя, превратившаяся, по словам очень большого современного русского писателя — когда-нибудь вы его прочтете, — в образованщину. То есть потерявшая веру в народные идеалы, умственно развратившаяся и думающая только о своем преуспевании, не замечающая уже грань между добром и злом, ибо все для нее в нашем мире относительно. Она не видит ничего дурного в самом плохом поступке...

«Это он про меня», — с замиранием сердца вдруг понял Петя, мигом вспомнив все свое скверное: желание преуспеть, трусость, постыдные сексуальные порывы, особенно этой ночью с Линой.

— ...потому что книжные мальчики легко могут себя убедить в благотворности, не говоря уже о позволительности, самого гадкого деяния, они уверены в своей безнаказанности, потому что умеют делать плохое чужими руками, да и надеются на семейные связи, на своих дедушек и бабушек. Русская литература всегда ненавидела книжников и фарисеев, много о себе мнящих, и этим она мне близка. Эти книжники своим извращенным сознанием подготавливают почву для дурных поступков других людей. Образно говоря, вкладывают им в руки камень. Есть такой роман — «Братья Карамазовы». Великого русского писателя Достоевского. Там книжный мальчик Иван Карамазов подтолкнул на убийство собственного отца человека из народа — Павла Смердякова, растлив ему ум разговорами, а потом указав и цель преступления. Человек из народа у нас есть, он сидит рядом с милиционером. Остается найти подстрекателя, нашего Ивана Карамазова, которому тем легче было спровоцировать другого, что речь не о его отце шла.

Петя растерянно оглянулся на Лизу, и она, видно, ждала этого, потому что, тревожно зыркнув на него, не обиделся ли он на утренний разговор, шепнула о Герце:

— Он обалдел.

И тут же вскочила.

— Вы не понимаете, что говорите, Григорий Алексанч. — Она позволяла себе многое на правах почти приятельницы. — Разве кто Желватова насильно портвейном поил? Камень ему в руку вкладывал? Антисемитизму учил? Вы посмотрите на него: он вполне сформировавшийся подонок и сам за себя отвечает.

— Сядь, Лиза, я тебе отвечу. В тебе чувства говорят, конечно, но говорят зря, — ироническим тоном сказал Герц. — Ведь я пока никого конкретно не обвинял. При чем здесь антисемитизм? Я исхожу из логики. Я Желватова никогда не обижал и не мог обижать, потому что русская литература всегда любила народ. А я ее адепт.

— В таком случае я не люблю мой народ! — выкрикнула Лиза.

— Ты еще от Родины откажись! — вякнул вдруг зло молчальник Телков.

— Для некоторых такого понятия, Костя, не существует,— вдруг прорезалась спортсменка и двоичница Тося Маркова, всегда раньше лебезившая перед Лизой.

— Ты бы помолчала, Лизок,— подал голос и Кольчатый.— Для здоровья полезней.

— Не буду! Вы, Григорий Александрович, говорите невесть что, а Желватов с дружками уже ликуют.

— Ну хорошо, я тогда скажу напрямую!— озлился Герц.— Вчера после уроков я видел, как Востриков с Желватовым стояли под моим окном, беседовали и на окно посматривали. А вечером уж только Желватов явился! Востриков в театр собирался, куда и поехал, а науськанный им Желватов с камнем под окном. Еще Достоевский писал: виноват на самом деле тот, кто идею подал. Убил Смердяков, но убийца-то Иван Карамазов!

— Тогда Вострикова судить нужно!— крикнула Таня Бомкина.

— Устроить ему очную ставку с Желватовым,— предложил Подоляк.

— Пусть Желватов расскажет,— добавил Вася Утятников.

Желватовские дружки молчали, и только на выкрик Лизы, которая не могла видеть страдальческое выражение на Петинем лице: «Это надо доказать! Существует же презумпция невиновности!»— они отреагировали.

— Слова-то какие ино-сран-ные. Пусть действительно Юра сам расскажет, как дело было,— елеиным голосом сказал Телков.

Но Желватов был поумнее приятелей.

— Да я не помню точно,— заныл он, отпираясь, но не говоря, как дело было.— Я не знал, что так нельзя. Я больше не буду, Григорий Алексанч.— И неожиданно для всех добавил со слезой в голосе:— Мне еще восемнадцати нет.

— Боишься колонии?— переключился на него Герц.— И за поступок свой отвечать боишься? А ведь отвечать надо.

— Это правильная классификация,— туповато подтвердил милиционер, ничего не понявший в развернувшейся склоке.— По закону, если товарищ не заберет заявление, вашему однокласснику грозит колония для несовершеннолетних преступников. После суда.

— Простите, Григорий Алексанч,— выл Желватов.— Я исправлюсь.

— Правда, не надо ему мстить — сказала Тося Маркова.

— Он же не нарочно,— добавил Кольчатый.

Все с сочувствием смотрели на Желватова, с неприязнью — на Петю, а о Зойке, которую все утро третировали, вовсе забыли.

— Что ж, заявление я заберу,— помолчав, произнес Герц,— чтобы не подводить школу и потому также, что не считаю Желватова в данном случае виноватым. Русская литература учит прощать. Юре не за что было на меня обижаться. А вот Вострикову я за прошлое сочинение по «Капитанской дочке» поставил тройку, потому что тему он не сумел раскрыть. Для него, желающего быть отличником и рвущегося в престижный вуз, это катастрофа, повод для мести. Тем более что на носу новое сочинение, которого он боялся. Он мог надеяться, что у другого преподавателя он получит пятерку, как и раньше ему ставили, чтобы не портить пятерочный дневник. Вот какая тут, Лиза, причина.

— Это неправда!— Лиза даже из-за парты выскочила.— Мне Петя рассказывал, что ему Желватов говорил! Что ему хочется кирпичом вашу мишпуху разнести, чтоб вы залетали,— он примерно этими словами выразился.

— Так-так-так,— густым басом сказал милиционер.— Значит, получается, было предварительное намерение.

Желватов сидел уже всерьез испуганный. У Пети пухла голова. И обвинений Герца он боялся, но не меньше страшили его Желватов и его компания. В подтверждение своих фобий он услышал шип Змея:

— Ох, Лизок, дождешься-допрыгаешься! Мы с тебя шкуру с живой сдерем.

А Лиза перла на рожон:

— Как же вам не стыдно?! Вы прощаете убийцу, а на невинного напраслину возводите! Вы что, хотите сказать, что Петя мог желать вашей смерти?! Что за дикая чушь! А я верю тому, что он мне рассказывал, вовсе не думая о сегодняшнем судилище.

— Позволю с тобой не согласиться.— Лизе Герц всегда отвечал вежливо, пусть и иронически.— Я думаю, что интеллигентское сознание много тоньше и рефлексивнее, чем у нормального человека. А Востриков же у нас потомственный интеллигент. Уж на ход-то вперед он мог просчитать! Предположить, что его беседа с Желватовым раскроется, и, забегая вперед, дать ей свою интерпретацию, чтобы у него был свидетель защиты. Желватову такое бы и в голову не пришло! А кстати, почему ты раньше не сказала?..

— Не знаю. Петю не хотела подставлять.

— Подо что подставлять? Тут что-то не то, Лиза.

А Петя аж замер от ее чуткости и заботливости: до сих пор, как ему казалось, никто так к нему не относился.

— Я думала,— нашла Лиза,— вернее, мне и в голову не приходило, что этот разговор может быть кому-то важен, когда преступник абсолютно ясен. Да и о причине можно догадываться: антисемитизм, пьяный кураж, помноженные на российское «просто так»!

— А ты полагаешь, что половина еврейской крови у Вострикова — гарантия от преступных намерений?

— Ча-во?— изумленно спросил на весь класс Кольчатый.— Вострый, ты у нас яврей, значит? Сто лет жил — не знал. Вот потеха!

Душа у Пети в груди съехала до размеров кедрового орешка.

— Посмей только вякнуть еще!— развернулась к нему Лиза.

— Ой, забоялся!— схватился гаерски за голову Змей, будто прикрываясь от удара.

В дверь неожиданно постучали, и опять, как чертик из табакерки, на пороге возник Каюрский, громоздкий, все так же похожий на утес. Он склонил голову, чтобы не удариться о притолоку.

— Извините,— прогудел он.— Я вынужден вызвать с вашего собрания Петю Вострикова. У него сегодня утром бабушка скончалась. Ему домой надо. Петя побледнел и шагнул навстречу спасительному Каюрскому.

— Я позвоню и приду,— сказала ему вдогон Лиза.

Глава XVIII

РУССКАЯ РУЛЕТКА

— Вы счастливы в игре,— сказал я Вуличу.

— В первый раз от роду,— отвечал он, самодовольно улыбаясь,— это лучше банка или штосса.

— Зато немножко опаснее.

— А что? вы начали верить предрепделению?

— Верю; только не понимаю теперь, отчего мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

М. Ю. Лермонтов.

Герой нашего времени.

Убогая, нищая, грязная Москва... Рокот, шум, лязг и рычание машин, чад и смрад выхлопных газов. Почему-то в детстве, при Сталине, столица казалась Илье величавой и торжественной. А теперь без содрогания и отвращения он не мог ее воспринимать. Сквозь решетку в асфальте вдруг дохнуло «ароматом» сточных вод, из кухонного окна «деревяшки», рядом с которой на минуту они задержались, доносилась устойчивая вонь несвежего мяса и подгнивших овощей. Ветер нес привычные запахи давно не убиравшейся, прокисшей помойки, швырял в лицо вонючие окурки, мелкую пыль. Его мучило. Хотелось остановиться, уткнуться лбом в холодную стенку каменного дома и думать, думать, думать, терзать себя, словно это принесло бы облегчение. Но Каюрский спокой-

но, не глядя на него, двинулся к метро вниз по Кропоткинской, вынуждая следовать за собой.

Илью вдруг сильно и резко затошнило. Он быстро свернул в подворотню перед аптекой, добежал до мусорных баков, стоявших у стены дома, и его начало выворачивать, как с сильного перепоя. Его рвало неостановимо, спазмы следовали один за другим, со слезами, с соплями. От запаха рвоты и отбросов в баках мутило еще сильнее, и он все не мог остановиться. Правда, когда подошел Каюрский, он уже вытирал платком глаза и сморкался, прислонившись к стене, бледный и слабый.

— Это от нервов, Илья Васильевич, — гудел Каюрский, взяв его под руку и выводя на улицу. — Пойдемте по бульвару прогуляемся. Дышите спокойнее, все пройдет.

Его лицо не выражало ни осуждения, ни ироничной снисходительности, только соучастие и сострадание, что казалось странным в таком диковатом большом мужике. Но Илья был ему признателен.

Они перешли дорогу и двинулись по бульвару. Каюрский все еще поддерживал его под руку.

— Я-то думал, что мне лучше помолчать, чтобы вас не тревожить, — басил он мягко. — Глупость, оказалось. Виноват. Мне бы, наоборот, вас разговорить, а я о коммунизме внезапных цивилизаций мозгами раскидывал. О человеке-то и забыл. А разговор, он, как заговор, лечит, облегчает. Знаете, как у нас в Сибири считают? Боль можно заговорить. Человек — существо более тонкое, чем мы думаем, Илья Васильевич.

Они спустились мраморными ступенями старого входа Арбатского метро и вошли в вагон. Каюрский продолжал громко говорить, пассажиры невольно прислушивались, хотя влезть в его рассказ репликой желающих не находилось.

— Мальчишкой был, мне мать рассказывала, как к товарке ее во сне покойница-мать пришла и говорит: «Нам с отцом плохо живется, дай что-нибудь для Христа дня». А баба-то та помнила, что нельзя покойнику ничего давать, а то унесет с собой кого-нибудь. Она и говорит: «У меня, мама, нет ничего». А мама настойчивая была: «А я все равно возьму». Подошла к жаровне, выскребла из нее в подол, а потом и сообщает: «Пойду. Мне нельзя долго с живыми быть». Вышла за дверь — и колокола бить стали. А потом у этой женщины дочь померла. Забрала-таки покойница внучку. Так мне мать рассказывала, но дело-то в том, Илья Васильевич, что умершую эту дочь я знал, в соседней избе жила. И в одночасье вдруг — по улице шла с ведрами — вздохнула, за сердце схватилась и на землю грянула. Ведра покатились, вода разлилась, подбежали к ней, а она уже мертвая. И никогда дотоле на сердце не жаловалась. Вот я Ленину Карловну и предупреждал, что бы ей ни мерещилось, пока одна, ничего никому не давать, — кто бы и чего бы ни просил.

— Что ж, и бороться с этими мертвяками никак нельзя? — улыбался кривой улыбкой Тимашев, подделываясь под его рассказ, но чувствуя невольную жуть фольклорной побасенки.

— Отчего нельзя? Можно. У нас вот случай был. У одной муж умер. Думала, переживала, боялась, что придет, — он и пришел. Никогда не надо бояться в таких случаях, Илья Васильич. Вот он приходил к ней каждую ночь и жил с ней как муж. Конфеты приносил. Она их ест ночью, а останутся — под подушку положит. Утром смотрит, а там вместо конфет орешки бараньи лежат. Рассказала все свекрови, та и посоветовала: «А ты сядь на порог, чеши волосы и семечки ешь. Только ногу не ставь в раствор двери — оторвет. А как он спросит: «Чего ты ешь?» — отвечай: «Вошей». Так та и сделала. Сидит, волосы чешет. Муж к ней пришел и спрашивает: «Что делаешь»? «Вшей грызу», — отвечает. Он как хлопнет дверью и больше не приходил. Правильно в детстве нас учили: всегда нужно слушать советы старых людей, ведь годков и опыту у них поболе. Во всяком случае, женщину ту ее свекровь убедила...

За завораживающими этими рассказами они доехали до «Динамо», и теперь эскалатор вез их к выходу на улицу. Дурнота и слабость вроде бы отпустили Илью, но притом словно все жизненные процессы в нем остановились. Не в силах был ни думать, ни чувствовать. Только логика разговора вытягивала его из оцепенения.

— А вы сами-то, Николай Георгиевич, верите в то, что рассказываете? Ведь это все суеверия...

— Помилуйте,— гудел Каюрский.— Как можно не верить в народную мудрость! Опыт поколений...

Они прошли мимо стадиона «Динамо», сели в трамвай. Иркутянин все говорил, ни на секунду не замолкая:

— Я и Ленине Карловне целую миску семечек насыпал и как отвечать начал. Береженого, как говорят, Бог бережет.

И вдруг оборвал себя:

— Шутки все это. Но успокаивают. Я к вам хорошо отношусь, вы мне понравились. Я бы хотел подружиться с вами.

Это прозвучало неожиданно, но лестно.

— Вы мне тоже симпатичны,— осторожно сказал Илья.

— Значит, будем дружить.— Сибиряк протянул свою лапу.— А насчет своих женщин не беспокойтесь. Все перетерпится и образуется. Извините за эти слова. Но правда есть правда. Еще раз простите. А я уже сходить должен. И без того остановку лишнюю проехал. Назад к Савеловскому придется возвращаться. Мне еще в «Правду», чтоб извещение о смерти старого члена партии дали. Потом за Петей в школу заеду. Я быстро, вы не сомневайтесь.

Пожав Илье руку, ласково потискав и помяв ее в своей лапе, Каюрский двинулся к двери и на следующей остановке соскочил на тротуар. Трамвай тронулся, иркутянин поднял руку с рот-фронтским приветствием и зашагал метровыми шагами к Савеловскому. Через минуту Илья почувствовал, что из него словно вынули какой-то стерженек. Присутствие Каюрского, его болтовня держали его, не давали упасть. А теперь он ссутулился, опустил голову, горло у него сдавило.

Виноват. Виноват кругом и во всем. И не знает, как ему отныне жить, да и имеет ли он право на жизнь... Но покончить с собой — страшно. До римских стоиков, видевших в смерти последний шанс на свободу, ему далеко. Нет воли принять решение. Да и другое еще: а вдруг за самоубийство и в самом деле полагается ад?.. А он еще ведь может исправиться, не исключено также, что и Бог имеет на него свои виды. Вдруг ему суждено создать что-нибудь великое. А покончить с собой — оборвать надежду на исправление, на созидание, на возможное улучшение своей жизни.

Как бы это выяснить намерения Бога по отношению к нему? Хочет ли Бог, чтобы он, Илья, жил дальше?.. Если бы у него был револьвер, он бы смог проверить. Илья вспомнил слышанные им рассказы о русской рулетке. Игра с самим собой. Положить в барабан револьвера одну пулю, крутануть барабан, прижать дуло к виску и нажать курок. Повезет — жив, если же нет, то пуля окажется у него в черепе, и все вопросы будут решены. Значит, он на Земле не нужен и бесполезен. Значит, так Богу угодно, чтобы он ушел из жизни.

Водитель объявил «Краснопрофессорский проезд». Илья вышел и сделал несколько мелких и затрудненных шагов по дорожке к дому, где недавно жила Роза Моисеевна, где нынче лежит ее мертвое тело. Там ждет его безумная или полубезумная, пытавшаяся из-за него прервать свою жизнь Лина. Идти не было сил.

Дверь открыла Лина. Но она была не одна.

— Кто это к нам пожаловал? — раздался с кухни неуместно-оживленный, как показалось Илье, голос, и из кухни появилась приятельница Лины и одноклассница Кузьмина Валька Косина с зажженной сигаретой в руке. Иногда Илья заставал ее у Лины. Он знал также, что ее окно находится напротив Лилиной комнаты, и именно от Вальки Лина задерживала шторы, когда приходил к ней Илья. Веснушчатая, горбоносая, с маленькими, словно бы случайными глазками, Валька не нравилась Илье своей тяжеловесностью в шуточных разговорах и неумной настойчивостью.— Ну вот и мужик пришел,— говорила она плотоядно.— Теперь тебе не так тяжело будет тут. Дай только и мне постоять рядом. Хоть запахом мужским подышу,— продолжала она, приближаясь.— Эй, не будь ты подруга, увела бы! А не то, Илья, пойдем ко мне. Блинами накормлю.

— Не пойду,— сухо сказал Илья, глядя на Лину. Та опустила глаза, а друга протиснулась между ними.

— Можешь меня поцеловать, с ней потом намилиуетесь. А я за свои труды хоть немножко чужим мужиком попользуюсь.

Илья поцеловал ее в щеку, стараясь быть галантным: его коробили ее тон, жадное попрошайничанье.

— Эх,— вздохнула удовлетворенно Валька,— посидела бы я с вами, да Женька в квартире одна. А то ведь так приятно, пусть со стороны, посмотреть на мужика, который способен на чувство любви и ответственности по отношению к избранной им женщине.

Сердце Ильи сжалось, он сразу подумал об Элке, которая одна имела право требовать от него ответственности по отношению к себе. Ведь беря ее в жены, он, стало быть, нечто обещал ей. По его нахмурившемуся лицу Лина сообщила, что не то что-то сказала Валька.

— Эй, не надо так,— тихо, непривычно для Ильи попросила она приятельницу. Была она в темном платье с длинными рукавами и стоячим воротничком, закрывающим шею. Лицо бледно-зеленое, нос заострился, глаза испуганно ловили взгляд Ильи с каким-то жалобным вопросом.

— А что? Мы свое дело сделали, обмыли Розу Моисеевну, обрядили, одели — любо-дорого! Можешь посмотреть. Мы тоже ответственность чувствуем. Ну ладно, ладно. Пойду. Оставлю голубков наедине, пока сибиряк ваш не явился. Вы бы его ко мне пристроили, а? Могу переночевать его у себя оставить. Все поняла, иду. Сигареты только возьму. А ты, Илья, смотри, побереги ее!..

Удивительное свойство — каждое ее слово звучало невпопад, казалось неумным, неточным и неуместным, хотя по сути было и деликатным, и даже чутким, заботливым, предупредительным. Да и сама она была безотказна в помощи.

— Илья, не сердись,— сказала Лина, как только хлопнула дверь.

— На кого?

— На меня, на нее. Она такая одинокая и несчастная. И я тоже.

Илья поставил у стены сумку, которую до этой минуты держал в руке, но с места не сдвинулся. Ее незащитность, виноватый вид вдруг вызвали у него прилив желчи.

— Зачем ты звонила Элке? Я по вчерашнему свиданию понял, что ты со мной не хочешь быть.

— Это не так. Я просто сошла с ума. Я все делаю последние дни что-то чудовищное. Я знаю, что я преступница. Ты и не догадываешься, какая я плохая. Я, Илюша, тебе изменить хотела. Не вышло! — Она криво усмехнулась. — Когда-нибудь, если ты захочешь со мной дальше общаться, я тебе расскажу. А пока не буду. Ты меня проклянешь. А я и так себя уже заела. Мне же ничего не нужно, только бы ты простил меня. Ты ведь мне самый близкий человек. Да и вообще, кроме тебя, у меня никого не осталось.

Волосы ее распрямились, висели патлами, голова не мыта. Илья не отвечал, не выспрашивал, внезапно сообразив, что она несколько часов назад пыталась сделать. Невольно поглядел на ее стоячий воротничок, закрывавший шею, но говорить об этом не стал, не решил сразу.

— Где Роза Моисеевна? — перевел он разговор, заставляя себя успокоиться и не обращать внимания на ее темные признания.

— В своей комнате.— Лина шагнула в сторону, пропуская Илью.

В комнате был полумрак, занавески на окне задернуты. Мертвое тело Розы Моисеевны лежало на диване, одетое в парадный, хорошо сохранившийся костюм (темно-синий жакет и юбка) с орденой планкой на груди. В этом костюме, как помнил Илья, Роза Моисеевна выходила на партсобрания или иные торжественные мероприятия. Лицо ее, изжелта-бледное, как у нераскрашенного муляжа, заострено, а волосы выглядели, будто приклеенные к голове. Круглого столика с лекарствами около постели уже не было, он стоял у книжных полок пустой, но специфический лекарственный запах в комнате все равно ощущался. Илья подошел к письменному столу. На нем лежали всевозможные документы: паспорт, свидетельство о рождении, медицинский акт и свидетельство о смерти, паспорт на жилплощадь, расчетная книжка оплаты за

жилье, газ и электричество, партбилет. Все так же стоял задумчивый Дон Кихот с книгой в руке — металлическая черного цвета скульптура, «мелкая пластика».

Заговорила Лина, прервав его молчание, голос ее был то скрипучий, то жалобно-молящий:

— Ты так ужасно смотришь. И за нее меня тоже осуждаешь? Я заслужила, я понимаю. Но перед ней я меньше виновата, чем ты полагаешь. Я старалась быть ей внучкой! Мне казалось, что ее судьба рифмуется с моей, хоть мы и не в прямом родстве. Помнишь, Виктор Шкловский писал, что судьбы наследуются наискосок: от дядей к племянникам. Мы обе полюбили женатых мужчин, только ей повезло, а мне нет. Но, знаешь, хоть я и говорю, что ей повезло, а сама всю жизнь не могла ей простить, что она отобрала у моей родной бабушки мужа, моего деда. Когда Роза Моисеевна была в Испании, бабушка сюда приходила, сидела с дедом, ухаживала за ним. Она его до самой смерти любила. Когда нас с мамой отсюда выстали, она, идя к дедушке в гости, всегда брала меня с собой, а по дороге плакала. Видишь, какая я нехорошая: до сих пор не могу забыть, что меня лишили возможности жить с дедом. А бабушка с Розой Моисеевной стала общаться, вроде все простив, чтобы своего Исаака видеть, а случится такое счастье, так и оторвавшуюся пуговицу к пиджаку пришить. Она ему всю себя отдала. И, умирая, шептала: «Ухожу к Исааку».

Илья исподлобья смотрел на говорившую Лину и все больше мрачнел. Лине показалось, что он в этот момент ненавидит ее. Что-то опять неправильное сказала. Она стояла около мертвого тела, то прижимая руки к груди, то опускающая их, будто не в силах держать тяжесть разговора. Эта тяжесть даже в плечах чувствовалась, сутулила их.

— Я плоха... я скверна-а,— быстро забормотала она, теряя окончания слов.— Но я не могла каждый день переживать, что ты не со мной, что душой ты все равно там. С женой и сыном. Не со мной. Я ведь тебе вчера сказала, что тоже могла бы иметь от тебя ребенка, а ты испугался!.. Как мне быть? Как понять — любишь ты меня или я для тебя всего лишь подстилка? Боже, как я тебя вчера проклинала, когда ты ушел! И тебя, и себя. Решила забыть, решила, что найду тебе замену, раз ты ведешь себя подло, то и мне можно. Прости! Сорвалось! — Она прижала руку ко рту.— Это я подлая, а не ты! Я!.. А как Роза Моисеевна умерла, со мной вообще что-то случилось. Мне вдруг показалось, что либо ты будешь со мной, любой ценой, но будешь, либо я умру.

— Скорее я умру,— не отдавая отчета в своих словах, сказал Илья.

— Не говори так! — испугалась Лина.— Тебя все любят, тебе есть для кого и для чего жить. Ради твоей семьи, ради науки...— Она замерла на мгновение, потом забормотала: — Я вначале хотела покончить с собой — я ведь такая грешница, ты даже не представляешь. Меня этот ужасный Каюрский спас. Он ушел, а я, сама не знаю, как смелости набралась и позвонила. Прости, я виновата, надо не о смелости говорить, а о чем-то плохом, но так получилось. Если все расписывать, как было, ты все равно не поверишь, скажешь, что меня в психушку отправить надо. А так все и было, как я расскажу. Каюрский, как из петли вытащил, все мне нотации читал — о светлом будущем, о марксизме, а затем и вовсе какую-то чушь о мертвецах понес, миску семечек насыпал. И ушел дела похоронные оформлять. Обещал к тебе на работу захватить, мы по телефону дозвониться не могли. И только он ушел, как я словно голос Розы Моисеевны услышала, да такой ласковый и убедительный: «Тебе замуж надо. А он тебя любит, но решиться не может. Совсем как Исаак. Мужчины боятся брака, тем более нового. Его нужно подтолкнуть». Так она вроде мне сказала, и я, как сомнамбула, пошла к телефону. Но потом остановилась, решив, что так будет нечестно, что надо быть честной и все рассказать твоей жене, как есть. А пока набирала номер, поняла, что должна сказать, что я тебя оставляю, что ты не мой, а ее. Так и сказала. Я правды хотела, я не могла больше врать!

— Ты, кажется, бредишь.

— Нет, Илья, нет! Давай пойдем из этой комнаты, я тебе еще скажу.— Она, вздрогнув, оглянулась на покойницу.

Илья следом за ней тоже глянул. Черты лица Розы Моисеевны казались и впрямь живее, чем десять минут назад. Какое-то негодование было написано на

ее лице, будто силилась она оборвать Лину, упрекнуть ее в чем-то. Илье тоже стало не по себе. Они перешли в комнату Лины. В квартире, особенно в коридоре, теперь он это явственно ощутил, пахло карболкой, а вовсе не лекарствами Розы Моисеевны. В Лининой комнате шторы тоже были задернуты, стояла полутьма, словно на дворе наступили сумерки. Илья отдернул штору перед балконом, открыл дверь и вышел вдохнуть свежего воздуха. Опершись о проржавевшие перила, он посмотрел вниз на кусты, росшие вдоль асфальтовой дорожки. С этой стороны дома всегда бывало пустынно, старухи, как правило, сидели между подъездами. Да и сильный ветер, срывающий листья и ломавший мелкие сучья ветки деревьев, здесь дул беспрепятственно. Он вернулся в комнату, но дверь не закрыл, чтобы избавиться от приторного запаха больницы. Лина зажгла свет.

— Зачем? — удивился Илья, выключая. — Еще не темно.

— При электричестве не так страшно. Лучше шторы назад задернуть. А то Валька, думаю, изо всех сил сюда смотрит. А в темноте я боюсь. И вообще боюсь... — Голос Лины был слабый и робкий, не походила она на себя прежнюю, решительную. — Я тебя скоро отпущу, пусть только Каюрский вернется. Дождись его и уходи. Я не могу здесь одна оставаться. Владлен не придет, ты знаешь? У него инфаркт.

— Я знаю.

— Каюрский сказал? Удивительный он какой-то. Марксоид, а сам при этом, как добрый самаритянин. С чуткостью совсем даже еврейской. Во все вникает, как родной человек, и все знает, что и как делать, обо всем заботится. Слово твоими глазами смотрит и понимает поэтому, что тебе нужно.

Илья молчал. Перед глазами у него все время, пока Лина говорила, вставали картинки из прошлого. Куда бы он ни обратился мыслью, всюду в его жизни оказывалась Элка, причем в лучшие свои минуты, когда она проявляла себя как настоящая подруга — верная, преданная. Двадцать лет вместе.

— Ты все молчишь, — робко сказала Лина, подходя и касаясь его руки.

Он отстранился от нее.

— Я пойду на кухню позвоню. Посиди здесь.

Он вышел, закрыв за собой дверь. Лина не сделала даже попытки пойти за ним. Сидела тихо.

— Але! — Трубку сняла Элка.

— Это я, — с трудом сказал он. Язык цепенел, еле ворочался. — Я хотел бы с тобой поговорить. Я от Лины звоню... Дело в том, что Роза Моисеевна умерла...

— Дорогой, — прервала она его, — лично я тебе уже все сказала. Я самостоятельная женщина, и если ты завел себе бабу на стороне и после того, как все открылось, все равно поехал к ней, то уж не обессуди, что я с тобой не хочу разговаривать. И не надо мне лапшу на уши вешать насчет смерти какой-то там Розы Моисеевны! Можно подумать, что ты ее самый близкий родственник. Не надо возражать, помолчи и послушай. Я заранее знаю, что ты мне скажешь. Паладина ты мне шьешь попусту, у меня никого не было, но теперь я себе непременно кого-нибудь заведу. Чтоб даром твои подозрения не пропадали. С Антоном общаться я, конечно, тебе запретить не могу, но мне больше не звони. Счастливо оставаться.

«Гордость ее оскорблена. Никогда теперь не простит», — понял Илья, услышав короткие гудки. Постояв минуту у телефона, он медленными шагами вернулся в комнату. Там его ждала бледная Лина, руки у горла, глаза широко открыты.

— Ну что? Тебя простили?

— Это мои проблемы, — тяжело выговорил он.

— И мои. Это я во всем виновата. Я подлая женщина. Я не должна была так делать. А твоя жена — чистая, хорошая, честная. Такой и должна быть настоящая жена. Ты должен вернуться к ней. Понимаешь? К ней. Она тебя простит.

Илья не отвечал.

— Ты молчишь? — снова тихо спросила Лина.

— Молчу, думаю...

Лина протянула ему сигареты.

— Хочешь закурить?

— Нет.

— Ты мне ничего не скажешь? — Илья сидел на диване, и Лина встала перед ним на колени, заглядывая ему в глаза.

— Давай оставим эту тему. — Илья погладил ее по голове. — Лучше расскажи мне, что ты не хотела в комнате Розы Моисеевны говорить. Что тебя испугало?

Лина задрожала и поднялась, обхватив руками плечи.

— Ты напомнил, и я опять боюсь. Я, наверно, сумасшедшая. Но я своими глазами все видела. После того, как... как я позвонила твоей... твоей жене, я сидела на кухне и плакала. Семечки эти, Каюрского, на холодильнике стояли. Вдруг — ты знаешь, я думала, что умру от страха, — в дверях появляется Роза Моисеевна, в ночной рубашке, бледная, волосы седые не причесаны, висят, ну, как обычно она по утрам ходила, и спрашивает: «Ты что делаешь?» Я вздохнуть не могла, но как-то ответила: «Ничего». «Тогда, — говорит, — дай мне мою чашку с водой, куда я всегда зубы на ночь кладу. Надо их туда положить, мне они теперь ни к чему». У нее, ты же знаешь, челюсть вставная. Уж не могу понять, как я встала, до умывальника дошла, чашку водой наполнила и ей подала. «Спасибо», — говорит и по коридору к себе в комнату уходит. А я с места сдвинуться не могу. Потом до телефона доползла, Вальку пригласила. Она первой к Розе Моисеевне решила зайти, я за ней, смотрим, чашка с зубами на столе, она мертвая на постели лежит, а щеки ввалились — просто жуть. Значит, она их все же вынула и в чашку положила.

— Я ничего не заметил, — пожал плечами Илья. — Щеки как щеки. Ну, лицо осунулось, так это у всех мертвых бывает. Это как раз ерунда. Ты перенервничала.

— Нет, Илья, нет. Спасибо Вальке, она ухитрилась ей зубы назад вставить. Но я не того боюсь, хоть оно и страшно было; мне Каюрский сказал, что нельзя покойнику ничего давать, это к несчастью.

— Слушай, не мели чепухи! Зубы она всегда на ночь вынимала. А умерла она ночью, и они так в чашке и остались. Тебе померещилось. Пойди лучше приготовь чаю. И успокойся.

— Хорошо, — покорно сказала Лина. — Только я все равно боюсь.

Она пошла на кухню, а он зашагал по комнате и каким-то образом оказался на балконе. Сказав ей успокоиться, сам он успокоиться не мог. Втянув в себя свежий, чистый воздух, затем выдохнув, Илья задышал ровнее, оперся руками и грудью о перила. Но мысли текли неровные, злые, беспокойные. «Боже, почему я не могу быть сам по себе? Быть независимым от всех... Почему мы всюду ищем крепостной зависимости? В семье, в любви, в детях... Вековая привычка к рабству, хорошо себя чувствуем, уверенно, только когда к чему-то прикреплены — к кольцу в стене или к кремлевской стене. Тогда мы на месте и прочно стоим на ногах. Прочно. Не взлететь. Хочу не выбирать тот или иной хомут, хочу быть один. Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда влечет свободный ум. Да, так. Пушкин прав. Но для такой жизни нужно мужество. А я ведь ни разу даже жизнью не рисковал».

Илья вдруг отжался на руках и с неожиданной для себя легкостью перешагнул перила балкона. Стоя над асфальтом, лицом к комнате, Илья почему-то не испытывал страха, хотя понимал, что перила, за которые он держался, настолько ветхие, что в любой момент могли рухнуть. «Упаду — так упаду, — отрешенно подумал он. — Значит, за грехи наказание. Значит, я на этом свете не нужен. Если нужен, то вернусь». В голове был туман. Илья отпустил руки и тут же снова схватился за перила. И еще раз, и еще. Это была странная, но увлекательная игра. Вроде игры в русскую рулетку. Перила скрипели. Он позволял себе уже не сразу за них хвататься, а медлить, удерживаясь и сопротивляясь ветру ловкостью тела.

Вошедшая в комнату Лина увидела его в тот момент, когда он в очередной раз разжал руки, — и вскрикнула. Илья вскинул голову, заметил Лину, улыбнулся ей, но, потеряв равновесие, схватил пальцами воздух и рухнул вниз. Ло-

мая ветки, его тело тяжело шмякнулось; головой и плечами — в кусты, ногами и копчиком — на асфальт.

Душа его словно застыла. Петя чувствовал, что страх, который временами посещал его, теперь навсегда угнездился в нем.

Они шли мимо красно-кирпичного физкультурного зала. Затем Петя машинально свернул на дорожку из гравия, чтобы кратчайшим путем выйти к трамваю. Подойдя к калитке, он внезапно сообразил, что им придется миновать двор, где жил Герц, ему этого не хотелось, но не поворачивать же назад. Еще издали он увидел окно с дыркой посередине, от которой разбегались во все стороны трещины. Около песочницы стояла коляска, рядом на лавочке сидела пышнотелая простоволосая женщина — жена Герца Наташа. Она испуганно и неловко посмотрела на Петю, словно не зная, здороваться ли с ним, и отвернулась. Будто по щеке Петю хлестнула. С остановившимся сердцем и комком воздуха, вдруг застрявшим в груди, Петя понял, что Герц убедил жену. Она тоже теперь считала, что Петя причастен к преступлению. Это было клеймо. Все беды наваливались сразу.

Они вышли к трамвайной остановке. Ветер здесь дул довольно сильно, обрывал последние листочки с деревьев, поднимая в воздух мелкий гравий, песок и окурки.

— Ты что, Петька, опечалился? Да, такого человека, как Роза Моисеевна, поискать! Она в людях хотела зажечь огонь разума! Она ведь из породы Дон Кихотов. Всегда жила ради людей. Ты должен на всю жизнь запомнить, что ты ее внук! А от смерти никому не спастись, — по-своему истолковал Каюрский перемену в его лице.

А Петя подумал, что утром ему почудилось перед бабушкиной дверью что-то, но он побоялся войти. Хотя надо было: тогда бы в школу не пошел и избежал сегодняшнего кошмара.

— Ты отвлекись, — продолжал утешать его Каюрский. — Поведай лучше: что за собрание у вас было? Мне там двое не понравились: со змеиным лицом, что на тебя вякнул, и второй, узкоглазый такой и широкоплечий, что с милиционером сидел.

Жизнь Петина менялась. Бабушка умерла, и словно стержень из его жизни вынули, какую-то защиту убрали. Но какую — понять он не мог. Он подумал, что даже физикой теперь заниматься не сумеет. Каюрский погладил его по голове. Надо было отвечать. Запинаясь, Петя сказал, что парень, сидевший рядом с милиционером, бросил булыжник в окно, мимо которого они сейчас проходили, и попал в голову отца их учителя. Тот сейчас в больнице. О своем участии в этой истории он умолчал, не представляя, как все это изложить, и труся, что и Каюрский не разберется и осудит его.

— Значит, преступник у вас в классе завелся, — констатировал приезжий. — Плохо дело. Вот эту всю шваль и дрянь потом к нам в Сибирь шлют. Хотя у нас и своих сволочей хватает. Я-то подзабыл уже, что и в Москве в этом смысле погано.

Подошел трамвай. Петя и его спутник еле влезли. Вагон был набит, и пришлось стоять. Не стесняясь присутствия десятка чужих людей в трамвае, Каюрский продолжал разглагольствовать:

— Я все думаю: откуда эта шпана и нечисть берется? Вряд ли от социальных условий. В одной и той же среде есть хорошие люди, а есть злодеи...

— Бога забыли, — пробурчал сидевший перед ними плотный, толстощекий, с поросычьим лицом мужичонка.

— Если бы! — неожиданно подхватил брошенную фразу Каюрский. — Но дело-то все именно в том, что память о Боге осталась. А если Бог есть, считает каждый человек, то ему, человеку, все позволено. Все можно свалить на Бога: не работать, не защищать людей, пусть-де Бог старается. Человек грешит, а сам думает: если грань перейду, то Бог меня остановит. А Он никого не останавливал, какие только ужасы ни позволял! Даже инквизицию позволил! И Гитлера! И Сталина! Что на меня смотрите?! Двадцатый съезд нам правду рассказал, и его постановления еще никто не отменил!

Трамвай меж тем катил мимо общежития Полиграфического института, мимо магазина «Продукты», где как всегда стояла толпа у входа в винный отдел, мимо Тимирязевского пруда и грота, в котором Нечаев убил студента Иванова, а затем утопил в этом самом пруду...

— А папе телеграмму послали? — перебил его Петя, с облегчением подумав, что завтра, наверно, родители будут в Москве и он сможет найти у них защиту.

— Извини,— смешался Каюрский.— Не хотел тебе сразу говорить. Ну да все равно узнаешь. И вправду, беды, как собаки, стаями... Я тебя, Петька, огорчить должен. Инфаркт у твоего отца. Именно что обширный. Не меньше месяца ему лежать. Ты уж будь мужчиной. С похоронами я пособлю, а потом Илья Васильевич Тимашев о вас с Линой позаботится.

Глава XIX

ПОСЛЕ СМЕРТИ

Взгляни, возле тебя существа,
у которых уже нет языка,
всествуют о себе красноречивее
всех живых. Взгляни, их немые и
недвижные руки протянуты к тебе
так, как никогда еще не
протягивались руки из плоти и
крови. Взгляни, вот те, что
безгласны и, однако, говорят;
что мертвы и, однако, живы, те,
что пребывают в бездне вечности
и, однако, все еще окружают
тебя так, как могут взывать
только люди. Услышь их!

*Ч. Р. Метьюрин.
Мельмот Скиталец.*

Она никак не могла проснуться. И сон тоже не возвращался. Промежуточное состояние. «Ни туда, ни сюда», — сказал кто-то в ней ее слова, но чужим голосом. В голове стоял звон. Что-то словно сковывало, спеленывало ее. Хотелось сделать усилие и освободиться. Но звон мешал сосредоточиться и сделать необходимый рывок. Сжимало сердце, болела от звона голова, давно не стриженные ногти на ногах врезались в мясо пальцев — Лина с Петей забыли подстричь; казалось, что каждая клеточка ее тела ныла и стонала от какого-то стеснения. Внезапно звон прекратился, наступила тишина, и она потянулась, облегченно вздохнув. С этим вздохом ее покинула боль, а выдох повлек ее за собой вверх, как пуховое перышко, как листок унесенной ветром бумаги.

Вдруг она поняла, что видит себя со стороны, точнее, сверху. Она (во всяком случае, ее тело) лежала на постели в ночной рубашке, с отброшенным на пол одеялом, рот ее был приоткрыт, а глаза недвижно уставлены в потолок. Она вскрикнула. Никто ее не слышал. Она и сама себя не слышала, только знала, что вскрикнула. Но она даже обрадовалась этому беззвучию, потому что впервые в жизни испытывала чувство абсолютной свободы. Свободы и легкости. К этому чувству надо было привыкнуть. Да и к виду своего мертвого тела тоже. Вот это и случилось. Свобода, легкость и радость.

И вот уже она видит на постели свое совершенно голое тело: старческие морщины, почти борозды, обвислые длинные груди и вздутый живот, вялые толстые бедра в рытвинах — неужели это ее тело? Две молодые женщины, одна из них Лина, мокрыми тряпками, которые они регулярно смачивали в воде с уксусом, обтирали ее тело. Все чисто. Тело должно быть чистым. Она всегда

соблюдала гигиену. Вымыв ее, женщины забрали миску и вышли, закрыв за собой дверь. Но она за ними не последовала.

Она то поднималась, то опускалась, прощаясь со своей комнатой, с вещами, со статуэткой Дон Кихота, с испанским интербригадовцем, с книгами, со своим мертвым телом. Ей было грустно, но светло. Отныне — она ясно понимала это — ей предстояла другая жизнь, никак уже не связанная с земной. И вместе с тем она каким-то высшим разумением осознавала абсолютную ценность оставляемой ею смертной жизни: боль, любовь, радость, труд, мучения и страх смерти. Ей были ясны важность и серьезность и Лениной любви к Тимашеву, и Петиных фобий...

Жалко только, что, когда она составляла единое целое со своим телом, она многого не понимала. Интересно, может ли тело чувствовать что-либо помимо нее? Ясно одно: личность человека не есть простая сумма мозговых, психических движений. Сеченов здесь был не прав — личность обладает таким источником цельности, который не исчезает с разрушением тела.

И вдруг она явственно услышала исходящий из ее мертвой плоти звук. Впрочем, это был почти беззвучный звук, словно выдох какой-то, звук распадающейся телесной ткани, невнятный шелест разложения и выход скопившихся в мертвом теле газов. Но для нее этот шелест совершенно отчетливо складывался в слова. Похоже, что тело высказывало то, что за долгие годы пребывания на Земле его владелица слышала или читала. Так отмерзали слова в романе Рабле. Так и здесь — странный звук превращался в слова.

— Прежде всего, — донеслось до нее, — обрати внимание на то, что надо различать в человеке три стороны: тело, душу и духовное начало, которое связывает человека с вечностью. Душевная жизнь, хотя и зависит от тела (через восприятие света, цвета, звуков и через другие ощущения), но связана и с духовным началом. Душа стоит как бы между чисто телесной и чисто духовной жизнью.

— Но ведь я и сейчас ощущаю свет и звук! — воскликнула было она, но тут же осеклась, сообразив, что очень по-особому различает их, словно бы по мимолетным органам слуха и зрения. Все было другое. В самом деле — мыслим ли был в прежнем ее состоянии разговор с собственным телом? Какое удивительное разделение некогда цельного организма! Но раз уж так случилось, то не могла она отказать себе в причуде — побеседовать сама с собой. И состоялся меж ее душой и телом прелюбопытнейший разговор.

Тело. Ты-то ощущаешь! А вот я скоро совсем ничего ощущать не буду. После того, как ты меня покинула. Как мне теперь существовать? Никак. Я уж кое-как смирилось с тем, что не могу больше любить мужчин. Но я было живым. И у меня оставались мои телесные воспоминания. А теперь все утекает, как вода, как воздух.

Душа. Ты хочешь сказать, что мы с тобой жили только для чувственных удовольствий? Но это неправда! Я тебя и себя не щадила во имя идеи, во имя идеала! Я управляла тобой.

Тело. А я тобой. Тело сильнее души, как природа сильнее Бога. Природу можно уничтожить, но, пока она жива, она сильнее своего Создателя. Пока ты была во мне, тебе казалось, что ты верховодишь в нашем союзе. Но верховодило я. Потому что я сильнее. Я твоя крепость, которую ты покинула. Бог помещает душу в тело, надеясь, что душа будет тянуть природу тела к духу, а на самом деле получается так, что душа подчиняется телу. Поясню на примере: человек строит крепость, чтобы защититься, спасти себя от внешних врагов. И думает, что отныне, защитившись, сможет зажить духовной жизнью, реализовать себя. Но не тут-то было: он вынужден все силы тратить на охрану и дальнейшее укрепление крепости. Только тогда одну десятую времени он сумеет отвести для дел своего духа. Так и жизнь с телом, которое есть великое искушение природы, соблазн для души.

Душа. Но я жила во имя идеалов! И ты мне служило!..

Тело. Ты повторяешься. Лишившись меня, ты стала беззащитной. И в нашем материальном мире пропала бы. Остроумия в тебе маловато: сплошная возвышенность. Хотя весь парадокс в том, что оба мы с тобой всегда были ма-

териалистами. И ни в какую душу не верили. Эй, может, тебя и нет? И не было?

Душа. Я была и есть. И я готова по-прежнему сгореть во имя идей. Хоть и осталась, как ты говоришь, материалисткой.

Тело. Сгорю я. В крематории. Уверяю, что тебе тоже будет больно. Мы еще с тобой связаны. Если б я сгнило в земле, ты бы рассталась со мной на сроковой день — время моего окончательного распада. А так — ты со мной окончательно расстанешься завтра.

Душа. Я с тобой уже рассталась. Я никогда не жила ради тела. Никогда тебя не ублажала и не холила. Готова была на любые трудности и беды.

Тело. Ну, конечно же! Только за мой счет. Но и тут я готово с тобой поспорить. Или у тебя не было мужчин? Ведь ты с ними проводила время не ради зарождения новой жизни, новой души, а для моего и, стало быть, твоего удовольствия. Жаль только...

Душа. Что жаль?..

Тело. Жаль, что мы рождаемся вместе, вместе живем, любим и страдаем, а потом ты получаешь жизнь вечную, а мне — капут, опять соединюсь с природой, пропаду навсегда. А я бы с удовольствием еще поуправляло тобой, поглумилось...

Душа. Что ты так злорадствуешь?

Тело. А мне обидно, что я навсегда исчезну, а ты, небось, еще и в свет попадешь... Эх! Еще бы час жизни!.. Но нету чудес, и мечтать о них нечего. Поэтому прощай!

Душа. Тело мое, тело! Почему мы стали в разладе?

В ответ — ни звука.

Тело лежало неподвижно, а ее вдруг закрутило, как перышко, ветром, но мягко, без насилия, ей самой было приятно это вращение, а затем стало засасывать в какую-то длинную цилиндрическую трубу. Тьма была кругом, и ее со свистом влекло сквозь тьму, где она парила и даже кувыркалась, как счастливая девочка во сне. Никаких тревог. Потом впереди замаячил яркий свет. Он становился все ярче и ярче, пока не достиг неописуемой яркости, которая, однако, не слепила, не мешала видеть других, мелькавших в конце тоннеля. Ей показалось, что она узнала Исаака, внука Яшу, Алену Алексеевну, Федосеева. И все они были рады ей.

Потом они исчезли, и все заполнил собой свет, исходивший из кого-то похожего на человека, хотя и не человека. От света струились тепло и ощущение добра. Все звуки исчезли, только вдали тихо играла скрипка. И свет оносный обратился к ней, но не словами, а прямо, минуя языки. «Что же ты в жизни сделала? — спросил он. — Давай посмотрим», — добавил ласково.

И перед ней замелькали картинки из ее жизни. Она очутилась в своем детстве и одновременно видела себя и всех остальных как бы со стороны. Она видела задумчивого широкоплечего отца с книжкой Сармьенто в руке: они готовились к бегству в Аргентину. Видела ранчо, где они жили, гаучо-убийцу и мертвое тело работника. И себя, испуганную, маленькую, плачущую. Потом Таню, дочь попа, которую она вовлекла в организацию, и смерть Тани в тридцать седьмом году на полу камеры, запачканной кровью и испражнениями. Да, здесь был ее грех, почувствовала она, но почувствовала и то, что свет оносный не осуждает ее, а жалеет. Потом мелькнули тюрьма, их хождения из камеры в камеру, песни, ее первый муж. Особо выделилась сценка ее пропаганды среди солдат, а затем она увидела их расстрел. Но она не хотела этого, видит Бог! И снова чувство своей вины и греха, а также ощущение жалости и добра от смотревшего с ней вместе ее жизнь. Потом Исаак, его жена Алена и собственные мучения и терзания в маленькой комнатке в Буэнос-Айресе, когда она совсем было решила порвать с Исааком, чтобы не увести его из семьи. И ощутила одобрение от находившегося рядом. Счастье и мука их с Исааком брака: он чувствовал себя виноватым, она тоже. Опять Россия, затем Испания, снова Россия. Ее неусыпные заботы об Исааке и горение на работе, вера, что своим словом она воспитает людей, освобождает их от дикости и варварства. Сколько глупостей она говорила тогда!

Ей стало стыдно за так нелепо прошедшую жизнь: ничего она не достигла, ничего не совершила. Она не решалась взглянуть на того, кто прокрутил перед ней все эти картинки, пока не услышала: «Что человек желает другому, то сам после смерти и получит. Ты никому не желала зла. Ты даже добра хотела другим, ради этого старалась жить. У тебя была боль за угнетенных и обездоленных. Это многого стоит. А самообманы присущи человеку, они часть его природы. Ты заслужила свет, где встретишь своих близких и любимых. Больше я тебе пока ничего не сообщу».

«Я должна проститься с моим телом», — с облегчением подумала она.

И сейчас же получила ответ: «Лети. И возвращайся».

И снова какой-то странный вихрь повлек ее. Все обесцветилось, сияние осталось позади, ее крутили бурунчики воздушных водоворотов. Казалось, длится ее полет вечность и вместе с тем не более одного мгновения. И она опять очутилась в комнате, где на диване лежало восковое тело, уже подвергшееся заморозке.

Раздался телефонный звонок. По привычке она вздрогнула, встрепенулась и через секунду была уже у аппарата. Но спохватилась и, сообразив, что не может снять трубку, отплыла в сторону, уступив дорогу внучку.

— Але. Лиза? Конечно, приходи. Какой у меня голос? Нормальный. Еще что случилось? Разбился друг отца. Упал с балкона... Откуда я знаю? Упал — и все тут. Илья Тимашев, я тебе про него рассказывал. Линин любовник, — грубо говорил внук. — Одно к одному. Мне его жене позвонить надо, сообщить. А я боюсь. Подожду, пока гость из пятидесятой больницы позвонит. Тот, что за мной в школу приходил. Они вместе с Линой Тимашева в больницу повезли... Приходи, вместе подождем. Похороны? Вроде бы завтра.

Девочка не задержалась, быстро приехала. Она видела ее в первый раз и с любопытством рассматривала. Челка на лоб, тонкая талия, ноги длинные, бедра широкие: сумеет когда-нибудь хорошо рожать. «Если жизнь ее не прервется до того, когда эти способности ей понадобятся», — с неземной отрешенной мудростью думала она. Девочка очень волновалась за Петю, это было написано на ее бледном лице. Смотреть неловко и трогательно. А Петя боялся. Боялся мертвого тела своей бабушки, боялся звонить жене рухнувшего с балкона бородатого дурака... И еще чего-то ей непонятного он боялся. Да, дети говорили о чем-то непонятном.

— Сволочи! — говорила девушка. — На поруки его взяли. Но если отец Герца умрет, ему все равно колония. Герц, конечно, психанул, поэтому и на тебя напал. Я с ним после собрания целый час ругалась. Уперся, как баран: «Во главе всякого преступления нужно искать идеолога, — передразнивала она. — Может, Востриков сам себе в своем желании не признавался, но тайные его намерения были таковы, какими они предстали в исполнении Желватова». Герц все на Достоевского ссылался, на Ивана Карамазова. Вместо того чтобы самому подумать и посмотреть. — Петя слушал ее молча, его словно озоб колодил. — А сам не сумел быть твердым. Как школьное начальство велело, так и сделал. Я думаю, он на тебе свою слабость вымещает. Народ, видите ли, нельзя ни в чем обвинять. Совсем на русской классике свихнулся. А Желватов — фашист. И сделал все сознательно. Я это сегодня поняла. Герц не понимает, что своим прощением он ему только руки развязал, ободрил его. Сам же Герц когда-то смеялся над евреем, хозяином кинотеатра в Париже, у которого Махно работал билетером. Мол, кого пожалел!.. Желватов наверняка хотел Герца если не убить, то покалечить. И тебе бы, конечно, ни слова не сказал, если б знал или хотя бы догадывался, что твой отец — еврей... Хорошо, что меньше года осталось учиться...

Петя резко вздрогнул.

— Им как раз времени хватит. Еще жизнь мне отравят.

Она с умилением видела сверху, как девочка начала гладить внука по волосам, по щеке, утешая:

— Не посмеют. И потом я с тобой, не бойся. Мы их одолеем.

Петю лихорадило:

— Я хочу быть независимым от преступников и от общества, которое их порождает! Хочу быть защищенным, чтобы не бояться их! Чтоб они боялись

подойти ко мне! Чтоб бастион славы, чинов, известности ограждал от них,— лепетал он, пока Лизины руки гладили его лицо.— Чтобы быть лицом поименованным и не соприкасаться с ними!

— Бедный ты мой, бедный! Я тебя никому не дам в обиду! Я буду твоей крепостью, твоим бастионом.

Они уже сидели, плотно прижавшись друг к другу на Петинем диване. И речь их с трудом прорывалась сквозь собственное тяжелое, прерывистое дыхание. Что ж, дай Бог успеть ему испытать в жизни это. И лучше не придумаешь, чем с чистой и любящей. Хорошо, что она, бабушка, спасла его от Лины. Она заставила Каюрского дозвониться. Силой воли заставила. Даже перед смертью сила воли у нее была огромной. Главное для нее было — захотеть. И все получится. И получалось.

Снова зазвенел телефон. Этот звонок она не заказывала. Петя оторвался от Лизы и вышел из комнаты. Лиза осталась сидеть на диване, закрыв глаза. Потом она чего-то испугалась, вскочила и ринулась на кухню. Услышав Петин разговор, успокоилась. Петя сидел на табуретке перед холодильником и говорил в трубку:

— Да, Николай Георгиевич. Ясно. Я никуда и не собираюсь. А Илья Васильевич?.. Жив?.. Понял. Очень плохо слышно. Нет, нет, это понятно. Да, всю ночь буду дома. А куда мне деваться? Вы в больнице останетесь? Нет? Куда? К какому деятелю? Понял. Завтра вы весь день в Цека. Наверно, справимся. Раз машина приедет. Люди тоже будут? Хорошо. А Лина? Остается дежурить? Жене Тимашева позвоню... Всего доброго! — Он очень старался говорить взрослым и мужественным голосом.

Лиза села на другую табуретку, вплотную к Пете. Сидела готовая отдать себя, лишь бы помочь. Ее серо-голубые глаза были полны преданности — прямо до слез. А Петя сидел, набираясь решимости на какой-то поступок. Потом вздохнул и набрал номер.

— Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, к телефону жену Ильи Васильевича Тимашева. Здравствуйте еще раз. Это говорит сын его приятеля Владлена Вострикова. Петя меня зовут. Погодите секундочку! Никто меня не подучил! Не кладите трубку. Бабушка здесь ни при чем. Она сегодня умерла... — Он повернулся растерянно к Лизе.— Бросила трубку.

В головке у Лизы меж тем нечто мелькнуло. Ласковым, кошачьим голоском, звеневшим от страсти, она сказала:

— Постой, а может, и не надо звонить. Ведь тогда жена Тимашева помчится в больницу, а там твоя сестра. Это для них обоих может оказаться ударом. Петя задумался.

— Пожалуй,— простодушно-испуганно согласился он.

«Ах, протак! — подумала она, восхищаясь и умиляясь находчивостью Лизы.— Ведь девочка просто боится, что Лина вернется и помешает вам...»

Дети вернулись в Петину комнату.

— И вообще,— продолжала говорить Лиза,— она, наверно, не очень хорошая женщина. Злая. Понятно, что этот Илья от нее бегал. Женщина должна уметь любить — это главное. Я тебе буду хорошей женой, доброй и ласковой. Если ты, конечно, захочешь на мне жениться. Но я и так буду тебя любить и оберегать...

— Для меня самое главное — это физика, моя наука,— отвечал невпопад внук, слабая и сдавая последние бастионы.

— Я не буду тебе мешать. Я тебе помогать буду. Вот увидишь!

Девочка сидела у внука на коленях, прижимаясь, почти вжимаясь в него. А он, чувствуя сладкую женскую тяжесть, млел и тяжело дышал.

Ей казалось, что воздух вокруг детей какой-то вязкий, плотный, словно она в воздухе, а они в воде двигались. Лиза соскочила с его колен, отошла к столу, засмеялась манящим смехом. Он неуклюже потянулся за ней. Она видела их неловкие движения: они то тянулись друг к другу, то что-то заставляло их отпрыгнуть, будто пугались самих себя. Впрочем, девочка пугалась меньше да и вообще была активнее: как рыбка-самочка металась она, то толкая, то поклепывая робкого самца, и, задорно плеща плавниками, уплывала в сторону, но неда-

леко, ограничиваясь стенками аквариума, как Лиза стенами комнаты. Наконец, набежавшись, наигравшись, они снова очутились на Петиним диване.

— А если я тебя разлюблю и мы разведемся? — беспокоился Петя.

Они уже полулежали, и он гладил ей колено.

— Ну и что? Вон Гиппо, когда я к Таньке заходила, в ногах у меня валялся, говорил, что не любит больше Таньку, что уйдет от нее. Ну и пусть, зато у Таньки маленький есть. И у меня будет. Но мы с тобой хорошо будем жить, я тебе обещаю. Ты сделаешь великие открытия и прославишься. А я не допущу до тебя никаких желватовых. Я тебе всегда буду нужна.

Движения их стали совсем плавные и вязкие, словно слиплись они и не отлепить, не отклеить их друг от друга. Они уже готовы были влиться один в другого. Одежда им мешала. Петина левая рука расстегивала пуговицы на брюках, а правая глубоко залезла ей под платье. Девочка томно прижимала его голову к своей груди, не останавливая его руки....

Надо было оставить их вдвоем, и она вылетела в свою комнату, легко пройдя сквозь стену. Зависла над своим мертвым, восковым телом. Одетое в парадный темно-синий костюм, с наградными колодками с левой стороны, оно показалось ей ужасно старым. А ведь как она была когда-то хороша!

Сколько времени она предавалась медитации, трудно сказать. Она сама не знала. Звонок в дверь нарушил ее мысли. Как испуганная птица, выпорхнула она в прихожую. Из Петиним комнаты слышался поспешный шорох. Выскочил растерянный внук, без майки, в брюках без ремня и тапках на босу ногу. Следом, готовая к его защите, Лиза в платье, не перетянутом поясом, тоже босая. Петя открыл дверь, и вошла Лина. Ее большие глаза мрачно глядели перед собой, никого не видя. Волосы не причесаны. Бледна.

— Ну что? — спросила Лиза.

— Илья умер, — ответила почти беззвучно и пошла в свою комнату.

Дети потащились следом. Лина села на тахту, закурила. Ее тело было каменное, застылое какое-то. Дети переминались у двери, не зная, что сказать, не умея еще выражать сочувствие. И полны они были друг им. Да и что тут скажешь! Лина затягивалась дымом, словно хотела опьянеть от него, напиться, как водкой.

Потом она заговорила, но лучше бы молчала — так это было мучительно слушать. Но и молчать Лина не могла.

— Я во всем виновата. Я — и никто другой. Подлая! Я любила его, а хотела еще радости от жизни. А жизнь — жестокая. Я думала, что, может, и мне, как Розе Моисеевне, как нашей бабушке, повезет. Она же увела чужого мужа — и ничего, обошлось. — Она осеклась, ожесточенно загасила сигарету и продолжила: — Илью в коридоре положили. В палате мест не было. Капельницу еле Каюрский выбил. Без него вообще бы ничего не стали делать. Дежурному врачу наплевать. Он все одну из сестричек щупал. И как только Николай Георгиевич ушел, врач эту свою пассию подхватил и наверх куда-то двинулся, а оставшейся медсестре свидетельство о смерти, уже подписанное, сунул. «Час смерти проставишь», — сказал. И пошел. А я как онемела. Слова сказать не могу. Сажу около койки и плачу. А обстановка!.. В больнице ремонт, краской пахнет, белилами, грязь, куски потолка обвалились, какая-то дранка видна, кучи мусора и щебенки по углам. И тут же хирургические больные! Люди под капельницами лежат. Кто стонет, кто бредит. Проклятая Совдепия! А меня все эта оставшаяся медстерва пыталась выжить. Ей тоже спать охота, а неловко, пока при умирающем кто-то сидит. Она все в ординаторскую бегала: то на полчаса, то на час. Вернется, на Илью глянет — еще жив! — и ко мне: «У нас не полагается ночью родственникам присутствовать. Правила почитайте! Так что приходите завтра утром, вам доктор скажет о состоянии больного». А он уже сказал! Илья все время без сознания был, с закрытыми глазами лежал, а может, просто открывать не хотел, меня видеть не хотел. Ведь это я его убила. Я! Я! Я и жена его. Он от жены-то бегал, потому что ему заботы, внимания не хватало. Ласку и нежность искал. А от меня тоже одни упреки. Мужчины ведь слабее нас, вы это, Лизанька, запомните. Им поддержка нужна, опора.

— Я это знаю, — прошептала Лиза, прижимая к себе Петину руку.

— А женщины — они, как кошки, живучи. Я это по себе знаю. Вот он умер, а я, подлая, жива. И даже в обморок не упала и не плакала. Целехонькая! — Лина выглядела резко постаревшей, почерневшей, в глазах застыли боль и безумие, губами двигала с усилием, но слова артикулировала отчетливо. — Сломала ему жизнь. А все потому, что прежде себе сломала. Хотела от жизни радости. О себе все думала. А жизнь — труд. Только сейчас это поняла. Я на своем замужестве обожглась и все равно ничему не научилась. Стала по-прежнему ждать принца, который из моей жизни сделает сказку. А какой Тимашев принц?! И хотела его удержать и одновременно не очень. Сама не знала, чего хотела. — Лицо ее скривилось, она легла на тахту, отвернулась к стене и зарыдала. Дети стояли, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь к ней подойти.

Так прошло минут пять. Наконец, Лиза, махнув Пете рукой, чтобы уходил, опустилась на колени рядом с тахтой и положила Лине на плечо руку. Петя продолжал стоять растерянно в дверях.

— Выйди, пожалуйста, — сказала Лиза.

— Не надо, Петя, не уходи, я и перед тобой виновата, — подняла голову Лина. — Мне от тебя нечего скрывать. — Внезапно перестав плакать, она тяжело села, поджав под себя ноги, и запричитала: — Лучше бы Илье со мной не встречаться. Я ему только несчастье принесла. Остаться бы ему лучше с женой и сыном. Был бы сейчас жив.

— Вы полежите, постарайтесь уснуть, — сказала Лиза. — И завтра на похороны вам ехать не надо. Мы с Петей справимся.

— Нет-нет, я поеду. Одна я совсем с ума сойду. Надо что-то делать. Мне еще до похорон Ильи надо продержаться. Проститься мне с ним, конечно, не дадут, так хоть в стороне постоять, из-за угла на него последний раз глянуть...

Чтобы снова не зарыдать, она вцепилась зубами в собственную руку и принялась раскачиваться, словно молилась. Так продолжалось минуту или две. Потом, собравшись с силами, она произнесла, выговаривая слова так, будто с трудом проталкивала их через гортань:

— Похоронная машина придет в девять утра. На ней поедem в крематорий. Из Института будут представители от кафедры и от парторганизации. Каюровский все устроил. Он и венок заказал. Утром принесут. Так что идите спать. Завтра рано вставать, надо успеть одеться и подготовиться. А я пойду попрощаюсь с бабушкой. Мне с ней надо как следует проститься.

Лиза встала, взяла Петю за руку, и они безропотно удалились. Лина слезла с тахты, подошла к зеркалу, посмотрела на свое почерневшее, опухшее лицо, потом тяжелыми, старческими шагами двинулась к мертвому телу. Села рядом и долго так сидела, более неподвижная, чем оно. Вдруг начала бормотать неразборчиво, замахнулась на тело рукой, но ударила в грудь себя, бросилась перед телом на колени, прижалась к нему лбом, отшатнулась, снова склонилась, принялась целовать мертвые руки, застылые ледяные губы. Снова замахнулась. И снова упала на колени. Эта безумная пантомима продолжалась до утра.

Синий автобус, на котором привезли гроб, стоял во дворе перед подъездом. Около него толклись люди: криворотый Саласа вместе с широкоплечей девицей в пиджаке, приходившей брать интервью, стояли у задней стенки автобуса; мамы с детьми, придерживая их, все же не уходили далеко, живо интересуясь происходившим; старухи, сорванные с привычного места, сгрудились на пространстве между капотом автобуса и подъездом; пузатый шофер сидел на лавочке и курил «Дымок». Стояла прислоненная к стене дома крышка гроба. Рядом с ней — средних размеров венок с надписью на красной ленте: «Память о верном коммунисте-ленинце навсегда останется в наших сердцах. От парткома, ректората и товарищей по работе».

Из подъезда вышли Петя, Лина и Лиза. К ним кинулся Саласа, прихрамывая и кривя рот в гримасе, за ним семенила широкоплечая молодка-журналистка, дежурно-привычно ухмыляясь во весь рот. Пузатый шофер поднялся со скамейки и, погасив сигарету о стоящую рядом урну, спрятал в карман.

— Вот и скончалась наша дорогая Роза Моисеевна, — приподнятым тоном, который должен был означать сочувствие, сказал Саласа. — Приношу вам свои

соболезнования от лица кафедры, парткома и месткома. А Владлен Исаакович так и не приехал? Жаль. Мать так его ждала. Ей было бы приятно увидеть сына на своих похоронах.

— Ей уже все равно! — сухо и зло отрезала Лина.

— Ну, это... вы ж поняли, что я имел в виду, — задвигал виновато языком Саласа, косясь подозрительно на широкоплечую журналистку в пиджаке. — Я ж материалист и понимаю.

Заметавшись, он сунулся в автобус, проговорил:

— Гроб подавайте, а мы принимать будем.

Шофер поднял заднюю стенку автобуса, и стали видны фигуры трех мужчин, старательно выталкивающих гроб на улицу. Одного из них она помнила, он был членом парткома, персональное дело которого по поводу неуплаты партвзносов со второй зарплаты ей пришлось разбирать. Одет он был добротно, в хороший костюм отечественного производства. Другой — крепкий парень с открытым крестьянским лицом, усеянным угрями, — как она поняла из разговора, был старостой курса и секретарем комитета комсомола. Похоже было, что парень изо всех сил тянул общественную работу, надеясь остаться в Москве. Третий — тощий, с хрящеватым выпирающим носом — казался типичной «шестеркой», посылаемой на все мероприятия. Выпрыгнув из автобуса, он, заглядывая искательно в глаза Саласе, перехватил у него гроб, дожидаясь, пока его коллеги спустятся на землю, чтобы помочь. Затем вчетвером, вместе с Петей, они понесли гроб вверх по лестнице.

— Так в Институт не едем? — спросил стоявший рядом шофер. Таскать тяжести в его обязанность не входило.

— Не поедем, — ответил Саласа. — Народу на панихиду не собрать, — за чем-то пустился он в подробности. — Неудобно будет перед родственниками, они к тому же и не связаны с Институтом. Им это все ни к чему, не нужно. — И, повернувшись к широкоплечей журналистке и Лине с Лизой, сообщил не без гордости: — А для морга я речь составил. По старым поздравлениям.

И вот ее тело в деревянном ящике вынесли, накрыли крышкой и засунули в автобус. Шофер сел за руль. Остальные разместились на сиденьях около гроба. Саласа, сидевший рядом с журналисткой, повернулся к родственникам, считая своим долгом произнести слова:

— Я Розу Моисеевну иначе, чем на трибуне, иначе, чем пламенным оратором, и не представляю. Она и лекции студентам читала пламенно, прививала с юности правильное мировоззрение, чтобы, как она говорила, наука у нас стала орудием переустройства и преобразования природы в интересах трудящегося народа. Я сам ее ученик. Жаль, Николая Георгиевича Каюрского сейчас с нами нет, его по важному делу в Цека пригласили, он тоже ее ученик, мы с ним вместе учились. Но он всегда такой резкий был, спорщик. Зато у него и жизнь не просто сложилась. Но сейчас он выправился. Я его даже домой к себе пригласил.

— А что же Ильи Васильевича здесь нет? — томно спросила вдруг журналистка, перебивая Саласу. — Он занят?

— Он в больнице, — за всех ответила Лиза.

— Что-нибудь серьезное?

— Не беспокойтесь, все в порядке, — быстро отвечала Лиза, стараясь не глядеть на Лину, думая, что оберегает ее.

— Он умер, — мрачно буркнула Лина, с нескрываемой неприязнью уставившись в подрисованные тушью и подкрашенные синью глаза газетчицы.

— Эх, жаль! — хлопнул себя по колену криворотый Силаса. — А я для его журнала статью решил подготовить: «Об одном важном аспекте ленинской теории отражения в преподавании студентам общественных дисциплин». Очень актуальная тема. Еще немножко бы он пожил...

— Но он умер, а потому можете уже не трудиться. — Лина перевела мрачный взгляд на Саласу.

— Странный тон, — отодвинулась и отвернулась к окну журналистка, а Саласа хрюкнул неопределенно, не зная, что сказать.

Между тем автобус подъехал к воротам крематория. Все сошли на землю. Саласа и широкоплечая женщина отправились в контору, мужчины из Института закурили, а Лина, Лиза и Петя стояли, понуриив головы.

Вскоре Саласа и его спутница вернулись с тележкой, мужчины поставили на нее гроб, и тележку покатали по асфальтированной дорожке к зданию крематория. Петя и угреватый парень несли впереди венки: второй венок был заказан Каюрским и доставлен под утро — «От родных и близких». Остальные тянулись сзади. Лина плакала. Лиза обнимала ее за плечи.

В прохладном вестибюле крематория стояли кучки людей, ждавших своей очереди сжечь тело близкого человека.

— Кто последний? — бойко спросил Саласа.

Оказалось, что перед ними должны были пройти еще три кремации. Мужчины вышли курить, а Петя остался с женщинами. Он прислонился к стене, и холод мрамора студил его тело, а ему хотелось самому стать мрамором, только бы быть недоступным для тех, кто может учинить над ним злодейство, спрятаться от этого мира!

Подошла их очередь. Каталку, на которой покоилось ее тело, ввели в специальный зал и поставили рядом с мраморным надгробием, в середине которого находилась железная плита. На нее и перетащили гроб. Руководила всеми этими действиями женщина в темно-сером костюме. На руке у нее была траурная повязка. Каталку увезли, а к мраморному надгробию прислонили два венка. Минуту звучал траурный марш Шопена, затем музыка смолкла, и женщина в траурной повязке сказала:

— А теперь предоставляется время для последнего слова об умершей. Кто хочет что-нибудь сказать? — Она посмотрела на наручные часы.

— Бабушка! — вдруг всхлипнув, зарыдала Лина. Она подбежала и обхватила руками гроб, целуя мертвое тело в лоб, вздрагивая. — Что же теперь будет?!

Распоряжавшаяся похоронами женщина взяла ее за плечо.

— Прощаться — потом. Пока нужно провести официальную часть. От организации кто-нибудь есть?

— Я. — Саласа, прихрамывая, подошел к изголовью гроба, вынул из бокового кармана пиджака лист бумаги, развернул его и с запинками прочитал речь, закончив:

— Дорогая Роза Моисеевна! Сейчас, прощаясь с вами, так сказать, провожая вас, мы все клянемся последовать неуклонно вашим путем! Спите спокойно, дорогая Роза Моисеевна!

Приложился к ее лбу, вытер губы и заковылял на место. Похоже, что никто не заметил макабрического смысла его слов, кроме Пети, который вздрогнул и оглянулся на Лину, всегда способную оценить такое. Но Лина мало что понимала на сей раз. Лиза гладила ее по волосам и что-то шептала, а та смотрела в угол совершенно стеклянным взглядом.

Женщина-распорядительница, торопясь закончить церемонию, сказала:

— А теперь попрошу прощаться. Сначала родственники.

Проблеск разума появился в глазах у Лины, она отстранила Лизу, нагнулась и поцеловала мертвое тело в щеки и лоб, уже ничего не произнося, только слезы текли по ее лицу. Глядя сверху, в сущности, из другого измерения, она понимала, что Лина оплакивает не только ее кончину, но и свою пропавшую жизнь. Подошла Лиза, поцеловала, поправила покрывало и за руку увела Лину. Петя приложился губами к ее восковому лбу и быстро отошел. Остальные траурными шагами, слегка наклоняя головы, продефилировали мимо гроба и вернулись на прежнее место. Женщина с повязкой подняла руку.

Снова зазвучал Шопен. Подошли двое рабочих, накрыли ящик с телом крышкой, приколотили ее и молча ушли. Железная плита с гробом стала опускаться в медленно открывшийся черный провал, казалось, что в бездну, преисподнюю. Музыка смолкла. Через минуту плита поднялась на свое место.

Она ринулась вниз и увидела груды мертвых тел. Их оттаскивали в особую жароупорную комнату, составляли в пирамиду. Потом подожили. И вот уже пламя охватило ее тело. На мгновение она ощутила непереносимую боль. А потом боль прошла; она простилась с телом и отныне была навсегда свободна.

Она увидела себя в темно-синем небе, земля была внизу, как круглый шар. Пространство вокруг нее сгустилось, почернело, и ее опять куда-то повлекло. Теперь она знала, куда. Начиналось новое ее существование. И перед собой она увидела свет, к которому, как теперь понимала, стремилась всю жизнь.

Глава XX

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДЫ

Недвижен он лежал, и странен
 Был томный мир его чела.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин.

Но Тимашев не умер.

Он открыл глаза. Тело было — сплошная застывшая боль. От этой боли, чтобы не умереть, он словно одеревенел: старался ощутить свое тело как чужое, постороннее. Над ним плыл грязно-белый потолок с отвалившейся местами штукатуркой. Своей болью мучаешься, а чужой — сочувствуешь. Сочувствовать легче. Но даже на сочувствие себе у него не было сил. Кружилась голова, подташнивало. Лохмотья накрученных через подбородок и темя бинтов превратились в шоры. Он мог смотреть только вверх или прямо перед собой.

Он видел: усатый мужик в белом халате толкал, держась за никелированную ручку, нечто, на чем лежало укрытое белой простыней чужое тело, когда-то бывшее Ильей Тимашевым. Простыня, похоже, раньше закрывала и лицо его, но от движения съехала, освободив глаза и нос, оставив, однако, закрытым рот.

Гнусный голос с престолярно-радостным восторгом говорил:

— Опять жмурик у нас образовался! И все, как нарочно, под утро норавят, доспать не дают.

Ему отвечал голос обстоятельный:

— Так-так. Все на каталке этой поедем, дай срок.

— Господи! Могли бы не возить мимо больных! — вмешался старческий женский голос.

Обстоятельный со вкусом пояснил:

— А куда деваться? Не по воздуху же. Ты не огорчайся, мамаша! Что ж делать, что в коридоре лежим! Мест в палатах-то нет. Да и то: сегодня больные, а завтра туда же поедем. Пусть сынуля твой привыкает!.. Это жизнь!

— Господи! Зачем вы так?.. — испугался женский голос, но его тут же перебил мужской. Интеллигентский, требовательно-нудный:

— Мама! Ты болтаешь или за мной следишь? Не видишь, что ли, кого мимо нас повезли? Тебе, наверно, все равно, что твой сын может умереть и отправиться туда же!

Полумрак больничного коридора сменился ярким электрическим светом лестничной площадки. Тимашев закрыл глаза, но все равно почувствовал, что его завезли в лифт, и на этом лифте он начал падать вниз, туда, где обитают низшие боги русского пантеона: бесы, домовые, ведьмы, кликухи, овиинники, колдуны-чародеи, оборотни, упыри... Лифт остановился, теперь санитар катил Тимашева подвалом с толстыми стенами и низким белым потолком. Глаза его поблескивали, он довольно ухмылялся сам себе, надувая одутловатые щеки и пыхая время от времени ртом. По потолку, уходя куда-то вбок, извивались трубы, как вены, выступившие на натруженном теле. А может, как кишки в чреве.

— Эй! — попытался подать голос Илья.

Молчание. Санитар не слышал, не смотрел даже на него, подмаргивая левым глазом, словно подманивая кого-то, кривя физиономию и прицокивая. Санитар показался ему туповатым подвальныйм бесом, ликующим, что ему в лапы попало мертвое тело. «Неужели гомосек-некрофил?!» — леденя от ужаса, подумал Тимашев. Надо было остановить его, крикнуть изо всех сил, но рот закрывала простыня, а для ослабевшего она была вроде кляпа.

— Эй! Э-гей!

Санитар вздрогнул, остановился, уставился круглыми и испуганными глазами. И без того землистое лицо его еще больше посерело, стало озадаченно-недовольным. Он подошел к изголовью каталки и взялся за простыню, чтобы натянуть на лицо Тимашеву. А тот даже пальцем пошевелить не мог, глазом мигнуть...

— К-ку-да е-дем? — еле выдавил он из себя.

Санитар отпрянул, руки опустил.

— У морхг!

— Но я же жив,— прошептал Илья, уже понимая, что санитар наплюет на его слова, прячась за туповатую свою исполнительность, но лелея какие-то тайные цели. Так и есть!

— Сестра сказа-ва у морхг — значить у морхг!

Но, видимо, не дано было Тимашеву умереть не по своей воле.

— Вы с кем это разговариваете, Запупенко? — Над каталкой склонилось холеное лицо с большими коричневыми семитскими глазами и бородой-эспань-olkой.

— Непослушание проявляет, Заломон Заломинович! Сестра сказава у морхг, а он предписанию возражает. Да я думаю: там доспеет. И доктор уже свидетельство о смерти подписал и ушев, а Надька-сестра час проставила и велева по-быстрому отвезти, чтоб больных после подъема не травмировать.

— Ты с ума сошел, Запупенко! Разворачивайся — и быстро в реанимацию. Я сейчас приду.

— Да Заломон Заломинович!.. Первый раз мне мертвяк с бородой попался! А мне борода от мертвяка ух как нужна! — заныл подвальный бес.— Гхорвать, как по мужскому месту клоком мертвой бороды проведешь, то, что твой еловый сук, стоять будет — в аккурат на бабье полое место нацелится. Гхы-гхы-гхы!

Но спасительный колдун-чародей был настойчив.

— Ах ты, бедолага,— приговаривал он, приподняв простыню и разглядывая изувеченное тело Ильи,— попал! Ну, ничего, залатаем. Как новенький будешь.

Так зав. отделением доктор Бляхер, поссорившийся с женой, вернувшийся в больницу и совершенно не знавший, чем себя занять, потому что у его любовницы, сестрички этого же отделения, были регулы, спас Тимашеву на время жизнь.

И потянулась длинная неделя забвения, провалов, бреда, переходящего в явь, и яви, переходящей в бред. Может, и впрямь, думал он в секунды просветления, тот и этот свет соприкасаются и взаимопроницаемы? Во всяком случае, в своем бреду Тимашев совсем не мог понять, на каком он свете. Он словно бы прикован к печке, как некогда расслабленный Илья Муромец, а калик-перехожих не ожидалось, и в ушах звучали Элкины инвективы: «Ты типичный москочит, Илья. Ты создан для того, чтобы на печи лежать. Ни на что больше ты не способен!»

Пахло сушеной аптечной ромашкой, жар и духота печи дурманили его, голова была тяжелая, как от угара. Его рвало, он свешивался через край печки головой вниз. Какие-то девки в зеленых платьях помогали ему, поддерживая его голову, подставляя тазик, а когда он промахивался, убирали с пола блевотину, мыли некрашенные деревянные доски пола, а затем залезали на печь, прижимались к нему, обтирали влажными полотенцами его голое, пропахшее вонючим потом тело, теребили пальчиками в паху, вздыхали разочарованно и тут же, на уступах печки, со стонами отдавались бородатым молодцам с нахальными и печальными глазами и с копытами вместо ног. И почему этим распутным девкам, похожим на русалок, скользким, как рыбы, так нравились эти козлоногие сатиры?..

Больше двух недель пролежал он, скитаясь между жизнью и смертью. Разбился он в середине октября, а перевели его из реанимации назад в коридор пятого ноября, накануне праздников. Врачей не было, пахло лекарствами, сестричка поправляла ему капельницу, но он ничего не видел: на глазах была плот-

ная повязка. Доктор Бляхер распорядился, чтобы неделю он лежал в темноте: дабы не утомлять зрительные нервы. Но голоса он слышал. С кровати доносился сумеречный разговор:

— А интересно, жмурик наш слышит чего-нибудь?

— Молчит. Значит, не очнулся еще.

— Очнется. Скажет: «Здравствуйте, доктор». А тот в ответ: «Я не доктор, я апостол Петр».

Раздался смех.

— Так-так. А то еще,— продолжал обстоятельный голос,— в палату к одному заходит мужик в белом халате. «Доктор, ну как мои анализы?» Беспокоится, как наш «этик». А вошедший его линейкой меряет и говорит: «Я не доктор, я здешний столяр».

— Жестокие у вас анекдоты, не дают человеку сопротивляться болезни,— возразил занудливо-интеллигентский голос «этика», как догадался Илья.

— Жизнь жестокая,— ответил обстоятельный.

— Народу у нас много,— подхватил простонародно-приблатненный.— Не жалко. Пускай мрут.

— Глянь, а потом не хватит!..

— Не бойсь! Взаимы у Америки возьмем. Или у Китая.

— Это можно,— согласился обстоятельный.— Китайцы — работники хорошие. А мы все равно работать не умеем.

— Точно! — с гордостью за соотечественников воскликнул приблатненный.— С утра глаза наливаем.

Вмешивается новый голос, раздраженный, судя по произношению, не московский, слегка окающий:

— А когда работать? Вот устроили, например, летом день животновода — все целый день гуляли, пьянствовали, утром похмелялись: вот вам три дня как не бывало! Если б я правительством был, я бы зимой все эти праздники устраивал!..

Тянулись дни. Никто к нему не приходил. Одинокое ему было, неуютно. Неудобно есть больничное пойло почти на ощупь, слабой правой рукой; левая чуркой лежала в гипсе. Нести ложку ко рту, обливая супом бинты и рубаху, а запахи пролитой и засохшей еды не заглушала даже вонючая мазь Вишневского. Еще более некомфортно было просить сестру об утке или судне, тем более о клизме: его мучали запоры и изжога. Когда он погрузился в забытьё, перед ним начинали кружить сухие осенние листья. Они сыпались на него с шорохом и треском, тревожным и неприятным. Да и листья, если приглядеться, были не просто листья, а листья-лица. Каждый листок — чья-то физиономия. Элки, Антона, Лины, Владлена, Пети, Розы Моисеевны, Паладина, Каюрского, Гомогрея...

Первым пришел Каюрский.

Громыхая, подвинул к кровати стул, сел и заговорил рыкающим басом:

— Рад, что живы и выкарабкиваетесь, это сейчас главное. Хотя неосторожность — это не смелость, дорогой Илья Васильевич. Я говорил с заведующим отделением. Вас скоро в палату переведут. Ваша голова нам нужна. У меня, пока вы здесь отлеживаетесь, ситуация поменялась. Я и в Иркутск уже успел слетать и снова вернуться. Дело в том, дорогой Илья Васильевич, что меня пригласили работать на Старую площадь, именно что туда, в Цека, я теперь зав. сектором там по теории. Вас к себе беру.

— Я беспартийный.

— Ничего, вступите,— успокоил Каюрский.— Поможем. Предстоят большие бои... Все мозги должны быть на учете.— После этих слов в затуманенном сознании Тимашева даже добрейший Каюрский предстал людоедом, которому он нужен как объект поедания.

— Как Лина? Где она?

— Гм, вынужден вас огорчить. Не хотел говорить. Но врач сказал, что уже можно. Все печальные события скверно повлияли на психику Ленины Карловны. Она сейчас в психиатрической лечебнице, я был у нее. Дела там плохи, Илья Васильевич! Ведет она себя тихо, но никого не узнает и никого не вспо-

минает... Сидит на постели, в грязном халате, не прибрана, не умыта, все время бьет себя кулаком в грудь и повторяет одно и то же: «Я подлая, я любви не заслуживаю, меня покарать надо». Я, конечно, сообщил ей, что вы живы, но она, мне кажется, не услышала и не поняла.

Илья тоже больше не слушал, не хотел слушать, отключился. Как и когда ушел Каюрский, он не заметил. Спустя какое-то время очнулся. Доносились слова. Говорил обстоятельный:

— Сестрички-то наши куда-то сбежали. Я вчера их анекдот слышал. Волк в лесу встречает Красную Шапочку и спрашивает: «Ты куда идешь, на елочку?» «Нет, на палочку», — ответила Красная Шапочка, а волк густо покраснел.

Раздался мужской регот.

Он мечтал о тишине, а она не наступала.

Из разговоров он узнал, что интеллигентски-занудливый голос принадлежал доценту, преподавателю философии, читавшему этику в Гидромелиоративном институте. Попал сюда философ, пожаловавшись на боли в животе, а когда они прошли и его стали выписывать, мнительный доцент перепугался, решил, что дела его плохи, дни сочтены и его выпихивают, чтоб не портить отчетности. Он жаловался, стонал, просил отнестись к себе повнимательней, требовал, чтобы ночами около него дежурила мать. Его жалобы, когда философ-этик выходил в сортир, обычно комментировал голос обстоятельного насмешника — инженера из МАДИ, который лежал после операции. У него была язва двенадцатиперстной кишки, с которой он лет двенадцать маялся, пока осмелился лечь под нож.

Приблатненно-простонародный голосок извергал из себя работяга, токарь с какого-то мелкого заводика. Его привезли с сильными болями, сделали резекцию желудка, а наутро у него случилась белая горячка. Он попросил у сестры спиртику похмелиться, та отказала. Тогда он, вскочив с постели, что было для него смертельно опасно, прошел за медсестрой в перевязочную, где хранились лекарства, оттолкнул ее, ударил, разбил стеклянный шкафчик в поисках спирта, двинул прибежавшего врача дрючком, которым открывали окна, короче, покуролесил порядочно, пока не скрутили его двое здоровых санитаров прибывшей психиатрической перевозкой и не увезли. Думали, что помрет в психушке без хирургического ухода, но через пять дней его вернули вполне живого.

Четвертый, слегка окаяющий раздраженный голос подавал горьковчанин. Кто он по профессии — Тимашев так и не понял. А свою историю, как его пырнули ножом на Ветлуге, рассказывал подробно. Сам Тимашев на Ветлуге был дважды — с Леней Гавриловым, который из дружеских чувств считал, что историк Тимашев должен «изнутри увидеть настоящую Россию». И Илья живо вспомнил мелкие домишки с занавесочками и массой цветов на окнах, домашний уют и разрушенные церкви, испохабленные каменные дома начала века, дикость мужиков, пьянь, безделье, отсутствие всякой духовной жизни там, где до революции кипела торговля, устраивались ярмарки, свои театры, создавалась местная элита, а теперь — как после нашествия гуннов: никакой культивированности, гуляет дикая стихия народной жизни. И горьковчанин об этом же рассказывал.

— Ты на Ветлугу отдыхать ездил? — попытался обстоятельный.

— Фуля — отдыхать! Ножом в живот пырнул, гад! Да еще и руку порезал.

— Так-так. Кого пырнул? — изображал непонимание обстоятельный.

— Кого? Меня!

— За что?

— Ни за что — вот за что! Сука такая. Увидеть снова и убить его — смерть! Ей-Богу, убил бы! Да, боюсь, в Горьком его дружки семью порежут. Я сам из Горького. Привез оттуда на Ветлугу рабочих на уборку. Спим в сарае. Я вышел покурить. Возвращаюсь — он в дверях, ждал, сука. И, слова не говоря, сразу в живот пикой. Я отшатнулся прямо. А он, сука, снова. Я рукой раз отбил, вон видишь, тоже пропорол, теперь зажила почти. Убить хотел. И надо же, через пять дней его выпустили, говорят: нет свидетелей, нет и состава преступления. Что ж, я сам себя на нож три раза натыкал? В милиции говорят: «Сам виноват». В чем? В том, что мордвин я. А тот мордву не любит, высказывается, что для него мордвин хуже еврея.

— Хуже не бывает,— возразил приклатненный.

— А он уехал отпуск догуливать,— продолжал повествовать горьковчанин.— Теперь вот из больницы боюсь на родину-то возвращаться. Подстережет он или из дружков кто, ведь и жену могут, и ребенка. Все же убил бы его, да меня засудят. Это таким, как он, с рук сходит. Одна судимость у него есть, правда. Девушку, то есть женщину, человека, одним словом, со второго этажа выкинул. Она теперь увека, а он три года отсидел — и хоть бы что!

— А вы с ним не ссорились? — интеллигентски-занудный голос.

— Да на кой мне это надо — ссориться. Просто ему крови захотелось. Хорошо еще, что до города, до Ветлуги то есть, всего шесть кэмэ было. А то бы кровью истек. Из Ветлуги самолетом в Горький, тоже не все операции могут, вот в Москву и отправили.

«Криминогенный мир», — думал Тимашев. Казалось бы, на фоне этого дикого быта все его терзания и переживания, чувства вины и раскаяния должны бы потускнеть, испариться. Но ничего Илья не мог с собой поделать — вспоминал, вспоминал, корчась внутренне от мук.

В коридоре, где они лежали, шел ремонт. Пахло краской и известкой, слышался топот тяжелых рабочих сапог и матерные шутки. Маляры порой бегали большим за водкой — по рублю сверху каждой бутылки. Заполночь, когда сестры уходили спать или заниматься любовью, ходячие и выздоравливающие распивали припасенные бутылки, укрываясь, разумеется, от иногда заглядывавшего на этаж дежурного врача. «Прямо как наша редакция», — думал Илья, засыпая. Думал об этом и на следующий день, когда неожиданно услышал рядом с собой голос Гомогрея.

— Здорово, Илька! К тебе от всех делегирован! И от себя тоже. Рад, что ты выжил! Сто лет теперь будешь жить. Мы еще с тобой великих дел наделаем! Будем разбивать гнилые головы догматиков! Ха-ха! Ты нам нужен. А Гомогрей — твой верный друг! Он и к Элке заходил пару раз. Ничего, они с Антоном держатся, бодры и веселы. Я им курицу принес. Ну, подкормить семью друга думал. Ты Элку знаешь. «А,— говорит,— помощь пострадавшим при землетрясении». Острит, зараза такая! Но ничего, тебя уже не бранит. Так что все образуется. Ты давай поправляйся. Я тебе витаминов тут принес: апельсинов, лимонов. Хочешь, почищу один? Не хочешь? Да не вешай носа! В стране сейчас многое будет меняться! Прогрессисты непременно придут к власти. Они теперь сила в самом Политбюро. Эту партию политбюрошники на хрен развелят, создадут другую.— Последние слова сказал громко.

— Так-так! — заметил обстоятельный.— Никак это невозможно. Двух партий у нас быть не может: не прокормим.

— Вот именно,— сказал Илья.— Что же, они под себя копают, что ли? Они же пайков и прочих привилегий лишатся.

— Ты что? — простодушно возразил Гомогрей.— Они-то себе нахватают. Они же у руля останутся. Будут руководить. Большевики и в разруху неплохо жили. Не бойся, себя они не забудут. А мы под шумок свое вякнем.— Наклонившись, зашептал в ухо: — Ты подумай, коммуняк повыведем! А? Ведь ихняя идеология во всем виновата, Карла Маркса этот!..

Высказавшись, убежал.

«И этак рассуждает и чувствует один из лучших, из добрейших. При чем здесь, у нас, Маркс?.. Он не для России и не про Россию писал. Но какой-нибудь прохиндей еще добавит, что Маркс еврей, а евреи всегда во всем виноваты. Так и будут кричать. На себя обернуться не захотят». Он понял, что не будет примыкать ни к каким прогрессистам. Придут к власти — и у них появятся враги народа, снова будут сажать. Логика борьбы. Тоска. И вообще жить в этом мире ему не хотелось: все дичь какая-то. Хоть бы поглядеть вокруг себя зрячими глазами. Хотелось смотреть, видеть свет.

Он притерпелся к ровной, безостановочной боли в поломанных костях, она даже как будто становилась все слабее и слабее. Но иногда резкая боль в области позвоночника, ближе к копчику, словно пронзала его: дыхание становилось прерывистым, глаза вылезали из орбит, натыкаясь на марлю повязки, он начинал корчиться и, задыхаясь, стонать. Тогда подходила сестра и делала ему укол. Он впадал в полудрему, и его посещали видения. Вариации на одну и

ту же тему — Конца Света. Того самого Конца, когда восстало племя на племя, род на род, страна на страну, люди на людей.

От этих видений его бросало в ужас, в холодный пот: где бы он ни оказывался в этом кошмаре — в редакции, у Элки с Антоном, у Лины, — чудилось одно и то же. На улице начиналось смятение, какие-то толпы неслись лавиной, шли танки и бронетранспортеры, стреляли пулеметы, от толп отделялись отряды, заходили в подъезды, врываются в квартиры, вытаскивали жителей, выбрасывали их на мостовую, давили их гусеницами, ломали и рубили им руки и ноги, жгли, сдирали с живых кожу.

Словно с какой-то высоты видел он, как гибли сотни, тысячи, сотни тысяч людей... Люди бегали по улицам и умирали на ходу. Других хватали человекоподобные существа, они пытали своих жертв, насиловали их, вешали, топтали ногами, рвали на куски, резали на части и варили их мясо в котлах на разведенных среди улиц кострах, насыщаясь человечиною. И повсюду стоял запах дыма, гари, крови и мясного бульона. Его мертвое тело валялось меж других...

— Тимашев? Вон лежит, — донесся до него женский голос, и он, с трудом выбираясь из забвения и кошмара, был удивлен, как и кто смог его разыскать в этой горе трупов.

— Спасибо, — ответил мужской голос. — Здравствуйте, Илья, это Борис Кузьмин к вам пришел.

— Да? Я рад. А где же он?

— Я — это он и есть. Не узнаете мой голос?

— Теперь узнал.

Борис шел к больнице пешком, через Тимирязевский парк. Утоптанная, посыпанная гравием дорога вела его сначала прямо, затем свернула налево. С обеих сторон за иствлевающей колючей проволокой, натянутой на уже скособоженные столбики, стоял в меру не ухоженный, хотя и разбитый на квадраты парк. Темно-серые осенние тучи нависали над ним.

Впереди шага на два, выставив правое плечо, шел невысокого роста старичок. Шел стремительным, злым шагом, а следом перебирала ногами, отставая шага на три-четыре, такого же роста старушка, очевидно, спутница жизни. Но старик не оглядывался на нее, словно навсегда озлился на свою старуху и даже замечать ее не хочет.

Дорогу к больнице Борис знал хорошо: не раз ходил мимо на лыжах да и лежал в ней дважды — раз по случаю аппендицита, когда его чуть не зарезали на операционном столе, другой раз, чтобы отмотаться от армии. Он подошел с тыла больницы, где был пролом в заборе. Среди кустов гуляли больные в пижамах и полосатых халатах, рядом с некоторыми шли одетые в цивильное платье родственники. Пройдя вдоль железного забора, Борис нашел напротив хирургического корпуса дырку: был выломан один из железных прутьев. Пролезши в эту щель, он оказался на заднем дворе больницы. На асфальте валялись смятые длинные использованные бинты, куски ваты со следами крови, сплюснутые гнилые помидоры и огрызки яблок, выброшенные из верхних окон или просто оброненные по дороге к мусорным контейнерам. На крашенных в синий цвет скамейках сидели, покуривая, парни и девицы в белых халатах, медсестры и санитары.

О чем говорить с больным? Знакомых общих почти нет. Но не навещать нельзя. Он вспомнил недавно перечтенное им тимашевское эссе «Мой дом — моя крепость». Месяц назад Каюровский передал текст через Петю, пока тот еще был здесь... Гм... да. Там есть занятные наблюдения. О том, что, скажем, в словаре Даля слово «крепость» в смысле европейском, то есть твердыни, укрепленной против врагов, занимает пятое место. А первым приводится значение принадлежности, состоянья, иными словами, крепостного подчинения. Интересно и то, что в народе крепостью называли тюрьму, а бесправие русского человека вылилось в форму крепостного права. И в результате слово «крепость» стало в нашей культуре обозначать не защиту, а порабощение человека. Хотя отзвук благородства в слове все же остался. Поэтому в конце эссе Тимашев почти заклинание произносит, чтобы сам человек стал несокрушимой крепостью, которую нельзя покорить. Но для этого должно быть свободным. А воз-

можно ли это у нас?.. Вот про эссе и надо поговорить. О собственном творчестве всякий порассуждать любит.

Отделение, в котором лежал Тимашев, находилось на третьем этаже. Был день приема. Обшарпанные стены, побитые ступени, заляпанные известкой, по два телефона-автомата на каждой лестничной площадке... Но на втором этаже телефоны не работали, на четвертом, как он понял из разговоров, работал только один, поэтому жаждущие позвонить толпились на третьем: мужчины в разноразмерных пижамах и женщины в халатах. С площадки Борис прошел в вестибюль с лифтом, а оттуда — в коридор, где среди прочих лежал Илья.

Увидев его, Борис непроизвольно вздрогнул. Худой, как из Освенцима или с Колымы, Тимашев лежал на спине, заострившимся лицом кверху, с марлевой повязкой на глазах. Желтовато-белая кожа с пятнами йода, выступавшими из-под повязки, обтягивала его лоб, щеки ввалились, бороду ему, видно, недавно подстригли, но как-то неаккуратно, клочковато. Так выглядят раковые больные в последние перед смертью месяцы. Кузьмин отвел глаза, но потом все же заставил себя смотреть на лежащего, привыкая к его новому облику. «Хорошо, что он сам себя не видит», — промелькнуло в голове. Он проглотил слюну и окликнул Тимашева...

— Что скажете? — раздался с постели скрипучий голос.

В словах, в интонации почудился Борису некий упрек.

— Что я рад вас видеть живым. Слава Богу, произошло чудо, и вам повезло.

— Да не так чтобы очень и повезло. Опять надо принимать самому решение... — Нет, упрека в словах не было, но звучали они непонятно.

— Простите, Илья, не понял.

— Трудно объяснить. Сил нет. Скажите лучше, как ваши успехи?

Борису показалось, что это и в самом деле интересует умирающего, и он начал рассказывать, что заканчивает первую повесть задуманного цикла, но вдруг спохватился: стало стыдно говорить о себе.

— Я, кстати, перечитал ваше эссе «Мой дом — моя крепость». Вы не пытались где-нибудь опубликовать текст?

— Я уже забыл, о чем писал.

— Как?!

— Так. Я многого не помню. Теорий своих не помню, а вспоминаю все время близких людей. Только о них и думаю. Вспоминаю слова, жесты, ситуации. Да разговоры слушаю. Еще кошмары снятся.

— Какие кошмары?

— Разные. Смешно сказать, но я ведь в самом деле почти на том свете бывал. Вот и кошмары. Неправильно жил. Сейчас бы все иначе строил. Всю свою жизнь. И отношения с женщинами тоже. Еще что? Еще Конец света снится.

— В каком смысле — Конец света?

— В самом прямом. Ну да это сами со временем увидите. Расскажите лучше, что в вашем дворе творится, как Петя?..

— Пети здесь больше нет.

— То есть? — вздрогнул больной.

— Да вы не волнуйтесь. Будем надеяться, что он жив-здоров. Сразу после похорон Розы Моисеевны приехали коллеги Владлена и увезли его в Прагу к родителям. А недавно до меня слух дошел, что Владлен умудрился получить приглашение в Германию, возможно, там с семьей и останется: по еврейской линии. Немцы сейчас изо всех сил свою вину перед евреями искупают.

— Забавно,— слабо усмехнулся Тимашев.— Едут в Германию, которая придумала газовые печи, а России боятся. Может, и не зря. Всколыхнется наше болото, и мир вздрогнет.

— Вы чувствуете себя очень несчастным,— вдруг быстро и утвердительно произнес Борис.

Губы собеседника сжались. Потом он ответил:

— Очень. Очень душа болит. А крепости духа в себе не нахожу.

— Не надо так себя мучить...

— Почему же?.. Я виноват — вот в чем дело. От того и мучаюсь. Виноват перед женой, что не умел ее и свою любовь уберечь, перед сыном, что не стал для него настоящим, авторитетным другом. Перед Линей, потому что, полюбив, не поверил себе, испугался любви. И перед собой виноват, что не трудился, как должен бы в силу мне Богом отпущенных способностей. Тогда бы, может, и остальное иначе сложилось.

Борис стоял, судорожно подыскивая слова.

— Вы замолчали, Борис. Вам, наверно, пора уходить. Вы не стесняйтесь. Я лежу, думаю, не скучаю. Спасибо, что зашли.

Это была помощь, и он ее с благодарностью принял.

— Да, мне пора. Поправляйтесь.

Кузьмин ушел, а Илья тоскливо думал, что не умеет никто из людей его круга жалеть, что живут разговорами, а не душой. А у него душа болит. И эту душу пожалеть бы надо, но — некому. Он прислушался. Громогласно рассуждала раздражавшая его все последние дни своей пошлостью сменная нянечка. Мужики, похрюкивая, смеялись над ее высказываниями.

— Все от того, что распустились люди. Бабы особенно. На любое согласны. А у мужика нынче не стоит, а хочется. Вот его на всякие извращения и тянет.

— Так-так. Видишь, открываются какие нюансы в жизни.

— Надо жить порядочно,— продолжала баба, не заботясь о логике своей речи.— Мой папа женился, когда ему было тридцать шесть. Вот так. Не пил, не курил. Был здоров. И шестерых на ноги поставил. Трех сыновей и трех дочерей.

Илья вдруг почувствовал зависть к папаше этой бабы, потому что в ее голосе слышалась детская любовь к отцу, которую он мечтал хоть раз услышать в голосе Антона. Он даже застонал.

— Чего стонешь? — спросила его нянька.— Стонать мужику нельзя. Может, душно? Сейчас и в коридоре проветрим. Фрамуги открою, пока пол протираю. О мужиках есть такая поговорка. Хочет, но не может — это слабость. Может, но не хочет — это жестокость.

— Почему же это? — поддразнивал ее обстоятельный.— Например, мужик может ударить, но не хочет бить. Это — доброта.

— Неправильно. Я об отношениях мужчины к женщине говорю. Когда он, мужик то есть, может, но не хочет женщину, — это жестокость.

Опять все захихикали, а Илья под все эти препирательства и подначивания заснул с чувством горя в душе.

Проснулся он с тяжестью на сердце, ощущая тоску и отчаяние, которых не испытывал с такой силой еще даже день назад. Чушь, дичь, дикость, глупость, ярость, взаимное равнодушие существ, называющих себя по привычке людьми, отсутствие душевной близости и тепла все длятся и длятся, столетия постукивают по стыкам исторических периодов, и зла и раздражения в мире не убывает. По-прежнему самые примитивные чувства — взял женщину, не взял женщину, убил, избежал смерти от ножа или не избежал: все та же равнодушная природа, меняя свои калейдоскопические рисунки людей и народов, этносов и суперэтносов, господствует над человеком. Природные циклы: детство, юность, зрелость, старость, смерть — никуда от этого не убежать. И эта самка, говорившая о жестокости в отношениях между мужчиной и женщиной: все правда. Таково мироустройство. Преодолеть его можно только любовью. Но умеет ли человек любить?..

И тут он услышал Элкин голос. Слишком долго она не приходила, он перестал ее ждать. И было потянулось к ней, но от первых же ее слов сжался, как от удара.

— Говорят, ты поправляешься. Мне твой Каюрский звонил. Сказал, что ты хочешь меня видеть. Пришла сама поглядеть.

— Немного поздно ты пришла.

— Уж как сумела! Ты наблудил — теперь терпи. Но я не это хотела сказать. После некоторого размышления я решила разрешить тебе вернуться домой.

— Благородно.

— А то нет? Кому, как не мне, придется за тобой ухаживать, кормить, судно подставлять, пока ты сам ходить сможешь! Я, пожалуй, готова на это. Но при некотором условии.

— Интересно, каком?..

— Я понимаю, что тебе это интересно. Скажу, не волнуйся. Похоже, что ты перебесился. Я готова все забыть. Живи с нами. В конце концов ты имеешь такие же права на квартиру, как и мы с Антоном. Я знаю, что твоя Лина в дурдоме и пойти тебе после больницы не к кому. А я на тебя много сил и молодости положила и еще придется класть. Так что зачем мне лишаться статуса мужней жены?

— Я виноват, Элка. Прости, если можешь.

— Мне твои покаяния ни к чему. Я хочу с тобой договориться. Ты в свое время хотел быть сам по себе. Хотел свободы. Ты ее получишь. Но не мешайся и в мои дела и отношения. Ты — сам по себе, я — сама по себе. Заботой я тебя не ставлю, это я обещаю. Здесь, кстати, курить нельзя?

— Как будто нельзя.

— Ладно, потерплю. И подумай: раз ты будешь с нами жить, то и тебе польза. Не замкнешься в своей книжной скорлупе. Время от времени живых людей хоть увидишь. Но не ожидай, что мы, раз ты с балкона сверзился, будем тебе ноги мыть и эту воду пить. У Антона уже своя жизнь. Да и вообще мало что в жизни меняется. Он все так же будет нам хамить, я все так же не буду вовремя мыть посуду и готовить обед. Но у тебя будет все же какой-никакой, а дом.

— Знаешь, Элка, с тобой хорошо тусоваться или ходить на баррикады. Но не жить.

— Это уж как пожелаешь. Но если ты тем не менее решишь вернуться, запомни: я тебе рабой не буду. Я не Лина какая-нибудь...

Говорить с ней он больше не хотел. Надо было что-то решать. И делать это одному, наедине с собой.

— Я устал. Прости, мне надо отдохнуть. — Он сжал губы и через некоторое время услышал звук удаляющихся каблучков. Тогда он погрузился в себя, отключившись от внешнего мира.

Можно подвести итог, думал он. Две женские жизни я испоганил. Одну навсегда, другую, в сущности, тоже. Свою жизнь сломал. И возвращаться мне некуда. Не хочу больше немытой посуды, дыма коромыслом, ссор и раздражения по пустякам, российской романтики неустройства и разрухи. Если б знал, что делать дальше, как жить, то непременно бы жил. А так — бессмысленно. Отрваться от земного притяжения, взлететь, в горние выси подняться не удалось. А хотел. Но здешняя жизнь оказалась сильнее меня. И теперь во мне все пусто. Никому ничего не надо. Нет ни земли, ни неба. Ничего нет. Копшатся некие существа на поверхности одного из космических тел. Как в сказке — деревня на спине рыбы-кита. А если он нырнет под воду?.. Всему конец. Мы не знаем, почему происходят бесконечные войны, убийства, революции. Как связан, как зависим человек от неведомой силы! Все темно и слепо. И нет любви. А все рассуждения о России, о Европе — ух, какие важные! — оттуда, из космоса, кажутся ничем. И нет такой крепости, которая могла бы защитить свободу и независимость человека.

Он умирал, но еще не догадывался об этом. Чуть побольше бы силы духа, думал он, как у древних римлян... Что там писал Сенека?.. Человек, способный умереть, — свободен. Способный не по воле злодея, а сам по себе. И надо осуществить эту последнюю возможность свободы. Он боялся ада. Нелепость. Ад остается на Земле. Он задержал дыхание, прекратив доступ воздуха в легкие. Тело его стало выгибаться, жилы на лбу напряглись, и вдруг в голове и груди что-то разорвалось. Последнее, что он услышал, — слова прилатненного:

— Жмурик-то наш как задергался. Помирает, что ли?

А потом наступила темнота, переходящая в вечный свет.

Пять стихотворений

* * *

Когда бы сжечь могла я эти строки,
Не оглянувшись даже на пороге.
Когда бы сжечь могла я все, что помнит
Тебя во мне... Но, будто бы любовник,
Огонь меня объемлет, не сжигая —
И выхожу из пепла я нагая,
Как будто бы из пены — не Кипридой,
Но азиатским всем страстям открытой,
Плывущей сквозь Урал на шее бычьей
Европой, где забыт уже обычай
Всем руки целовать и на пороге
Перекрестить... Лишь соль сверкнет на роге
Быка, что о Европе грезит в стойле,—
О Лондоне, Париже и о той ли,
Что жжет черновики и не сгорая
Все бродит в негасимых куцах рая,
Где за порог не пустят, но с порога
Целуют руки долго, долго, долго
За той чертой, где все мы погибаем,
Как дети с пересохшими губами,
От серного дождя уйдя не дальше
В соль превращенных плакальщиц-купальщиц,
Ушедших из Содома и Гоморры
На полстопы — туда, где разговоры —
Лишь повод обернуться... Где веками
За пазухой ласкают только камни.
И подают на ужин в праздник зимний
И соль, и стыд, и яблоко со змием,
И чашу ускользнувшую Грааля...
Гони нас, Боже, из такого рая!..

* * *

Из двух отраженных взаимно душ
Одну называть своею
И знать, что она не услышит уж
За этой волшебной дверью...

Как будто бы чье-то чужое «быть»
Я так глубоко вдохнула,

Что вынесло все из моей судьбы
В тоннель неземного гула.

Я ведать не ведала, чья ладонь
Меня позвала однажды.
Я только тянула в себя огонь
От нечеловечьей жажды.

Я всем неземным, что во мне, звала
И не призвала земное,
Хоть небо лежало на тех волах,
Что шли за моей спиною.

В оглядке, быть может, и был ответ.
Но как оглянуться ночью...
Я знала в лицо этот жгучий свет
И знала его на ощупь.

На всех вавилонских чужих балах
Кружил только он со мною!
И небо лежало на тех волах,
Что шли за моей спиною!

И мне потому не хватало рук
На все не свое... Теперь я
Все слышу и слышу условный стук
За этой волшебной дверью...

Рождение Лилит

Мокрых,
и скользких,
и сладостных глин
не перечешь,
о пропущенных сквозь
влагу и шерсть,
и гниющую гроздь
тех именин,
где ступаешь на весть
легкой душой,
воплощаясь в ничто —
в мяту и тмин
плоти чужой,
недоверчивой — до
прикосновений...
и рвущейся к ним...
Детское сладостно
для языка...
и для веков...
и для древних мужей...
Вся —
что от левой ступни
до соска
Правой груди —
сладость оков
помнит уже...
— Не уходи! —
И в руках гончара
стонет она
до утра...
дочерна...

Мокрых,
и скользких,
и сладостных глин,
ангелом
набранных
позавчера,
смять,
укротить,
усмирить
не смогли
пальцы на круге гончарном
и на
ложе своем
и на ложе чужом...

Топчет, топчет судьбы моей яростный плод
На одном чердаке, где никто не живет,
Где играет мой Пан на свирели для крыс,
И безумье всю ночь обвивает карниз
Этой буйной лозой, замыкающей круг
Пуповиной, обвившею весь Петербург,
Что висит над Эллагою вниз головой
И стекает в кувшин виноградной Невой.
И смеется, смеется полуночный Пан —
Зреет в козье башке его сладостный план,
Как проснемся с тобою мы между колонн
В славном портике крохотном, где испокон
Пели, пили вино и Платон, и Сократ
И давили ступнями хмельной виноград
Наших сочных теней, что свисали на них
С парапетов Невы и ночных мостовых.
Выливая вино на пурпурный хитон,
Ставит Пан наши судьбы с тобою на кон.
И бросает он кости — иль пан, иль пропал! —
На дворцовую площадь и там у столпа
Отражает пузенью огромной своей
Голубые зрачки петербургских огней.
Все свершилось отныне и все решено —
Становлюсь я хромоту Сократу женой.
И сварливой Ксантиппе теперь меж колонн
Снится каждую ночь недоступный Платон.
Кончен бал! Кончен праздник взбесившихся лоз!
Хромоногий прохожий хохочет до слез,
Загоняя в загоны баранов и коз,
Выпуская из клеток общипанных птиц..
И крадется в козла превратившийся принц
За безумною феею питерских крыс.



Похороните меня за плитусом

ПОВЕСТЬ

Меня зовут Савельев Саша. Я учусь во втором классе и живу у бабушки с дедушкой. Мама променяла меня на карлика-кровопийцу и повесила на бабушкину шею тяжелой крестягой. Так я с четырех лет и вишу.

Свою повесть я решил начать с рассказа о купании, и не сомневайтесь, что рассказ этот будет интересным. Купание у бабушки было значительной процедурой, и вы в этом сейчас убедитесь.

КУПАНИЕ

Начиналось все довольно мирно. Ванна журча наполнялась водой, температура которой была ровно 37,5. Почему так, не знаю точно. Знаю, что при такой температуре лучше всего размножается одна тропическая водоросль, но на водоросль я был похож мало, а размножаться не собирался. В ванную ставился рефлектор, который дедушка должен был выносить по хлопку бабушки, и два стула, которые накрывались полотенцами. Один предназначался бабушке, второй... не будем забегать вперед.

Итак, ванна наполняется, я предчувствую «веселую» процедуру.

— Саша, ты скоро? — спрашивает бабушка.

— Иду! — бодро кричу я, снимая на ходу рейтузы из стопроцентной шерсти, но путаюсь в них и падаю.

— Что, ноги не держат?!

Я пытаюсь встать, но рейтузы цепляются за что-то, и я падаю вновь.

— Ты так и будешь надо мной издеваться, проклятая сволочь?!

— Я не издеваюсь.

— Твоя мать мне когда-то сказала: «Я на нем отыграюсь». Так знай, я вас всех имела в виду, я сама отыграюсь на вас всех. Понял?

Я смутно понимал, что значит «отыграюсь», и почему-то решил, что бабушка утопит меня в ванне. С этой мыслью я побежал к дедушке. Услышав мое предположение, дедушка засмеялся, но я все-таки попросил его быть осторожнее. Сделав это, я успокоился и пошел в ванную, будучи уверенным, что если бабушка станет меня топить, то дедушка ворвется с топориком для мяса, я почему-то решил, что ворвется он именно с этим топориком и бабушкой займется. Потом он позвонит маме, она придет и на ней отыграется. Пока в моей голове бродили такие мысли, бабушка давала дедушке последние указания насчет рефлектора. Его надо было выносить по хлопку.

Последние приготовления окончены, дедушка проинструктирован, я лежу в воде, температура которой 37,5, а бабушка сидит рядом и мылит мочалку. Хлопья пены летят вокруг и исчезают в густом паре. В ванной жарко.

— Ну, давай шею.

Я вздрогнул: если будет душить, дедушка, пожалуй, не услышит. Но нет, просто моет...

Вам, наверное, покажется странным, почему я сам не мылся. Дело в том, что такая сволочь, как я, ничего самостоятельно делать не может. Мать эту

сволочь бросила, а сволочь еще и гниет постоянно, вот так и получилось. Вы, конечно, уже догадались, что объяснение это составлено со слов бабушки.

— Ногу вынь из воды. Другую. Руку. Выше подними, отсохла, что ли? Встань, не прислоняйся к кафелю.

— Жарко очень.

— Так надо.

— Почему никому так не надо, а мне надо? — Этот вопрос я задавал бабушке часто.

— Так никто же не гниет так, как ты. Ты же смердишь уже. Чувствуешь? Я не чувствовал.

Но вот я чистый, надо вылезать. Облегченно вздохнув, я понимаю, что сегодня бабушка меня уже не утопит, и выбираюсь из ванной. Теперь вы узнаете, для чего нужен был второй стул — на него вставал я. Стоять на полу было нельзя, потому что из-под двери дуло, а все болезни начинаются, если застудить ноги. Балансируя, я старался не упасть, а бабушка меня вытирала. Сначала голову. Ее она тут же завязывала полотенцем, чтобы гайморит не обострился. Потом она вытирала все остальное, и я одевался.

Надевая колготки — синие шерстяные, которые дорого стоят и нигде не достать, — я почувствовал запах гари. Одна колготина доходила лишь до щиколотки. Самая ценная ее часть, та, которая образует носок, увы, догорала на рефлекторе.

— Вонючая, смердячая сволочь! — Мне показалось, что зубы у бабушки лязгнули. — Твоя мать тебе ничего не покупает! Я таскаю все на больных ногах!

Бабушка достает из лежавшего у двери пакета запасные колготки. На всякий случай обещает меня четвертовать. Я переодеваюсь. Смотрю на себя в зеркало. В ванной такая жара, что я стал красный, как индеец. Сходство дополняют полотенце на голове и пена на носу. Заглядевшись на индейца, я оступаюсь на шатком стуле и лечу в ванну. ПШ-ШШ! БАХ!

В это время дедушка смотрел футбол. Чу! Его тугое ухо уловило странный звук со стороны ванной.

«Рефлектор надо выносить!» — решил он и побежал.

Бежал он быстро и впопыхах схватил рефлектор за горячее место. Пришлось отпустить. Рефлектор описал дугу и упал бабушке на колени...

Подумав, что, услышав всплеск, дедушка бросился меня спасать и неудачно отыгрался на бабушке, я хотел было все объяснить, но в ванной уже бушевала стихия:

— Гицель проклятый, татарин ненавистный! — кричала бабушка, воинственно потрясая рефлектором и хлопая ладонью другой руки по дымящейся юбке. — Будь ты проклят небом, Богом, землей, птицами, рыбами, людьми, морями, воздухом! — Это было любимое бабушкино проклятье. — Чтоб на твою голову одни несчастья сыпались! Чтоб ты, кроме возмездия, ничего не видел!

Далее комбинация из нескольких слов, в значении которых я разобрался, когда познакомился с пятиклассником Димой Чугуновым.

— Вылезай, сволочь!

Снова комбинация — это уже в мой адрес.

— Будь ты проклят...

Любимое проклятие.

— Чтоб ты жизнь свою в тюрьме кончил...

Комбинация.

— Чтоб ты живо в больнице сгнил! Чтоб у тебя отсохли печень, почки, мозг, сердце! Чтоб тебя сожрал стафилококк золотистый...

Комбинация.

— Раздевайся!

Неслыханная комбинация.

И снова, и снова, и снова...

УТРО

— А все равно красная ягода лучше черной! — раздался истошный крик, и я проснулся. Крик был так ужасен, что я подскочил на кровати и долго озираясь в страхе по сторонам, пока наконец не понял, что кричал я сам во сне. Поняв это, я успокоился, оделся и пошел на кухню.

— Чего так рано встал? — спросила бабушка.

— Проснулся.

— Чтобы ты больше никогда уже не проснулся! — Бабушка была явно не в духе. — Мой руки, садись жрать.

Я хорошо вымыл руки, дважды намылив их, и стал вытирать об махровое полотенце с зайчиками. В ванную заглянула бабушка.

— Мой руки снова! Этим полотенцем вытирался вчера этот вонючий старик, а у него грибок на ноге!

Я перемыл руки и окончательно убедился, что бабушка сегодня не в духе. Причиной тому был «вонючий старик», что в переводе с бабушкиного языка обозначало моего дедушку. Дедушка сидел в кухне на табуретке и сосредоточенно ковырял вилкой винегрет из рыночных овощей. Прогневил он бабушку тем, что рассыпал лист мать-и-мачехи. Неделю назад бабушка заварила такой с душицей в фарфоровом чайнике, потом поставила этот чайник на видное место и по сей день не могла найти. В кухне было множество баночек, банок и коробок, и любое видное место пропадало с глаз, стоило отнять руку от поставленного на него предмета. Нашелся чайник на холодильнике в окружении трех пачек чая, коробки с нитками, старого будильника и двух кульков чернослива как раз в тот момент, когда я сел наконец рядом с дедушкой за стол.

Бабушка принялась вычищать из своего чайника оставшуюся в нем вместо целебного отвара заплесневелую массу и сетовать, что мы загадили ее больной мозг. Я нетерпеливо спросил, когда же она даст мне завтракать, и горько пожалел об этом.

— Вонючая, смердячая, проклятушая, ненавистная сволочь! — заорала бабушка. — Будешь жрать, когда дадут! Холуев нет!

Я вжался в табурет и посмотрел на дедушку — он выронил вилку и поперхнулся винегретом.

— Кончились холуи... — добавила бабушка и вдруг выронила чайник.

От чайника медленно отвалилась ручка. Он тихо и жалобно звякнул, словно прощаясь с жизнью, и распался на несколько частей. Красная крышечка, как будто угадывая, что сейчас произойдет, предусмотрительно укатилась под холодильник и, вероятно, удобно там устроившись, удовлетворенно дзинькнула. Я позавидовал крышке, назвав ее про себя пронырой, и со страхом поднял глаза на бабушку... Она плакала.

Не глядя на осколки, бабушка тихо вышла из кухни и легла на кровать. Дедушка пошел ее утешать, я — не без опасений — последовал его примеру.

— Нин, ты чего? — ласковым голосом спросил дедушка.

— Правда, баба, что у тебя чайников мало? Мы тебе новый купим, еще лучше, — успокаивал бабушку я.

— Оставьте меня. Дайте мне умереть спокойно.

— Нина, ну что ты вообще?.. — сказал дедушка и помянул бабушкину мать. — Из-за чайника... Разве можно так?

— Оставь меня, Сенечка... Оставь, я же тебя не трогаю... У меня жизнь разбита, причем тут чайник... Иди. Возьми сегодняшнюю газетку. Саша, пойдй, положи себе кашки... Ну ничего! — Бабушкин голос начал вдруг набирать силу. — Ничего! — Тут он совсем окреп, и я попытился. — Вас судьба разобьет так же, как и этот чайник. Вы еще поплачете!

Я пролепетал, что не мы с дедушкой разбили чайник, и оглянулся в поисках поддержки. Но дедушка вовремя смылся за газеткой.

— Молчать! — взревела бабушка. — Вы загадили мой мозг, больной мозг, несчастный мозг! Я из-за вас ничего не помню, ничего не могу найти, у меня все валится из рук! Нельзя гадить человеку в мозг день и ночь!

Прокричав такие слова, бабушка встала с кровати и двинулась на кухню. Я не рискнул идти за ней и хотел остаться в комнате, но властный окрик и обещание сделать из меня двоих, если я сейчас же не подойду, заставили меня повиноваться. По дороге на кухню я размышлял, что было бы неплохо, если бы из меня сделали двоих. Один из меня мог бы тогда отдохнуть от бабушки, а потом они бы с тем, другим, менялись. Но, к сожалению, невозможное невыполнимо, и из несбыточных грез я снова перенесся в реальность.

Когда я вернулся к месту трагической гибели чайника, бабушка уже собрала на совок осколки и высыпала их в мусопрпровод. Потом она вымыла руки и стала натирать в тарелку рыночные яблоки, которые я должен был есть по утрам. Тут только вернулся дедушка с газеткой. Я посмотрел на него, как на дезертира.

Бабушка лихо натирала яблоки, щеки ее зарумянились, как на катке, дедушка посмотрел на нее и залюбовался.

— Видишь, как бабка-то старается. Не для кого-нибудь, для тебя, дурака,— сказал он и снова залюбовался бабушкой.

— Ну чего уставился? — смутилась бабушка, точно гимназистка на первом свидании.

— Так, ничего...— вздохнул дедушка и перевел взгляд на заляпанное окно, по которому в поисках съестного елозила большая муха.

— На.— Бабушка поставила передо мной тарелку тертых яблок. Они выглядели аппетитной светло-зеленой кашцей, когда выходили из-под терки, но тут же коричневели и становились довольно неприглядными.

— Зачем мне каждый день есть эти яблоки? — спросил я.

Дедушка оторвал взгляд от мухи и ответил:

— Как же, дурачок? Это нужно. Шлаки вымывает.

— Какие шлаки? — не понял я.

— Разные. Ты спасибо должен говорить, что тебе это дают.

— А зачем натирать?

— Так ты же не жуешь ни черта! — воскликнула бабушка.— Заглатываешь кусками такими, что ничего не усваивается! Ах, Сенечка, о чем ты говоришь, это же такое неблагодарное дерьмо! Сколько сил уходит, и хоть бы не издевался так... Ой, прибей эту муху, она мне на нервы действует!

Дедушка свернул в трубку принесенную газету и точно шлепнул муху. Та упала на подоконник и подняла лапку кверху в назидание, что так случится со всяким, кто будет действовать на нервы бабушке.

— Эх, Нина, а «Спартак»-то вчера проиграл,— сказал вдруг дедушка, глядя в газету, которой только что прибил муху.

— А мне чихать и на твой «Спартак», и на то, что он проиграл! Хоть бы они все сдохли и ты вместе с ними.— Бабушкин взгляд упал на стол, где осталось немного просыпанной мать-и-мачехи, и настроение ее снова ухудшилось.— Жрите! — Она поставила на стол гречневую кашу и котлеты паровые на сушках. Паровые, потому что жареное — это яд и есть его могут только коблы, которых не расшибешь об дорогу, а на сушках, потому что в хлебе дрожжи и они вредны для поджелудочной.

Дедушка уткнулся в свою тарелку, бормоча что-то про «Спартак», а я с тоской посмотрел на наскучившие мне котлеты и на зеленый «Панзинорм», который я должен был принимать по утрам.

— «Панзинорм» выпил?

«Панзинорм» мне порядком надоел и со словами: «Да, выпил», я попытался затолкнуть его под стоявший на столе кулек с мукой, не заметив, что бабушка у меня за спиной.

— Сво-о-лочь... Старик больной ездит достает, чтоб ты тянул как-то, а ты переводишь! Хоть бы уважение имел! Разве порядочные люди делают так? Тебе что, не жалко больного старика?

«Больной старик» глубокомысленно сказал: «Да»,— и снова углубился в свою котлету.

— А ты дакай, дакай! Одну сволочь вырастили, теперь другую тянем на горбу.— Под первой сволочью бабушка подразумевала мою маму.— Ты всю жизнь только «дакал» и уходил таскаться. Сенечка, давай то сделаем, давай это. «Да... Потом...» Потом — на все просьбы одно слово!

Глядя в тарелку, дедушка сосредоточенно жевал котлету.

— Ничего... Горький говорил: удар судьбы приходит неожиданно. Будет тебе расплата. Предательство безнаказанно не проходит! Самый тяжкий грех — предательство... Капусту принеси мне сегодня, я щи сварю. В «Дары природы» иди, в «Комсомольце» не покупай. Там капуста свиней кормить, а мне ребенку щи варить, не только тебе, борову. Принесешь?

— Да.

— Знаю я твоё «да»...

Я доел кашу, сказал бабушке «спасибо» и вышел из-за стола.

— Хоть бы спасибо сказал! — послышалось вслед.

Прежде, чем начать следующий рассказ, мне хотелось бы сделать кое-какие пояснения. Уверён, найдутся люди, которые скажут: «Не может бабушка так кричать и ругаться! Такого не бывает! Может быть, она и ругалась, но не так сильно и часто». Поверьте, даже если это выглядит неправдоподобно, ба-

бушка ругалась именно так, как я написал. Пусть ее ругательства покажутся чрезмерными, пусть лишними, но я слышал их такими, слышал каждый день и почти каждый час. В повести я мог бы, конечно, вдвое сократить их, но сам не узнал бы тогда на страницах свою жизнь, как не узнал бы житель пустыни привычные взгляду барханы, исчезни вдруг из них половина песка. Я и так убираю из бабушкиных выражений все, что не принято печатать. Мама моего приятеля запретила нам общаться, когда я сказал, как назвала меня бабушка за пролитый на стол пакет кефира, а пятиклассник Дима Чугунов долго объяснял мне, почему бабушкины комбинации нельзя говорить при взрослых. Диму я, кстати, научил многим бабушкиным выражениям, и больше всего нравилось ему короткое «тыц-пиздыц», употреблявшееся как ответ на любую просьбу, в которой следовало отказать. Надеюсь, теперь вы верите, что в бабушкиной речи я ничего не преувеличил, и понимаете, что количество ругательств не связано с отсутствием у меня чувства меры, а вызвано желанием как можно точнее показать свою жизнь. Если так, следующий рассказ называется...

ЦЕМЕНТ

Рядом с нашим домом была огромная стройка автодорожного института — МАДИ, и мы с приятелем очень любили туда ходить. Он ходил «лазат», так специфически выговаривал он это слово, а я искал там разные детали, из которых можно было бы что-нибудь изобрести. «Лазали» мы туда часто. В МАДИ нас никто не видел, и можно было делать все, что захочется. Там было множество интересных вещей, и все они принадлежали нам. В МАДИ меня не могла найти бабушка, и, наверное, поэтому она запрещала мне туда ходить. Но как не ходить туда, где можно делать все, что захочется, и где тебя не могут найти?

В МАДИ я мог бы чувствовать себя совершенно свободно, если бы не одно обстоятельство. Шесть раз в день я должен был принимать гомеопатию, и, когда я был на улице, бабушка выносила мне ее в коробочке. Если при этом кто-то угощал меня конфетой, бабушка брала ее и, отправляя себе в карман, со вздохом говорила:

— Ему нельзя, у него, эх, другие конфеты.— И всыпала мне в рот порцию гомеопатических шариков.

Как-то, решив всыпать мне в очередной раз «Кониум», бабушка вышла во двор и не увидела меня.

— Саша! — крикнула она. — Саша!!

Ни звука в ответ.

— Саша!!! — заорала она и двинулась в обход дома, надеясь меня найти.

Найти меня было невозможно. Я был с приятелем в МАДИ и, сидя на крыше одного из трехэтажных цехов, размышлял, куда бы приспособить найденный на чердаке коленчатый вал. Услышав зов бабушки с гомеопатией, я страшно перепугался и в ужасе заметался по крыше, не зная, куда деваться. Не выпить гомеопатию было все равно, что самовольно отлучиться с поста. Мой страх передался приятелю. Он съезжился и, с опаской глядя вниз, прошептал:

— А она сюда не влезет?

Со страху я принял его слова всерьез и решил, что, пока бабушка действительно не влезла к нам, надо скорее бежать ей навстречу. Мой путь-полет во двор занял минут пять. Все это время бабушка ходила вокруг дома, держа в руке коробочку с гомеопатией, и кричала:

— Где ты, скотина?

Будь она в деревне, очевидцы могли бы подумать, что у нее убежала коза, но в городе...

Наконец я влетел во двор. Бабушки нигде не было видно, но по отдаленным крикам я догадался, что она с другой стороны дома. Запыхавшийся приятель подбежал ко мне и, еле переводя дух, спросил:

— А «лазат» еще пойдём?

Я сплюнул и, как человек, знающий, что происходит и чем такие вещи кончаются, веско сказал:

— Отлазились.

— Отлазились...— как бы вдумываясь в смысл этого страшного слова, тихо повторил приятель, и тут из-за угла вышла бабушка.

— Где ты шлялся? Иди сюда. Пей гомеопатию.

Приятель тут же испарился. Бабушка подошла ко мне... А я потный!

Потеть мне не разрешалось. Это было еще более тяжким преступлением, чем опоздать на прием гомеопатии! Провинности хуже не было! Бабушка объясняла, что, потея, человек теряет сопротивляемость организма, а стафилококк, почуя это, размножается и вызывает гайморит. Я помнил, что сгнить от гайморита не успею, потому что, если буду потный, бабушка убьет меня раньше, чем проснется стафилококк. Но, как я ни сдерживался, на бегу все равно вспотел, и спасти меня теперь ничто не могло.

— Пошли домой! — сказала бабушка, когда я выпил гомеопатию.

В лифте она посмотрела на меня внимательно, изменилась в лице и сняла с моей головы красную шапочку. Волосы были мокрыми. Она опустила руку мне за шиворот и поняла, что я потный.

— Вспотел... Ну сейчас я тебе, тварь, сделаю «козью морду».

Мы вошли в квартиру.

— Снимай все, ну скорей. Рубаху снимай. Весь потный, сволочь, весь... О-ой! — протянула она, беря рубашку. — Вся мокрая! Вся насквозь! Где ты был? Отвечай!

— Мы с Борей в МАДИ ходили. — пролепетал я.

— В МАДИ! Ах ты мразь! Я тебе сколько говорила, чтоб ноги твоей там не было?! Этого Борьку об дорожку не расшибешь, он пусть хоть селится там, а ты, тварь гнилая, ты что там делал? Опять гайки подбирал? Чтоб тебе все эти гайки в зад напихали! Ну ничего...

«Ну ничего», как всегда, не предвещало ничего хорошего.

— Слушай меня внимательно. Если ты еще раз пойдешь в МАДИ, я пошлю туда дедушку, а он уважаемый человек — твой дедушка. Он пойдет, даст сторожу десять рублей и скажет: «Увидите здесь мальчика, высохшего такого, в красной шапочке и в сером пальто... убейте его. Вырвите ему руки, ноги, а в зад напихайте гаек». Твоего дедушку уважают, и сторож сделает это. Сделает, понятно?!

Я все понял.

На следующий день, отправляя меня гулять, бабушка приколола английскими булавками к изнанке моей рубашки два носовых платка. Один на грудь, другой на спину.

— Если вспотеешь опять, рубашка сухая останется, а платки я раз — и выну, — объяснила она. — Выну и удавлю ими, если вспотеешь. Понял?

— Понял.

— И еще. Помнишь, что я тебе про МАДИ сказала? Пойдешь туда опять с этим Борькой, пеняй на себя. Если позовет, откажись. Прояви характер, скажи твердо: «Мне бабушка запретила!» Слабохарактерные кончают жизнь в тюрьме, запомни это и ему передай. Запомнил?

— Запомнил.

— Ну иди.

Не расшибаемый об дорожку Борька ждал меня около подъезда.

— Пошли, — сказал он.

— Куда?

— В МАДИ.

— Пошли.

— Боря, вы куда! — послышался вдруг голос выглянувшей на балкон бабушки.

— В беседку! — ответил Борька.

— Боренька, не веди его в МАДИ, ладно! У меня есть справка от врача, что я психически больна. Я могу убить, и мне за это ничего не будет. Ты, если в МАДИ пойдете, имей это в виду, хорошо?

— Ага... — ответил Борька. — Слушай, у нее правда такая справка есть? — спросил он, когда бабушка ушла с балкона.

— Не знаю.

— Может, не пойдём?

— Да пошли! Как она узнает?! — завелся я, уверенный, что не вспотею и не выдам себя бабушке. — Мы ненадолго. Полазим немного — и сразу назад.

Перед огромными железными воротами, на ржавчине которых белой масляной краской были намалеваны четыре заветные буквы — «МАДИ», я замер. «Он уважаемый человек, твой дедушка... Он пойдет...» — зазвучал у меня в ушах голос бабушки.

— Знаешь, давай лучше в детский сад, — предложил я Борьке.

Детский сад примыкал к МАДИ вплотную, отделялся от него забором с дыркой и по интересу был для нас на втором месте. Вечером, когда там никого не было, мы считали его своим. Мы могли играть там во что угодно, могли сидеть в маленьких деревянных домиках и забираться на их остроконечные крыши, могли жечь костер и печь в нем принесенную из дома картошку, не боясь, что какой-нибудь прохожий разорит костер и отберет у нас спички. И спички, и картошка были припрятаны в одном из домиков с прошлого раза, и чем заняться в детском саду в тот вечер, решилось само собой.

Нашу идиллию прервало появление «больших мальчишек». Так мы называли ребят из циркового училища, которые были лет на пять нас старше и тоже, как и мы, считали детский сад своим. К сожалению, они были отчасти правы. Они могли нас прогнать, мы их нет. Им, например, ничего не стоило расширить об дорожку Борьку. А мы только могли, отойдя на приличное расстояние, крикнуть им так, чтобы они не услышали что-нибудь обидное. Борька обзывал их козлами, а я проклинал их небом, Богом и землей. А потом мы удирали и дурили: «Как мы их, а! Знай наших!»

Так вот, когда в детском саду появились «большие мальчишки», я вспомнил, что вчера очень неплохо проклял одного из них с балкона и поэтому лучше всего будет «сделать ноги». Мальчишки приближались со стороны калитки, поэтому «сделать ноги» можно было только в МАДИ. Я уже говорил, что забор был с дыркой, вот мы ею и воспользовались. Я еще подумал: «Сторож, может, и не поймает, а эти точно руки вырвут, а вместо гаек используют картошку. Главное — только не вспотеть!»

И вот мальчишки далеко. Мы на стройке МАДИ. Борька убежал вперед, а я заметил на земле сломанную гитару и поднял ее. Мне пришло в голову, что, если влезть на забор, можно здорово подводить лифтерш из чужого двора. Стараясь не делать слишком быстрых движений, я влез, потрясая гитарой, закричал лифтершам: «Ай-йя-я!» — потом скорчил рожу, швырнул гитару им под ноги и, отметив про себя, что не вспотел, прыгнул с забора обратно...

Земля расступилась подо мной обволакивающим ноги холодом и вязкой массой сошла у пояса. Я понял, что куда-то ввалился. Это оказалась яма, наполненная раствором цемента. Еще оказалось, что сижу я в ней уже не по пояс, а по грудь и выбраться не могу. Первой мыслью было поплыть, но тут я вспомнил, что не умею. Второй — позвать на помощь. Борька был уже далеко, но даже если бы он был дома, то все равно услышал бы мой жуткие вопли. Он подбежал ко мне и с интересом, перемешанным с ужасом, долго разглядывал мою голову, словно из земли торчащие плечи и судорожно плюхающие по цементу руки.

— Ты чего это, того, да, совсем? — спросил он наконец.

— Совсем, — прохрипел я, отчаянно глотая воздух. Я тонул, и дышать было все труднее.

— А что делать? Может, тебя, того, вытащить? — подал наконец Борька дельное предложение, но тут же провалился сам по колено.

— Ну вот, видишь, что из-за тебя получилось? — вздохнул он. — Теперь дома заругают...

Он выбрался. Попробовал отряхнуть брюки — бесполезно.

— Видал, как испачкался? — сказал он, продолжая отряхиваться, но заметил, что цемент подступает мне к шее, и задумался.

— Знаешь, я тебя, пожалуй, вытащу, — решил он наконец и пошел за палкой.

Он тащил меня, как в кино партизаны тащат друг друга из болот. Мертвой хваткой вцепился я в протянутую Борькой доску, и через пару минут мы уже медленно брели к дому. Когда мы перевалились через забор в детский сад (так были потрясены, что даже дыркой не воспользовались!), то наткнулись прямо на тех самых мальчишек. Они доедали нашу картошку и оживленно обсуждали, чья бы она могла быть. Завидя нас, они, конечно, покатались со смеху, но мне было все равно. Впереди меня ждала бабушка.

Вот и наш двор. Цемент, который облепил меня, весил килограммов десять, поэтому походка у меня была, как у космонавта на какой-нибудь планете, например, на Юпитере. На Борьке цемента было поменьше, он был космонавтом на Сатурне.

Лифтерши, сидевшие у подъезда, пришли от нашего вида в восторг.

— Ой! — кричали они. — Вот вывалились-то, свиньи!

— А кто это, разобрать не могу?

— Это вон савельевский идиот, а это Нечаев из двадцать первой.

Почему я идиот, я знал уже тогда. У меня в мозгу сидел золотистый стафилококк. Он ел мой мозг и гадил туда. Знали это и лифтерши. От бабушки. Вот, например, ищет она меня, найти, конечно, не может. Спрашивает у лифтерши:

— Вы моего идиота не видели?

— Ну, почему идиота?.. На вид он довольно смышленный.

— Это только на вид! Ему стафилококк давно уже весь мозг выел.

— А что это такое, извините?

— Микроб такой страшный.

— Бедный мальчик! А это лечится?

— У нормальных людей да. А ему нельзя ни антибиотиков, ни сульфаниламидов.

— Но за последнее время он вроде вырос...

— Вырос-то вырос, но, когда я его в ванной раздеваю, мне делается дурно — одни кости.

— И еще ко всему и идиот?

— Полный! — с уверенностью восклицает бабушка, и чувство гордости за внука переполняет ее: второго такого нет ни у кого.

Так вот, когда савельевский идиот добрался наконец до дома и дрожащей рукой позвонил в дверь, оказалось, что бабушка куда-то ушла. Ключей у меня, конечно, не было — идиотам их доверять нельзя, поэтому пришлось пойти к Борьке. Его мама помогла мне раздеться. Минут пять мы стаскивали пальто и стельки же брюки. Ботинки, когда я снимал их, протяжно чавкнули. Варезки на резинках грузно болтались из рукавов — в них тоже был цемент. В цементе были даже подколотые бабушкой носовые платки. Я влез в ванну, отмылся. Дали мне Борину рубашку, Борины колготки. Боря был раза в полтора меня крупнее, а колготки были ему велики. В общем, завязал я их под мышками и пошел с Борей играть. Сидим играем. Лопаем бананы. Звонок в дверь. Его мама пошла открывать.

— Лика, эта сволочь у вас?

Я похолодел и съежился внутри колготок.

— Лика, где он? Мне сказали, он пошел к вам.

— Нина Антоновна, не волнуйтесь. Все отмоем. Я дала ему Борины колготки, они сидят играют.

— Дайте его сюда.

— Нина, ты его ко мне не подпускай, я его убью! — послышался голос дедушки.

— Иди отсюда, гицель, иди!

Бабушка нашла меня, наматала колготки на руку и потащила домой.

— Ну, детка, пойдем со мной. Сейчас мы с тобой пойдем в МАДИ. Ты же любишь ходить в МАДИ? Вот мы туда пойдем. К сторожу. Хочешь к сторожу? Сейчас... Знаешь, какой там сторож? Дедушка уже был у него. А сейчас я тебя к нему отведу. Он тебя утопит, гада, в этом цементе. Ой, скотина, все пальто изгваздал, душу бы тебе так изгваздали! Все ботинки! А брюки! Я тебе говорила, чтоб ноги твоей там не было? Говорила? Опять с этим коблом пошел? Все изгваздал... Чтоб у тебя этот цемент лился из ушей и из носа! Чтоб тебе им глаза навеки залепило! Знай, жизнь свою кончишь в тюрьме. У тебя же уголовные наклонности. Костер разжечь, на стройку залезть... И к этому ты тварь слабохарактерная. Учиться не хочешь, хочешь только вкусно жрать, гулять и смотреть телевизор. Так я тебе погуляю! Месяц из дому не выйдешь! Все хочешь доказать: «Я такой, как все, я такой, как все». А ты не такой! Если выполз на улицу, должен пройти спокойно, сесть, почитать... Ну, ты у меня вступишь в пионеры! Я пойду в школу к директору и скажу, как ты надо мной издеваешься.

— Нина, ты его только ко мне не подпускай, я его убью! — снова подал голос дедушка.

— И убей! Такой твари незачем жить, только другим жизнь отравлять будет. Жаль, он совсем в этом цементе не утонул, отмучились бы все.

— Только ко мне не подпускай!

«Да,— подумал я,— в ближайшее время в МАДИ лучше не ходить».

БЕЛЫЙ ПОТОЛОК

В школу я ходил очень редко. В месяц раз семь, иногда десять. Самое лучшее — я отходил подряд три недели и запомнил это время как череду одинаковых, незапоминающихся дней. Не успевал я прийти домой, пообедать и сделать уроки, как по телевизору уже заканчивалась программа «Время», и надо было ложиться спать.

Ложиться спать я не любил. Обычно, если не предстояло рано вставать, бабушка разрешала мне смотреть с ней после программы «Время» фильм. Она почесывала натертые резинками салатových трико места, я хрустел хлебными палочками, мы лежали на дедушкином диване и глядели на экран. Фильмы были, как правило, скучные, но дожидаться в постели сна было еще скучнее, и я смотрел все подряд.

Как-то раз мы смотрели фильм про любовь.

— Что ты смотришь? Что ты можешь тут понять?! — спросила бабушка.

Я решил что-нибудь «загнуть» и ответил:

— Все понимаю. Оборвалася ниточка любви.

Говоря эту фразу, я знал, что «выдаю», но не ожидал, что бабушка расплечется от удивления и целую неделю будет рассказывать потом о моих словах знакомым.

— Думала, дурачок маленький, зря пялится, а он в двух словах суть высказал. Оборвалася ниточка любви. Надо же так...

С тех пор бабушка разрешала мне смотреть допоздна даже двухсерийные фильмы, но высказывать в двух словах их суть я больше не решался. Я все время ходил у бабушки в идиотах, знал, как трудно отличиться и произвести на нее хорошее впечатление, и раз произведя его, старался не высовываться, чтобы оно подольше сохранилось.

Когда надо было идти в школу, смотреть вечерние фильмы бабушка не разрешала, и сразу после программы «Время» я отправлялся спать. Я лежал один в темной комнате, прислушивался к отдаленному бормотанию телевизора и ворочался от скуки, завидуя бабушке с дедушкой, которые ложились спать, когда им захочется. К счастью, школа, как я уже сказал, была редким событием и рано ложиться приходилось нечасто.

Причин, по которым я пропускал занятия, было много, и все уважительные. Во-первых, я постоянно болел. Во-вторых, мама, наивно думавшая, что я буду жить с ней, записала меня в школу около своего дома, а дедушка, возивший меня учиться туда и обратно на машине, уезжал иногда под бабушкины проклятия по своим делам. Тогда нам приходилось добираться семь остановок на метро, и на такой подвиг бабушка решалась только в случае контрольной. Наконец, в-третьих, мы могли поехать куда-нибудь с утра на анализ, и эта причина была самой весомой.

Анализ, исследований и консультаций проводилось множество. У меня брали кровь из вены и из пальца, делали пробы на аллергию и снимали кардиограммы, смотрели ультразвуком почки и велели дышать в хитроумный аппарат, выписывающий подобные кардиограмме кривые. Все результаты бабушка показывала профессору.

Профессор из Института иммунологии просмотрел пачку анализов и сказал, что у меня, должно быть, муковисцидоз. С болезнью этой долго не живут, и на всякий случай он посоветовал сделать еще специальное исследование в Институте педиатрии. Муковисцидоза у меня не оказалось, но в Институте педиатрии мне заодно измерили внутричерепное давление, нашли его повышенным, и это подтвердило диагноз «идиот», давно поставленный бабушкой.

В том, что я идиот, бабушка не раз убеждалась, когда я делал уроки. Я уже объяснил, почему не ходил в школу, и теперь расскажу, как выглядела моя учеба. Каждый день бабушка звонила отличнице Светочке Савцовой и узнавала у нее не только домашнее задание, но и все упражнения, которые ребята делали в классе. У меня даже было две тетради по каждому предмету — классная и домашняя. В обеих я писал дома, но в классной до последней буквы было то же, что у сидевшей на уроках Светочки. Если в классе писали диктант, Светочка диктовала его бабушке, бабушка диктовала потом мне. Если было сочинение, я его сочинял. Если на уроке рисования рисовали молоток, я под присмотром бабушки рисовал его тоже.

Когда я болел и лежал с температурой, то заданий какое-то время не делал, но потом, чуть поправившись, должен был все наверстать. Поэтому мне

часто приходилось выполнять задания за несколько дней. Но, пока я успевал сделать классную и домашнюю математику за понедельник, вторник и среду, появлялась математика за четверг и пятницу. Я писал диктант, проведенный в классе во вторник, и догонял домашний русский вплоть до четверга, но была уже пятница, и к русскому классному за среду добавлялось изложение. Если болел я долго, то наверстывать задания приходилось по две недели, а потом еще неделю догонять те, что были заданы, пока я наверстывал предыдущие.

Занимался я за маленькой складной партой, которую дедушка специально получил на складе магазина «Дом игрушки». Бабушка записывала уроки на листах картона и ставила их передо мной. Я с ужасом глядел на картонки с уроками за 15-е, 16-е и 17-е, а бабушка узнавала в это время, что задали с 18-го по 22-е.

— Дядя Ваня — коммунист. Красно яблоко в саду. Наш паровоз мы сделали сами... — выкрикивала Светочка предложения, которые писала в классе.

— Дядя Ваня... так, красно яблоко... Пиши, сволочь, не отвлекайся! (Это мне.) Так, что паровоз? — записывала бабушка, лежа на кровати и прижимая плечом к уху телефонную трубку. — Спасибо, Светочка. Теперь за двадцать первое продиктуй, пожалуйста. Пионеры шли стройными рядами... Так... Дядя Яша зарядил винтовку...

Продиктовав бабушке классные и домашние задания за несколько дней, Светочка, учившаяся в музыкальной школе, играла потом на скрипке свои собственные этюды. Глаза бабушки увлажнились, она кидала на меня презрительные взгляды и, протягивая трубку, говорила:

— На, послушай, вот ребенок-то золотой. Счастье такого иметь.

Послушать Светочку она предлагала неоднократно, но послушал я только один раз. Потом вернул трубку бабушке и сказал:

— Ну и что? Скрипит, как дверь, подумаешь.

— Дверь?! Чтоб ты, сволочь, скрипел, как дверь! Она играет на скрипке! Девочка учится в музыкальной школе. Она умница, а ты кретин и дерьма ее не стоишь!

С последним замечанием, которое было таким обидным, что в школе мне не раз хотелось столкнуть Светочку с лестницы, бабушка сунула мне под нос листок с новыми уроками, пообещала, что если я сделаю ошибку, то она меня так ошибет, что люди будут ошибаться, принимая меня за человека, а после этой угрозы легла обратно на кровать и два часа разговаривала со Светочкиной мамой.

— Ой, что вы, — говорила бабушка, — ваша Света — здоровая девочка по сравнению с этой падалью! У него золотистый патогенный стафилококк, пристеночный гайморит, синусит, фронтит... Тонзиллит хронический. Когда я его в ванной раздеваю, мне от его мощей делается дурно. Нет, что вы, в какой бассейн! Да где уж там перерастет! Бывает, перерастают, но не такие, как он. Ну, Света ваша — здоровая девочка, она-то перерастет, конечно! Диатез? А поджелудочную железу вы ей не проверяли? У него она увеличена. А к этому и печень больна, и почечная недостаточность, и ферментативная... Панкреатит у него с рождения. Есть мудрая поговорка, Вера Петровна: «За грехи родителей расплачиваются дети». Он расплачивается за свою мать-потаскуху. Первый муж, Сашин отец, ее бросил и правильно сделал. Не знал только, что ей гормон в голову так стукнет, что забудет все на свете. Нашла себе в Сочи усладу — алкаша с манией величия, пестует его непризнанный гений. Ребенка бросила мне на шею. Пять лет с ним маюсь, а она только раз в месяц припрется, ляжет на диван и еще жрать просит. А у меня все продукты с рынка для калеки ее, самой иногда есть нечего, одним творогом перебиваюсь. Ой... Это она заиграла? Солнце, зайныка, как играет! Она будет великим скрипачом у вас! Тьфу, тьфу, тьфу, стучу по дереву. Извините, у меня борщ горит, я побежала. Всего хорошего. Желаю вам здоровья побольше, только здоровья, остальное будет. Светочке привет, умница, из нее будет толк. До свидания...

— Надо же так забить мозг! — сказала бабушка, положив трубку. — Заговорит так, что не отвяжешься. Ну, что ты написал? «Наш паровоз мы сделали сами»... Идиот! Сволочь! Чтоб тебя переехал паровоз, который они сделали! Давай бритву!

Я дал бабушке бритву, которая была важнейшим предметом в моих занятиях и всегда лежала под рукой. Чтобы тетрадь была без помарок, бабушка не разрешала ничего зачеркивать, а вместо этого выскребала ошибочные буквы бритвенным лезвием, после чего я аккуратно исправлял их.

— Какой подлец, а... — приговаривала бабушка, принимаясь выскребать букву «з», но почему-то в слове «паровоз». — Из-под палки учишься.

— Ты не там выскребашь,— сказал я.

— Я тебя сейчас выскребу! — крикнула бабушка и помахала бритвой у меня под носом.— Забил мозг, конечно, не там выскребаю!

Она выскребла там, где надо, я исправил ошибку, и бабушка стала проверять дальше.

— «На дравнях выбирает путь!» Вот ведь кретин! Второй год на бритвах учишься. Чтоб тебе все эти бритвы в горло всадили! На, пиши, исправила. Еще раз ошибешься, я из тебя дравни сделаю.— И бабушка снова сунула мне под нос тетрадь.

Я стал писать дальше. Бабушка легла на кровать и взяла «Науку и жизнь». Изредка она поглядывала на меня, стараясь понять, не пора ли ей снова брать бритву и делать из меня «дравни».

Я писал, с тоской глядя на столбец предложений, и вспоминал, как пару дней назад написал, что «хороша дорога прямая». Бабушка выскребла ошибочную «и», я вписал в пустое место букву «е», но оказалось, что «прямая дорога» тоже не годится. Желая, чтоб дорога мне была одна — в могилу, бабушка принялась скрести на том же месте, проскребла лист насквозь и заставила меня переписывать всю тетрадь заново. Хорошо еще, я недавно ее начал.

Тут я поймал себя на том, что в предложении про солнце вывожу один и тот же слог второй раз. Получилось, что солнце восходит, освещая все «румяняной» зарей. Увидев содеянное, я съезился за партой, затравленно глянул на бабушку и встретился с ее пристальным взглядом. Поняв, что она заподозрила неладное, я решил спастись бегством, встал и со словами: «Ну нет, я так больше не могу заниматься» — пошел из комнаты.

— Что, ошибку сделал? — спросила бабушка, грозно откладывая в сторону «Науку и жизнь».

— Да, посмотри там... — ответил я, не оборачиваясь. Чтобы не быть зажатым в угол, мне нужно было скорее добраться до дедушкиной комнаты, где в центре стоял большой стол. Бегая вокруг него, я мог держать бабушку на расстоянии.

— «Румяняной»! Скотина! — послышалось у меня за спиной, но я уже достиг стола и приготовился.

Когда бабушка появилась на пороге дедушкиной комнаты, я был, как спринтер на старте.

— Сволочь! — раздалось вместо стартового выстрела.

Бабушка рванулась ко мне. Я от нее. Карусель вокруг стола началась. Мимо меня неслись буфет, сервант, диван, телевизор, дверь, и снова буфет, и снова сервант, а сзади слышались злое дыхание бабушки и угрозы в мой адрес.

— Иди сюда, сволочь! — грозила она.— Иди, хуже будет. Иди, или я тебя бритвой на куски порежу... Иди сюда, не будь трусом. Стой, я тебе ничего не сделаю. Стой. Иди сюда, я тебе дам шоколадку. Знаешь, какую? Вот такую...

Какую именно, я не видел, потому что бежал не оборачиваясь.

— Иди сюда, я тебе куплю вагончиков к железной дороге, а не пойдешь, куплю и разломаю на твоей голове. Иди сюда.

Внезапно бабушка остановилась. Я остановился напротив. Нас разделял стол.

— Иди сюда по-хорошему.

Я замотал головой.

— Иди сюда, я посмотрю, не вспотел ли ты.

— Не пойду.

Бабушка сделала ко мне шаг вдоль стола. Я сделал шаг от нее.

Вдруг лицо бабушки стало хитрым. Она навалилась на стол, и я, не успев ничего предпринять, оказался прижатым к балконной двери. Спасения не было. Я заверещал, как пойманный в капкан песец. Бабушка схватила меня и торжествующе поволокла в комнату.

— Румяняной зарей... — приговаривала она. — Чтоб ты уже никакой зарей не увидел!

Бабушка села за парту, взяла бритву и протянула:

— Га-ад. Так издеваться! Так кровь из человека пить! Матери твоей сколько талдычила: «Учись, будь независимой»,— сколько тебе талдычу, все впустую... Такой же будешь, как она. Таким же дерьмом зависимым. Ты будешь учиться, ненавистный подлец, ты будешь учиться, будешь учиться?! — закричала вдруг бабушка во весь голос и, отбросив в сторону бритву, схватила лежав-

шие рядом с партой ножницы. — Ты будешь заниматься?! — кричала бабушка, втыкая на каждое слово ножницы в парту. — Заниматься будешь?! Учиться будешь?!

Ножницы оставляли на парте глубокие рваные выемки.

— Будешь заниматься?! Будешь учиться?! А-а!.. А-ах... а-агх-аха-ха!.. А-а! — зарыдала вдруг бабушка и, выронив ножницы, схватилась руками за лицо. — А-ах... а-аа! — кричала она и, продолжая кричать, начала карябать лицо руками.

Показалась кровь. Я словно прирос к полу и не знал, что делать. Меня охватил ужас. Я думал, что бабушка сошла с ума.

— Ах-ах-а-аа! — карябала лицо бабушка. — А-ах! — вскрикнула она как-то особенно пронзительно, ударилась головой об парту и начала сползать со стула.

— Бабонька, что с тобой? — закричал я.

— Ах... — тихо и невнятно простонала бабушка.

— Баба, что ты?.. Что с тобой?! Чем тебе помочь?!

— Уйди... Мальчик... — с трудом проговорила бабушка, делая ударение на последнем слове.

— Баба, что делать? Тебе нужно какое-нибудь лекарство... Баба!

— Уйди, мальчик, я не знаю тебя... Я не бабушка, у меня нет внука.

— Баба, да это же я! Я, Саша!

— Мальчик, я... не знаю тебя, — приподнимаясь на локте и всматриваясь в мое лицо, сказала бабушка. Потом, убедившись, видимо, что я действительно незнаком ей, она снова откинулась назад, запрокинула голову и захрипела.

— Баба, что делать?! Вызвать врача?

— Не надо врача... мальчик... Вызывай его себе...

Я склонился над бабушкой. Она посмотрела вверх, словно сквозь меня, и сказала:

— Белый потолок... Белый, белый...

— Баба! Бабонька! Ты что, совсем меня не видишь? Очнись! Что с тобой?!

— Довел до ручки, вот со мной что! — ответила бабушка и вдруг неожиданно легко встала. — Учишься из-под палки, изводишь до смерти. Ничего, тебе мои слезы боком вылезут. «Румянянной», — передразнила она. — Болван.

Исправив бритвой ошибку, бабушка стянула резинкой растрепавшиеся волосы и пошла смывать с лица кровь. Я, ничего не соображая, сел за парту.

— Господи! — послышался вдруг из ванной плач. — Ведь есть же на свете дети! В музыкальных школах учатся, спортом занимаются, не гниют, как эта падаль. Зачем ты, Господи, на шею мою крестягу такую тяжкую повесил?! За какие грехи? За Алешеньку? Был золото мальчик, была бы опора на старости! Так не моя в том вина... Нет, моя! Сука я! Не надо было предателя слушать! Не надо было уезжать! И курву эту рожать нельзя было! Прости, Господи! Прости грешную! Прости, но дай мне силы крестягу эту тащить! Дай мне силы или пошли мне смерть! Матерь Божья, заступница, дай мне силы влачить этот тяжкий крест или пошли мне смерть! Ну что мне с этой сволочью делать?! Как выдержат?! Как руки не наложит?!

Я молчал. Мне еще надо было делать математику за три дня.

ЛОСОСЯ́

Этот рассказ я начну с описания нашей квартиры. Комнат у нас было две. Сразу у прихожей за двустворчатыми стеклянными дверями располагалась комната дедушки. Дедушка спал там на раскладном диване, который никогда не раскладывал, потому что внутри была спрятана какая-то старая, переложённая от моли пучками зверобоя одежда и материя. Моль зверобоя боялась и в диван не лезла, но вместо нее там жили мелкие коричневые жучки, боявшиеся только крепкого дедушкиного пальца и сопровождавшие свою смерть огушительной вонью. Кроме дивана с жучками, в комнате стояли стол, сервант, огромный буфет, который бабушка называла саркофагом, телевизор и два табурета. Верх буфета был сплошь заставлен дедушкиными сувенирами. Дедушка был артистом, много ездил по разным городам с концертами и привозил откуда какого-нибудь деревянного медведя с бочонком, бронзовую Родину-мать с мечом, обелиск «Никто не забыт, ничто не забыто» или костяной значок «450 лет Tobольску». За каждый сувенир дедушка осыпался проклятиями.

— Надо же столько барахла в дом натащить! — ругалась бабушка по поводу разрисованной тарелки «Гульбища з турам» и вырезанного из небольшого пня Ильи Муромца.— Хоронить будут, в гроб все не поместится!

— Ну что делать, Нин, дарят...— отвечал дедушка, пристраивая Илью Муромца между жестяным танком из Таманской дивизии и бронзовым бюстом задумавшегося Максима Горького.

— Дарят, а ты не бери!

— Неудобно.

— Значит, возьми и оставь в гостинице. Проводникам в поезде оставь.

— Ну как «оставь», подарили ведь...— робко настаивал дедушка, с любовью прислоняя «Гульбища з турам» к музыкальной сигаретнице, изображавшей трехтомник Ленина. «Гульбища» прислонились плохо, покатались и, сбросив на пол мальчика-молдаванчика в высокой шапке, разлетелись вдребезги.

— Вот хорошо, одним куском дерьма меньше! — обрадовалась бабушка.— Я бы все переколотила, да еще об твою голову!

— И не склеишь уже...— бормотал дедушка, собирая осколки.

Если верх буфета был заставлен дедушкиными сувенирами, чем были забиты его ящики, не знал толком никто. Я пару раз открывал их, видел какие-то пластинки, мотки шерсти, пыльные бутылки вина, посуду. Вещи эти никогда не вынимались и полностью оправдывали присвоенную буфету кличку — саркофаг. Проигрывателя у нас не было, вязанием бабушка не занималась, а чтобы пить вино и пользоваться посудой, нужны были гости, которые к нам никогда не ходили.

Открывать буфет и трогать лежавшие в нем предметы, среди которых попадались занятные безделушки вроде деревянного автомобиля «Победа» с часами на месте запасного колеса, бабушка запрещала. Она говорила, что все это чужое. Какие-то люди, по ее словам, куда-то уехали и оставили эти вещи ей на хранение. Чужой оказалась даже коробочка леденцов — бабушка сказала, что ее оставил на хранение один генерал. Коробочку я все же тиснул, но, внимательно рассмотрев ее, прочел: «Ф-ка им. Бабаева». Решив, что Бабаев — это фамилия генерала, а Фкаим — его странное имя, я тут же положил леденцы на место. С человеком по имени Фкаим лучше было не связываться.

Вторую комнату мы называли спальней. Там стояли два огромных шкафа, набитые, как и буфет, неизвестно чем, мутное зеркальное трюмо с тумбочками по бокам и огромная двуспальная кровать, на которой спали мы с бабушкой. С бабушкиной стороны стояла еще одна тумбочка, где хранились мои анализы, а с моей, чтобы я не упал ночью, были подставлены спинками три стула. На сиденьях их лежали обычно мои вещи — шерстяные безрукавки, фланелевые рубашки, колготки. Колготки я ненавижу. Бабушка не разрешала снимать их даже на ночь, и я все время чувствовал, как они меня стягивают. Если по какой-то случайности я оказывался в постели без них, ноги словно погружались в приятную прохладу, я болтал ими под одеялом и представлял, что плаваю.

Как выглядела наша кухня, можно было понять, когда я рассказывал про поставленный на видное место чайник. Могу только добавить, что из «видных мест» состояла в общем-то вся квартира. Повсюду были нагромождены какие-то предметы, назначения которых никто не знал, коробки, которые неведомо кто принес, и пакеты, в которых неизвестно что лежало. Кухонный стол сплошь был уставлен лекарствами и какими-то баночками. Если мы с бабушкой обедали вместе, баночкам приходилось потесниться, и некоторые из них, не выдержав нашего соседства, валились с другого конца стола на пол. На шкафах лежали выложенные в ряд созревать яблоки, бананы или хурма — в зависимости от сезона. Иногда хурма созревала слишком, и над ней начинали виться крошечные мошки. Они же вились всегда над стоявшими на мойке коробочками с сырными корками и прочими мелкими отходами, приготовленными бабушкой для подкармливания птиц. Пол в коридоре бабушка застилала газетами, меняя их по мере ветшания. Она боялась инфекции, обдавала кипятком ложки и тарелки, но говорила, что на уборку у нее нет сил.

Самыми интересными деталями нашего интерьера были два холодильника. В одном хранились еда и консервы, которые брал на рыбалку старый гичель, второй битком был набит шоколадными конфетами и консервами для врачей. Хорошие конфеты и икру бабушка дарила гомеопатам и профессорам; конфеты похуже и консервы вроде сосисок — лечащим врачам поликлиник; шоколадки и шпроты — дежурным врачам и лаборанткам, бравшим у меня анализы крови.

День, который я опишу в этом рассказе, начался с того, что бабушка, выбирая из одного холодильника лучшие конфеты для гомеопата, ругала дедушку, выбравшего из другого холодильника худшие консервы для предстоявшей рыбалки. Дедушка всегда брал на рыбалку консервы похуже, потому что по-лучше могли еще полежать, а похуже лежали уже давно и вот-вот могли испортиться.

— С дочерью я маялась — ты таскался, внук поддыхает — ты таскаешься. Предателем был, предателем остался, — говорила бабушка, перебирая коробки конфет, многие из которых покоробились от долгого лежания и годились теперь только лечащим врачам. — И машина у тебя желтая. Желтый цвет — цвет предательства, какую ж ты еще мог выбрать, иуда тульский? Неделю назад сказала, что сегодня ехать к гомеопату, но как же! Тебе твои интересы превыше всего! Ничего, возмездие за все есть. Бог даст, это будет последняя твоя рыбалка. Может, отравишься консервами своими, они, поди, еще с первой мировой войны заготовлены.

— Нин, ну я обещал Леше, — не то чтобы виновато, но как бы сомневаясь в своей правоте, сказал дедушка и, помолчав секунду, уточнил: — Еще месяц назад.

В дверь позвонили.

— Открой, Нина, это Леша!

Протерев рукавом густо заштопанного на локтях халата выбранную для гомеопата коробку конфет, бабушка пошла открывать.

— Сейчас так пошлю этого Лешу, что дорогу забудет... — приговаривала она, взясь с замком. Он барахлил и часто заскакивал.

— Здравствуйте, Нина Антоновна. Можно? — спросил Леша — пенсионер, с которым дедушка подружился, когда тот еще работал портным в ателье на первом этаже нашего дома.

— Нельзя! Видеть вас, садистов, в доме своем не хочу! Рыбаки... Палачи вы! Страсть к убийству покоя не дает, не знаете, куда приткнуться. Человека убить боитесь, так хоть рыбину изничтожить. Такие же трусы, как вы, придумали эту рыбалку.

— А сама-то рыбку кушаешь! — поддел бабушку дед, подмигнув вошедшему Леше. В его присутствии он всегда становился смелее.

— Подавись ты своей рыбой! Я даю ее ребенку, а сама ем только потому, что у меня больная печень, мне нельзя мяса. Ты о моем здоровье никогда не думал. Если бы хоть часть времени, что ты уделяешь своей машине и своей рыбалке, ты уделял мне, я была бы Ширли Маклейн!

Леша, привычный к такого рода сценам, молча присел на дедушкин диван и оперся подбородком на сложенный спиннинг.

— Десять лет назад просила зубы мне сделать. Сделал? Один раз на рентген отвез. На, посмотри, что теперь! — Бабушка показала дедушке зубы, торчавшие в разные стороны редкими полусгнившими пеньками. — Как в машине что зашатается, поди сразу колупать ее едешь! Чтоб ты разбился на своей машине!

— Пошли, Леш, — сказал дедушка, подхватывая с пола удочки и рюкзак.

Бабушка стояла рядом, и, надевая рюкзак на плечо, он задел ее.

— Толкай, толкай! — заголосила бабушка и пошла следом за дедушкой до самого лифта. — Судьба тебя толкнет так, что не опомнишься! Кровью за мои слезы ответишь! Всю жизнь я одна! Все радости тебе, а я давись заботами! Будь ты проклят, предатель ненавистный!

Захлопнув за дедушкой дверь, бабушка вытерла выступившие слезы и сказала:

— Ничего, Сашенька, на метро доедем. Пусть он подавится помощью своей, все равно никогда не дождешься.

— А зачем нам гомеопат? — спросил я.

— Чтоб не сдохнуть! Не задавай идиотских вопросов.

В дверь опять позвонили.

— Забыл что-нибудь, поц старый... — пробормотала бабушка. — Сейчас так пошлю... Кто там?

— Я, Нина Антоновна, — послышался из-за двери голос медсестры Тони. Похожая в своем белом халате на бабочку-капустницу, она приходила каждую неделю и брала у меня анализ крови из пальца. Потом эти анализы бабушка показывала специалистам, чтобы установить какую-то «динамику». Динамики не было, и Тоня приходила уже не первый месяц.

— Тонечка, солнышко, здравствуйте! — заулыбалась бабушка, быстро спрятав конфеты для гомеопата под газету и только после этого открыв дверь.— Ждем вас, как света в окошке. Заходите.

Раскрыв на столе специальную сумку, Тоня достала пробирки и протерла мне палец наспиртованной ватой.

— Что это вы, Нина Антоновна, вроде плакали? — спросила она, продувая стеклянную трубочку.

— Ах, Тонечка, как не плакать от такой жизни! — пожаловалась бабушка.— Ненавижу я эту Москву! Сорок лет ничего здесь, кроме горя и слез, не вижу. Жила в Киеве, была в любой компании заводилой, запевалой. Как я Шевченко читала!

— Душе моя убогая, чого марно плачешь?

Чого тобі шкода? Хиба ти не бачишь,

Хиба ти не чуєшь людського плачу?

То глянь, подивися. А я полечу.

Хотела актрисой быть, отец запретил, стала работать в прокуратуре. Так тут этот появился. Артист из МХАТа, с гастрольями в Киев приехал. Сказал — женится, в Москву увезет. Я и размечталась, дура двадцатилетняя! Думала, людей увижу, МХАТ, буду общаться... Как же!

Тоня уколола мне палец и стала набирать кровь в капиллярную трубочку. Бабушка, вытирая слезы, продолжала:

— Впер меня в девятиметровую комнату, и сразу ребенок... Алешенька, чудо мальчик был! Разговаривал в год уже! Больше жизни его любила. Так война началась, этот предатель заставил меня в эвакуацию отправиться. На коленях молила, чтоб в Москве оставил! Отправил в Алма-Ату, там Алешенька от дифтерита и умер. Потом Оля родилась, болела все время. То коклюш, то свинка, то желтуха инфекционная. Я с ног сбивалась — выхаживала, а он только по гастролям разъезжал и ходил к соседям Розальским шашки двигать. И так все сорок лет. Теперь вместо гастролей по концертам ездит, на рыбалку и общественной работой занимается — сенатор выискался. А я, как всегда, одна с больным ребенком. А ему что, Нинка выдержит! Ломовая лошадь! А не выдержит, так он себе молоденькую найдет. За квартиру да за машину любая пойдет, не посмотрит, что говно семидесятилетнее в кальсонах штопаных.

Тоня раскапала кровь по пробиркам и, прижав к моему пальцу вату с йодом, стала собираться.

— Спасибо, Тонечка, простите, что расплакалась перед вами,— сказала бабушка.— Но когда всю жизнь одна, хочется с кем-нибудь поделиться. Пойдите секундочку, я вам хочу приятное сделать, вы столько нас выручаете.— С этими словами бабушка открыла заветный холодильник и достала из него банку консервов.— Возьмите, солнышко, шпротов баночку. Я понимаю, это мелочь, но мне так хочется вас отблагодарить, а ничего другого у меня просто нету.

Бабушкина забывчивость меня удивила. Я прекрасно знал содержимое холодильника и решил напомнить, чем еще можно отблагодарить Тонечку.

— Как нету?! — крикнул я, настезь открывая холодильную дверцу.— А лосося?! Вон икры еще сколько!

— Идиот, это позапрошлогдние банки! — оборвала меня бабушка.— Что я, по-твоему, могу дать Тонечке несвежее?!

— До свидания, Нина Антоновна! Саша, до свидания,— заторопилась Тоня и, отяготив карман халата жестяным диском шпротов, покинула квартиру.

— Нет, я думала, большего болвана, чем твой дедушка, в природе не существует, но ты и его перецеголял,— сказала бабушка, закрыв за Тоней дверь.— Кто тебя потянул за одно место? Лосося... Сейчас такого лосося дам, что забудешь, кто ты есть! Это лосось для Галины Сергевны, а икра профессору. Одевайся, кретин, пора к гомеопату ехать. Пока на метро доберемся, он нас и ждать перестанет. Чтoб эта машина развалилась под твоим дедушкой, как жизнь развалилась моя. Одевайся...

Дедушка с Лешей сидели на берегу водохранилища и ловили рыбу. Леша следил за колокольчиком заброшенного далеко в воду спиннинга и в пол-уха слушал сидевшего около него с удочкой дедушку.

— Тяжело, Леш, сил больше нет,— жаловался дедушка, поглядывая на тонкий гусиный поплавок.— Раза три уже думал в гараже запереться. Пустить мотор, и ну его все... Только и удерживало, что оставить ее не на кого. Она ме-

ня клянёт, что я по концертам езжу, на рыбалку, а мне деваться некуда. В комиссию бытовую вперся, в профсоюз — только бы из дома уходить. Завтра вот пиветки распределять буду — уже хорошо, пройдет день. На концерты эти и не ходит никто, а я езжу. То в Ростов, то в Могилев, то в Новый Оскол. Думаешь, большая радость? Но хоть гостиница, покой, прием иногда хороший устроят. А дома несколько дней проведу, чувствую — сердце останавливается. Заедает насмерть. То Дездемона, то Анна Каренина. Зачем ты меня увез из Киева, зачем ты меня отправил в эвакуацию, зачем ты меня положил в психушку?..

— В психушку?

— Она ж больная психически, Леш. Тридцать лет назад у нее мания преследования была. Написала письмо какое-то на Лубянку и начала: «Меня посадят, меня заберут...» Дочь в шкаф прятала. Шубу новую я ей подарил, в клочки изорвала. Духов флакон «Шанели» разбила. Говорит — соседка будет завидовать, напишет донос. Какой донос, кому она нужна была?! Мне посоветовали ее в больницу положить, я положил. Так ее до волдырей искололи, еще хуже стало. С тех пор никакого житья. Мне советуют ее сейчас в клинику положить хотя бы на месяц. Все-таки время другое, можно и с врачами договориться, и навещать. Но не могу я! Она меня за тот раз тридцать лет клянёт, как я ее опять положу? Да и Сашей кто заниматься будет? Болеет парень все время, благодаря ей только и тянет.

— А мать что же?

— Мать! Прокляла ее бабка, и правильно! Он жил с ней до четырех лет. Бабка к ним на квартиру почти каждый день ходила, помогала. Пеленки стирала, готовила. Весь дом на ней был. Потом Оля с мужем развелась, Саше тогда три года было, я стал предлагать: «Оль, иди к нам с ребенком. Бабка в Саше души не чаёт, будем жить все вместе. Квартиру твою сдадим, всем легче будет». «Нет, — говорит, — не хочу быть от вас зависимой, не могу жить с матерью». Я нажимаю, говорю: «Больной парень у тебя — тяжело будет. Переезжай к нам». Согласилась было, и тут карлик этот на нашу голову свалился...

— Карлик?

— Ну не карлик, но вот такого роста, Леш! — Дедушка поднял руку на метр от земли. — Художник, черт бы его побрал! Нищий, пьющий и, знаешь, откуда? Из Сочи?

— Любовь зла... — засмеялся Леша.

— Меня чуть второй инфаркт не хватил! Говорит, он талантливый, но это ж дурой надо быть, чтобы не понимать, что ему прописка московская нужна! Что, в Москве талантливых алкоголиков мало?! Но, веришь, Леш, все бы простил — пусть карлик, пусть пьет, пусть прописку хочет. Расхлебывай сама, если дура! Но что ребенка из-за него предала — ни ему никогда не прощу, ни ей. Повезла Сашу в Сочи показывать, привезла с воспалением легких, бросила на нас и в тот же день опять туда уехала. Карлик там не то тоже заболел, не то запил.

— Да-а... — осуждающе протянул Леша, подматывая катушку спиннинга.

— Мы с бабкой и решили после этого Сашу не отдавать. Нельзя такой матери ребенка иметь! Она вернулась, мы ей так и сказали. А она, сволочь, что сделала — дождалась, когда он поправился, подкараулила его во дворе и увела. Он, дурачок, пошел, конечно, мама все-таки, не понимает, что даром этой маме не нужен. Бабка по двору бегала, криком кричала. Такой ужас был... Лифтерши сказали, она его в цирк повела. Я на машину — и туда с бабкой. И как раз они в антракте выходят. Он задыхается, лицо распухло, слезы из глаз. У него же аллергия, а в цирке животные. Бабка увидела, чуть в обморок не упала. Я его в машину посадил и увез. Пятый год с тех пор с нами живет. А эта с карликом. Он два года назад к ней переехал.

Леша присвистнул.

— А ребенка так и забыла?

— Плакала сначала, просила отдать. Карлик этот тоже вмешивался. Письмо мне написал! Вы не имеете права... Вы заставляете ребенка предавать свою мать... Он мне права указывать будет, алкаш чертов! Потом как-то утряслось все. Сейчас она приходит иногда, каждый раз скандалит с бабкой, доводит ее до истерики. Говорит, мы у нее ребенка украли. Дура! Он бы загнулся у нее. Им заниматься надо с утра до ночи, врачам его показывать, а у нее в голове только хер этот да его художества. Всю квартиру «творчеством» своим загромождал, а квартира, между прочим, мной построена и для дочери, а не ему под мастерскую. И, знаешь, какую наглость имел! Сашу перед школой хотели отды-

хоть отправить, так он предложил: «У меня дом в Сочи свободен, можете туда на лето поехать». Сам влез в мою квартиру и говорит, что его дом свободен! Ну где это видано?!

— А что? — удивился Леша дедушкиному негодованию, отрезая себе хлеб для бутерброда.— Взяли бы да поехали.

— В Сочи?! У Саши после той поездки еще два воспаления легких было. Если только смерти ему желать... Ты горбушки не ешь? Дай, я бабке возьму, а то ей мякиш вредно... Спасибо. Я ему тогда в Железноводск путевку взял. С бабкой они ездили — она во взрослый санаторий, он в детский. Врачи, процедуры, диета. Целое лето отдыхал, лечился. Приехал и сразу заболел опять. Постоянно болеет парень. Был бы здоровый, может, и жил бы с матерью, нам хлопот меньше, а так куда его? Загнется без нас. Сегодня вот опять они к гомеопату поехали...

— Здравствуйте, здравствуйте! — приветствовал нас с бабушкой престарелый гомеопат.

— Простите, за Бога, за ради! — извинялась бабушка, переступая порог.— Дед на машине не повез, пришлось на метро добираться.

— Ничего, ничего,— охотно извинил гомеопат и, наклонившись ко мне, спросил: — Ты, значит, и есть Саша?

— Я и есть.

— Чего ж ты, Саш, худой такой?

Когда мне говорили про худобу, я всегда обижался, но сдерживался и терпел. Стерпел бы я и в этот раз, но, когда мы с бабушкой выходили из дома, одна из лифтерш сказала другой вполголоса:

— Вот мается, бедная. Опять чахотика этого к врачу повела.

Вся моя сдержанность ушла на то, чтобы не ответить на «чахотика» какой-нибудь из бабушкиных комбинаций, и на гомеопата ее уже не хватило.

— А чего у вас такие большие уши? — с обидой спросил я, указывая пальцем на уши гомеопата, которые действительно делали его похожим на пожилого Чебурашку.

Гомеопат поперхнулся.

— Не обращайтесь внимания, Арон Моисеевич! — заволновалась бабушка.— Он больной на голову! А ну быстро извинись!

— Раз больной, извиняться нечего! — засмеялся гомеопат.— Извиняться будет, когда вылечим. Пойдемте в кабинет.

Стены кабинета были увешаны старинными часами, и, желая показать свое восхищение, я почтительно сказал:

— А у вас есть что пограбить.

Тут я увидел в смежной комнате множество икон и восторженно воскликнул:

— Ого! Да там еще больше!

— Идиот, что поделывать... — успокоила бабушка снова поперхнувшегося гомеопата...

— Хорошо ты меня подставил,— говорила она, когда мы вышли на улицу.— Он уж уверен теперь, что мы вора воспитываем. Лосося... Пограбить... Вот непосредственность идиотическая! Пограбить-то, конечно, есть что. Пятьдесят рублей за прием. Жулик! Но надо думать, прежде чем рот открывать.

Бабушка часто объясняла мне, что и когда надо говорить. Учила, что слово — серебро, а молчание — золото, что есть святая ложь и лучше иногда соврать, что надо быть всегда любезным, даже если не хочется. Правилу святой лжи бабушка следовала неукоснительно. Если опаздывала, говорила, что села не в тот автобус или попалась контролеру; если спрашивали, куда уехал с концертами дедушка, отвечала, что он не на концерте, а на рыбалке, чтобы знакомые не подумали, будто он много зарабатывает и, позавидовав, не сглазили. Любезной бабушка была всегда.

— Всего доброго, Зинаида Васильевна,— улыбалась она на прощание знакомой.— Здоровья вам побольше. Главное — здоровье, остальное приложится. Ванечке привет. На каком он курсе?

— На третьем,— расплывалась Зинаида Васильевна.

— Умница мальчик, будет толк из него. Ему тоже здоровья, пусть сдает на одни пятерки.

— Оттяпала, сволочь, трехкомнатную в кооперативе, чтоб у нее все правом пошло! — говорила бабушка, когда мы отходили подальше.— И сына сво-

его, идиота, в МГИМО вперла. У таких, как она, все схвачено. Не то что бабушка твоя — поц. Десять лет в бытовой комиссии, за все время одну путевку в Железноводск взял. Неудобно ему, видите ли...

Следуя правилам святой лжи и обязательной любезности, бабушка забывала, что слово — серебро, а молчание — золото, и временами выдавала «лосося» не хуже меня. Выходя от гомеопата и слушая упреки по поводу своей непосредственности, я вспоминал, как несколько дней назад мы ходили в поликлинику делать укол кокарбоксилы. Перед выходом, прошу прощения за деликатную подробность, бабушка поставила мне свечку. Зачем она мне их ставила, не знаю. Надеюсь, не затем, чтобы по жирным пятнам определять, на какой стул сколько раз я садился. Свечки эти имели ужасную особенность, которой случилось проявиться перед кабинетом, возле которого в ожидании своей очереди сидело человек восемь.

— Пу-у-уу... — послышалось вдруг из меня, и все заулыбались. Я испуганно сжался. «Пу-у» изменило тембр и, продолжая менять его, тянулось долго и протяжно. Вокруг засмеялись.

— Что смеетесь, идиоты? — крикнула бабушка. — У ребенка свечка в попе! Выходит — и такой звук. Ничего смешного!

У сидевших перед кабинетом оказалось другое мнение, и некоторые стали сплзать от хохота со стульев. Что говорить, в непосредственности бабушка мне не уступала!

Думая, сказать об этом или нет, я шел с ней по набережной к метро и смотрел на другой берег Москвы-реки, где виднелись аттракционы Парка Горького. Попасть в парк я мечтал уже давно, но об этом в следующем рассказе.

ПАРК КУЛЬТУРЫ

Моя бабушка считала себя очень культурным человеком и часто мне об этом говорила. При этом, был ли я в обуви или нет, она называла меня босяком и делала величественное лицо. Я верил бабушке, но не мог понять, отчего, если она такой культурный человек, мы с ней ни разу не ходили в Парк культуры. Ведь там, думал я, наверняка куча культурных людей. Бабушка пообщается с ними, расскажет им про стафилококк, а я на аттракционах покатаюсь.

Покататься на аттракционах было моей давней мечтой. Сколько раз видел я по телевизору, как улыбающийся народ несется на разноцветных сиденьях по кругу огромной карусели! Сколько раз завидовал пассажирам, которых под вопли и уханья мчали вверх и вниз по ажурным переплетениям вагончики американских горок! Сколько смотрел, как, искря, сталкиваются и разъезжаются на прямоугольной площадке маленькие электрические автомобили!

Я размышлял, кто куда полетит, если оборвутся цепочки карусели, что будет, если вагончик американских горок сойдет с рельсов, как сильно может ударить током от искрящих автомобильчиков, но, несмотря на такие мысли, страшно желал на всем этом покататься и упрасивал бабушку сходить со мной в Парк культуры. Бабушка же, напротив, вовсе не хотела туда идти. Лишь однажды, когда мы возвращались с ней от гомеопата, жившего рядом с Парком Горького, мне удалось уговорить ее зайти со мной в этот парк погулять.

— Бабонька, пойдём погуляем чуть-чуть в парке! Я там никогда не был! — упрасивал я бабушку, набравшись неведомо откуда наглости.

— И не надо. Туда одни алкоголики ходят распивать.

— Нет, не одни... Пожалуйста, баба! Пойдем. На полчаса!

— Нечего там делать.

— Хоть на десять минут! Только посмотреть, как там!

— Ну ладно...

Как же я радовался, когда бабушка согласилась! Я уже видел себя за рулем автомобильчика, предвкушал, как под веселую музыку буду получать острые ощущения на какой-нибудь челококрутящей машине и, только мы прошли ворота парка, потянул бабушку в сторону, где, по моим предположениям, должны были быть аттракционы. Аттракционов видно не было. Я огляделся вокруг и увидел то, чего по непонятной причине не увидел сразу, — огромное колесо, похожее на велосипедное, высылось из-за деревьев. Оно медленно вращалось, и расположенные по его ободу кабинки совершали круг, поднимая желающих высоко вверх и опуская их вниз. Эта штука называлась «колесо обозрения». Са-

мо собой, я сразу захотел все кругом обозреть и, хотя кабинки, поднимающиеся, казалось, до самых облаков, выглядели страшновато, сказал бабушке:

— Пойдем на это, скорее пойдем. Это колесо обозрения. Оттуда все видно.

Бабушка с опаской посмотрела вверх и твердо сказала:

— Идиот, там вниз головой. Туда нужна справка от врача, а тебе с твоим повышенным внутричерепным давлением никто ее не даст. Понял?

И мы пошли дальше.

В парке было очень красиво, но красотой этой наслаждалась только бабушка, я же ничего не видел, кроме американских горок, показавшихся впереди. Веселое улюлюканье катающихся и грохот вагончиков на виражах оглушили нас, когда мы подошли ближе, но прежде чем сказать бабушке, что я очень хочу на этих горках покататься, я внимательно посмотрел, нет ли там какого-нибудь хитрого поворота, который проезжают вниз головой. Поворота такого не оказалось. Справок от врача на контроле тоже не предъявляли, поэтому с мыслью: «Эх, прокачусь!» я смело сказал бабушке:

— Давай на этом!

— Еще чего! — ответила бабушка.

— Но ведь здесь же не вниз головой.

— Зато отсюда вперед ногами!

Очкастый мужчина с козлиной бородкой, стоявший перед нами, обернулся и задорно, чуть ли не заигрывая с бабушкой, сказал:

— Да ты что, мать, не бойся! Сажай внука, сама садись и езжай. Сколько людей каталось, никого еще вперед ногами ни-ни...

— Так чтоб вас первого! Пошли, Саша.

Мужчина опешил. Веселость слетела с него, как сорванный ветром лист, а когда мы отошли, я обернулся, и мне показалось, что он продавал билет.

Следующим аттракционом, о котором я подумал: «Эх, прокачусь!», были автомобильчики. О них я мечтал больше всего! И хотя «вниз головой» там можно было только при очень большом желании, а других противопоказаний я, как ни искал, все равно не нашел, прокатиться мне не удалось.

— Идиот, — сказала бабушка. — Они сталкиваются так, что люди себе все отбивают. Видишь, бабка орет? Ей отбили почки.

«Бедная», — подумал я.

Попасть на цепную карусель мне не удалось тоже. По мнению бабушки, я мог выскользнуть из-под ремней и улететь к какой-то матери. К какой, я не понял, но не к своей — это точно.

Печальный шел я с бабушкой по дорожкам парка. Мы зашли в глушь. Аттракционов там не было, были разные застекленные «Незабудки», «Сюрпризы», «Гуцалочки» и тому подобные сооружения с красивыми названиями.

— Так ни на чем и не прокатились... — грустно подытожил я. — Я так хотел... И ни разу... Ни на чем... Зачем же мы шли сюда, баба?

— Граждане посетители, — монотонно забубнил из репродуктора гнусавый голос, — приглашаем вас совершить лодочную прогулку. Стоимость проката лодки — тридцать копеек в час.

В душе моей зажглась искра надежды.

— Баба, давай!

— Потонем к черту, пошли отсюда.

На этот раз я даже не успел подумать: «Эх, прокачусь!»

«Все! Вот я в парке, столько мечтал об этом, столько ждал этого и вот... «прокатился» и на том, и на этом», — отчаявшись, думал я.

— Хочешь мороженое? — вывел меня из печальной задумчивости голос бабушки.

— Да!

Я развеселился. Мороженое я никогда не ел. Бабушка часто покупала себе эскимо или «Лакомку», но запрещала мне даже лизнуть и позволяла только попробовать ломкую шоколадку глазури при условии, что я сразу запью ее горячим чаем. Неужели я сейчас, как все, сяду на скамейку, закину ногу на ногу и съем целое мороженое? Не может быть! Я съем его, вытру губы и брошу бумажку в урну. Как здорово!

Бабушка купила два эскимо. Я уже протянул было руку, но она положила одно из них в сумку, а второе развернула и надкусила.

— Я тебе дома с чаем дам, а то опять месяц прогниешь, — сказала она, села на скамейку, закинула ногу на ногу, съела эскимо, вытерла губы и бросила бумажку в урну. — Здорово! — одобрила она съеденное мороженое. — Пошли.

— Пошли, — сказал я и поплелся следом. — А ты точно дашь мне дома мороженое?

— А зачем я тогда тащу его в сумке? — ответила бабушка так, словно в сумке у нее было не мороженое, а пара кирпичей. — Конечно, дам!

«Ну тогда еще ничего...» — подумал я про свою жизнь, а когда увидел зал игровых автоматов, услышал оттуда «пики-пики-трах» и узнал, что бабушка согласна зайти и дать мне «пятнашек» поиграть, решил, что жизнь эта вновь прекрасна.

Я радостно взбежал по ступенькам в зал и тут же, споткнувшись об верхнюю, растянулся на полу, боднув головой «Подводную охоту».

— Вот ведь калека! — услышал я сзади голос бабушки. — Ноги не оттуда выросли, — добавила она и, споткнувшись об ту же ступеньку, обняла, чтобы не упасть, «Морской бой». — Поставили порог, сволочи, чтоб им всю жизнь спотыкаться! Пойдем, Сашенька, отсюда!

— Как? Так уходить из парка? Ни на чем не покатавшись и не сыграв даже? Ну, пожалуйста, баба! — взмолился я.

— Ладно, сыграй. Только быстро. Скоро гицель старый домой приедет, жрать захочет. Давай один раз — и пошли.

Один раз — это было обидно, но лучше, чем ничего. Я взял «пятнашку», подошел к автомату «Спасение на море» и стал вникать в написанные на квадратной металлической пластине правила. Правила были просты: пользуясь ручками «вверх-вниз» и «скорость», надо было снимать вертолетом терпящих в море бедствие людей. Кого с бревна, кого с маяка и так далее. За каждого снятого — очко. Между ручками был счетчик. Я опустил «пятнашку» и стал играть, а так как по причине своего маленького роста не мог видеть экран, где был вертолет и ожидающие моей помощи люди, то решил, что для усложнения задачи снимать надо наугад, вслепую. То и дело из автомата неслись жуткие завывания и грохот.

— Куда ты на скалы летишь? — кричала бабушка, глядя вверх моей головы. — Этого снимай, в комбинезоне! Ниже бери, кретин!

— Что ты мне советуешь? Я сам знаю, что делать, — отвечал я, считая, что понимаю в спасении на море больше бабушки и деловито дергая рычаги. Но отсутствие очков и крики, что из меня вертолетчик, как из дерьма пуля, заставили в конце концов насторожиться. Я проследил за бабушкиным взглядом и все понял...

Рядом с автоматом стояла скамеечка, специально припасенная для таких низкорослых, как я. Встав на нее, я увидел море, скалы, вертолет и терпящих бедствие. Я потянул за ручку, и вертолет послушно начал набирать высоту. Но вдруг экран погас — мое время кончилось.

— Ну пойдем, — сказала бабушка.

— Еще разочек, я ведь и не поиграл толком! Так никого и не спас! — стал я ее спрашивать.

— Пойдем. Хватит.

— Ну один раз еще — и все! Только спасу кого-нибудь!

— Пойдем, а то сейчас дам так, что никто не спасет!

И мне пришлось идти. Теперь мы уже, не останавливаясь, шли прямо к выходу. Моя мечта сходить в парк сбылась, но что из этого... Настроение у меня было ужасное. С улыбками проходили мимо люди и, глядя на меня, недоумевали: второй такой унылой физиономии не нашлось бы во всем парке.

Пока мы ехали домой, я был, как грустная сомнамбула, но около самого подъезда вспомнил вдруг про мороженое, которое купила мне бабушка, и настроение у меня резко улучшилось. С нетерпением глядя на бабушкину сумку, я переступил порог квартиры.

«Только бы она не передумала! — мелькнула у меня мысль. — Она обещаала!»

И она не передумала.

— Саша! — донесся из кухни ее голос. — Иди, мороженое дам.

Я вбежал в кухню. Бабушка открыла сумку, заглянула в нее и сказала:

— Будь ты проклят со своим мороженым, сволочь ненавистная...

Я тоже заглянул в сумку, увидел там большую белую лужу и заплакал.

Вечером вернувшийся с рыбалки дедушка открыл дверь своим ключом, тихо вошел в квартиру и, довольный, поставил на пол садок с тремя лещами. Из кухни доносились крики. Дедушка прислушался.

— ... все документы размокли, все деньги! На полчаса! Вот же тварь избалованная! Сашенька то хочет, Сашенька это хочет! По Сашеньке могила плачет, а ему все нейдет. Я твои анализы видела, кладбище — вот твой парк!

— Что такое, Нина? — спросил дедушка из коридора.

— Пошел знаешь куда!

Дедушка закрыл дверь, сбросил с плеча рюкзак и, не раздеваясь, лег на диван лицом в подушку.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Как мне исполнилось девять лет и как восемь, я не помню. Помню только, как исполнилось семь и четыре.

— У тебя сегодня день рождения, — сказала бабушка, лежа на диване и почесывая полосу, натертую на бедре резинкой салатного цвета трико.

Я удивился и спросил, что это значит. Бабушка объяснила. Так я узнал, что мне исполнилось семь лет. Про дни рождения, в которые мне исполнилось пять и шесть, бабушка, видно, забывала сказать, и я все время думал, что день рождения — это такой праздник, а возраст не имеет к нему никакого отношения. Оказалось, наоборот, к дню рождения не имеет никакого отношения праздник.

То, что день рождения — это праздник, я решил в далеком прошлом, когда еще жил с мамой и она увезла меня в город Сочи. Помню, я сидел в такси и с любопытством смотрел, как малознакомая тогда бабушка хватается маму за руку и не дает ей сесть в машину. А мама кричала, что у нее уже выжили из дома одного мужа и она не хочет опять просить деньги на чулки и ходить в идиотках. Потом мама вырвалась, и мы поехали. Бабушка бежала за такси с криком: «Будь ты проклята небом, Богом и землей!..», а я думал, что надо помахать ей, и махал, полуобернувшись, через заднее стекло.

Потом мы ехали в поезде и смотрели в окно. Мама держала меня на руках, и я удивлялся, что она вдруг так выросла — дома головой до потолка не доставала, а в поезде стала вдруг доставать. Потом помню какой-то дом с картинами и коренастого дядьку с красным лицом, который лез меня обнимать и называл Сашухой. Я спросил у мамы, чего этот дядька от меня хочет, а она объяснила, что это дядя Толя, к которому мы приехали.

Дядя Толя мне сначала не понравился. Он все время приставал ко мне и, кажется, очень хотел показать, как меня любит. Но потом, видно, забыл про это, стал смешить маму, а заодно меня, и я подумал, что вообще с ним довольно весело. Мы ели втроем в кафе, гуляли по набережной, и тут выяснилось, что у меня день рождения. Дядя Толя сказал, что это надо отметить, и повел меня смотреть корабль. Огромный, больше нашего дома, корабль стоял на причале, и дядя Толя договорился, чтобы нас пустили внутрь. Мама осталась ждать на берегу, и я боялся, что, пока мы будем плутать по длинным, покрытым коврами коридорам и смотреть каюты, корабль незаметно отчалит, уплывет в море, а мама потеряется. От страха мне было неинтересно, я ничего толком не видел и все ждал, когда мы выйдем наружу. После корабля мы смотрели буксир, и там уже было не страшно. Маленький буксир не мог отчалить незаметно, и если что, я сразу успел бы выскочить на палубу. Матросы на буксире угостили меня воблой, потом оказалось, что дядя Толя знаком с капитаном, и по случаю моего дня рождения капитан прокатил нас троих по всему порту. Вот это было действительно здорово!

А потом мы гуляли в парке. В черной теплой ночи весело светились развешанные по пальмам разноцветные лампочки, шумел далекий прибой, а прямо перед нами кружилась огромная освещенная огнями карусель. Мы купили три билета и понесли на ней друг за другом. Впереди хохотала мама, сзади свистел и улюлюкал дядя Толя, а я, вцепившись в цепочки, орал, замирая от восторженного ужаса. Под ногами мелькала земля, лампочки вились вокруг яркими светящимися нитями, и ветер в лицо не давал вылететь изо рта моему крику, загоняя его обратно.

Дома дядя Толя поставил на стол торт с четырьмя свечами и сказал, что я должен их задуть. Задуть было жалко. Свечи были разноцветные и напоминали о парке, в котором мы гуляли, но дядя Толя объяснил, что так положено.

Я задул, и мы пили с тортом чай. Потом я нарисовал пальцем на запотевшем окне рыбу. Вышло непохоже. Дядя Толя засмеялся, пририсовал к моей рыбе еще несколько черточек, плавники, и она вдруг стала как настоящая. Еще мы нарисовали на том окне корабль и машину, а на другом дядя Толя нарисовал мою маму. Рисунок был очень простой, я пытался потом повторить его, но вместо мамы у меня получались какие-то путаные кривые.

После чая дядя Толя лег в ванну, а мама села на ее край и с ним разговаривала. Мне стало скучно, и я пошел к ним. Я запускал в ванной мыльницы, а дядя Толя высовывал из воды руку и топил их, изображая подводную лодку. Потом он показал, как взрывается глубинная бомба, и плеснул так, что забрызгал маму, которой пришлось переодеться в его тельняшку. Мама сказала, что она теперь боцман и будет свистать нас наверх. Свистать она нас не стала, и вместо этого мы легли спать в большую кровать. Я прижимался к маме и думал, что завтра тоже будет день рождения и, может, еще веселее сегодняшнего.

А утром оказалось, что дядя Толя заболел. Он не мог встать, не шутил и не смеялся. Весь день он лежал в постели, и мы из-за него никуда не могли пойти. Хорошо еще, он подарил мне гоночную машинку, и мне хоть было чем поиграть. Вечером мы опять сели с мамой на поезд и поехали в Москву. Мама сказала, что оставит меня на несколько дней бабушке и вернется к дяде Толе. Я не хотел с ней расставаться и плакал, но она сказала:

— Ты здоров, и с тобой будет бабушка, а он болен и совсем один. Разве тебе его не жалко?

Дядю Толю мне было жалко, но расставаться с мамой было от этого не легче. Если бы не машинка, дядя Толя совсем уже стерся бы у меня из памяти, и я подумал, что, может быть, к утру мама тоже про него забудет и останется со мной. Но к утру я сам заболел и все стало мне безразлично. Мама оставила меня больного у бабушки, а когда я поправился, мне сказали, что теперь я буду жить с ней всегда.

С тех пор мне казалось, что другой жизни не было, не могло быть и никогда не будет. Центром этой жизни была бабушка, и очень редко появлялась в ней с бабушкиного согласия мама. Я привык к этому и не думал, что может быть иначе. А Сочи, ночь с разноцветными лампочками и торт со свечами остались в памяти как приятный, но совсем уже забытый сон. В этом сне было еще что-то страшное — цирк, какая-то ссора, во время которой я задыхался и очень плакал, но, что именно произошло, почему я плакал, я не помнил и не вспоминал. Было незачем.

Бабушка объяснила мне, что дядя Толя — карлик-кровопийца, который хочет переехать в Москву и все у нас отобрать. Он хочет мамину квартиру, дедушкину машину, гараж и все наши вещи. Для этого ему надо, чтобы мы все умерли. Смерти бабушки с дедушкой он не дожидется, а меня он уже заразил стафилококком и почти погубил. Даже машинку он подарил мне черную с золотыми колесами, как катафалк. Машинку бабушка выбросила, сказав, что купит мне таких десять, но нормального цвета. Потом я в чем-то провинился, и она заявила, что если и купит их, то лишь затем, чтобы разломать на моей голове.

Я верил, что карлик-кровопийца хочет все у нас отобрать, но бабушка говорила, что не допустит этого, и я чувствовал себя, как за крепостной стеной, которую карлику никогда не взять.

— Ничего ему не достанется, правда? — спрашивал я, чтобы лишний раз восхититься готовностью бабушки защитить меня и наши вещи.

— Ничего!

— Даже слоника маленького?

Маленького слоника я видел в буфете-саркофаге, и он показался мне такой диковиной, которую надо беречь от карлика в первую очередь.

— Даже слоника... Какого слоника?

— Да так, просто сказал... — вовремя замялся я. Бабушка предупреждала, что если я открою буфет, то останусь там навечно.

— И слоника, и бобика, и хрена с маслом! Она у меня шубу свою третий год забрать не может, куда им гараж с машиной. Хотя он рассчитывает, конечно! В Москву он уже перебрался, распишется с ней, получит прописку. Сволочь проклятая! Понимает, мы сдохнем, наследство тебе с этой идиоткой. А тебя не станет, все ей, а значит, ему. Ты ему как кость в горле, он только и ждет, чтобы ты загнулся. Ничего, подождет еще, я судиться буду...

Карлик-кровопийца давно уже видялся мне чуть ли не с ножом и в черной маске, и я боялся его, как самого настоящего убийцы. Незадолго до моего се-

милетия он переехал к маме и заявился к нам с ящиком винограда. Узнав его голос, я забился под стол и ждал, что сейчас он оттолкнет с порога бабушку, схватит меня и задушит. Но бабушка была настороже.

— Виноград?! Я выбираю кости из рыбы! — закричала она, как сирена, повышая голос на каждой гласной, и карлика сдуло от нашей двери словно ураганным ветром.

— Сволочь, с виноградом притащился, — сказала бабушка, задвигая за сов.— Еще сорт выбрал, где костей побольше. Специально хочет, чтоб ты подавился.

Костей бабушка очень боялась и, когда я ел рыбу, действительно перебирала ее, сминая кусочки белого мяса пальцами до тех пор, пока не получались маленькие сероватые комки навряде фрикаделек. Комочки эти она раскладывала по краю тарелки, и я ел их с гречневой кашей и тертым яблоком. Ел я тоже с бабушкиной помощью. Заготовив бескостные комочки, бабушка зачерпывала из стоявшей передо мной тарелки гречневую кашу, клала один комочек в середину ложки, прикрывала все это с помощью другой ложки тертым яблоком и ложкой из-под яблока приглаживала сверху наподобие уличного мороженщика. После этого я открывал рот, и она отправляла туда это порционное сооружение, сопровождая закрытие моих губ странным движением своих. Казалось, она тоже ест вместе со мной, но только мысленно.

Когда многоэтажное содержимое ложки оставалось у меня во рту, бабушка говорила:

— Жуй. Жуй, кому говорю!

— Я жую.

— Ни черта не жуешь! Заглатываешь, как было, ничего не усвоится. Амосов писал, что даже воду надо во рту задерживать, вот так смаковать... — Бабушка шамкала губами.— А еду тем более жевать надо. Жуй! Жуй, не глотай!

В день рождения, о котором бабушка сообщила, почесывая полосу, натертую резинкой трико, я тоже ел рыбу и гречку. И хотя я знал уже, что день рождения — это не праздник, мне подумалось, что под это дело можно заполучить на десерт какие-нибудь конфеты для врачей или на худой конец шоколадку.

— Тыц-пиздыц, шоколадку! Вчера ел уже, хватит.

— Но вчера просто так было, а сегодня день рождения.

— Ну и что?

— Отметили бы.

— Что отмечать? Жизнь уходит, что хорошего? Жуй.

После еды бабушка все же вручила мне шоколадку «Сказки Пушкина» и, дав впридачу таблетку от аллергии, отправила гулять во двор. Там со мной должна была встретиться мама.

С мамой я виделся редко. Последний раз это было больше месяца назад, когда налетел сильный, как буря, ветер. Я гулял, и ветер очень напугал меня. Двор из привычного стал вдруг чужим и грозным, деревья над головой страшно шумели, растрепанные картонки и мусор летали вокруг, будто заколдованные, и, хотя до дома было несколько шагов, я вдруг почувствовал себя потерянным, словно находился в лесу. Ветер трепал на мне одежду, сыпал в глаза пыль, а я топтался на месте, закрывая лицо ладонями, и не знал, что делать. Тут появилась мама. Она взяла меня за руку и повела в соседний подъезд к своей знакомой. Там мы сели на кухне и зажгли над столом маленькую лампу, уютную, как костер. Потерявший меня ветер терзал за окном деревья, вымещая на них обиду, а мы сидели и ели картофельное пюре. Пюре было необыкновенно вкусным, я быстро съел его, захотел еще и стал топтать вилкой в маминой тарелке, поясняя, что пюре плохо размято. Нажав раза три, я слизывал то, что оставалось между зубцами, и мял снова. Поняв мою хитрость, мама засмеялась и отложила мне из своей тарелки половину. Мы сидели на кухне, пока не утих ветер, а потом мама отвела меня домой. Дома я сказал бабушке, что мама спасла меня от бури, и действительно так думал.

Редкие встречи с мамой были самыми радостными событиями в моей жизни. Только с мамой было мне весело и хорошо. Только она рассказывала то, что действительно было интересно слушать, и одна она дарила мне то, что действительно нравилось иметь. Бабушка с дедушкой покупали ненавистные колготки и фланелевые рубашки. Все игрушки, которые у меня были, подарила мама. Бабушка ругала ее за это и говорила, что все выбросит.

Мама ничего не запресала. Когда мы гуляли с ней, я рассказал, как пытался залезть на дерево, испугался и не смог. Я знал, что маме это будет интерес-

но, но не думал, что она предложит попробовать еще раз и даже будет смотреть, как я лезу, подбадривая снизу и советуя, за какую ветку лучше взяться. Лезть при маме было не страшно, и я забрался на ту же высоту, на какую забиралась обычно Борька и другие ребята.

Мама всегда смеялась над моими страхами, не разделяя ни одного. А боялся я многого. Я боялся примет; боялся, что, когда я корчу рожу, кто-нибудь меня напугает и я так останусь; боялся спичек, потому что на них ядовитая сера. Один раз я прошелся задом наперед и боялся потом целую неделю, потому что бабушка сказала: «Кто ходит задом, у того мать умрет». По этой же причине я боялся перепутать тапочки и надеть на левую ногу правый. Еще я как-то увидел в подвале незакрытый кран, из которого текла вода, и стал бояться скорого наводнения. О наводнении я говорил лифтершам, убеждал их, что кран надо немедленно закрыть, но они не понимали и только глупо переглядывались.

Мама объясняла, что все мои страхи напрасны. Она говорила, что вода в подвале утечет по трубам, что задом наперед я могу ходить сколько угодно, что приметы сбываются только хорошие. Она даже специально грызла спичку, показывая, что головка ее не так уж ядовита. Я слушал с восторженным недоверием и смотрел на маму, как на фокусника. Мудреное слово «инакомыслие», прозвучавшее как-то по телевизору, подходило к ее речам как нельзя лучше. Теперь, гуляя по двору, я ждал услышать, что скажет она на утверждение бабушки, будто на свете есть Бог, который видит все мои издевательства и карает меня за них болезнями.

Мама появилась во дворе только к вечеру. Она села на скамейку, а я к ней на колени. Хотелось обнять ее и прижаться изо всех сил. Я сделал это, но желание все равно осталось. Я знал, что оно останется, сколько ни прижимайся, прижался еще раз, и мы стали разговаривать. Мама сказала, что купила мне в подарок железную дорогу, но передаст ее дедушка, чтобы бабушка подумала, будто это от него, и ничего с ней не сделала. Я спросил, как железная дорога выглядит, мама описала ее, а потом я сказал, что боюсь Бога.

— Что ж ты трусишка такой, всего боишься? — спросила мама, глядя на меня с веселым удивлением. — Бога теперь выдумал. Бабушка, что ли, настрашала опять?

Я рассказал, как появился у меня этот страх, и мама объяснила, что есть Бог или нет, никто не знает, а если и есть, бояться мне нечего, потому что я ребенок. Ребенка Бог карать ни за что не станет.

Мы встали со скамейки. Я шел с мамой и думал, что рядом с ней не боялся бы ничего и никогда. Никогда, никогда не было бы мне возле нее страшно. И тут я испугался так, что прирос к земле...

Прямо на нас вышел из-за угла карлик-кровопийца. Это был он, я сразу узнал его, и в горле у меня пересохло.

— А я полчаса хожу, вас ищу, — сказал карлик, зловеще улыбнувшись, и протянул ко мне страшные руки.

— Сашуха, с днем рождения! — крикнул он и... схватив меня за голову, поднял в воздух.

Подобного ужаса я еще не испытывал. Если я не бросился бежать, то только потому, что, очутившись вновь на земле, не мог сдвинуться с места. Так во сне нельзя убежать от надвигающегося поезда или ножа. Не помню, как мы попрощались, как я попал домой. Помню, что, только увидев бабушку, я облегченно вздохнул и почувствовал, как поджавшееся сердце успокоенно опускается на привычное место — спящая...

— Сволочь, за голову схватил! — говорила потом бабушка. — В шее вилочка и палочка вот так соединены. — Бабушка показала пальцами, как. — У ребенка кости тонкие, палочка из вилочки выскочит, еле-еле повернуть надо. А выскочит — конец. Я тебе говорила, чтоб ты бегом от него бежал, если увидишь? Говорила? Так ты к моим словам относишься? Ну ничего... Бог тебя покарает за это!

— А Бог детей не карает, — неуверенно сказал я.

— Покарает, когда вырастешь. Хотя ты и вырасти-то не успеешь, сгниешь годам к шестнадцати. И знай: еще раз она с ним сюда припрется, вообще больше не увидитесь. Не думай, что я этого сделать не могу. Могу еще как! Понял? Так и запомни!

Я запомнил и долго боялся потом и Бога, и того, что сгнию, но больше всего — ужасного карлика, из-за которого мог не увидиться с мамой.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Хотя мне исполнилось семь лет, в школу бабушка решила меня пока не отдавать. Читать, писать печатными буквами и считать до двенадцати я умел и так, а рисковать моей жизнью ради арифметики и прописных букв бабушка считала лишним.

— На год позже пойдешь,— говорила она.— Куда тебя сейчас, падаль, в школу. Там на переменах бегают такие битюги, что пол ходуном ходит. Убьют и не заметят. Окрепнешь немного, тогда пойдешь.

Бабушка была права. Через год, когда я пошел в школу, мне пришлось удивиться ее пронизательности. На перемене я столкнулся со средних размеров битюгом. Битюг ничего не заметил и побежал дальше, а я улетел под подоконник и затих. Спиной я ударился о батарею, и дыхание мое, казалось, прилипло к ее массивным чугунным ребрам. Несколько секунд я не мог вдохнуть и сгустившуюся перед глазами красноватую серость с ужасом принял за смертную пелену. Пелена рассеялась, и вместо скелета с косою надо мной склонилась учительница.

— Добегался? — участливо спросила она, поднимая меня.— Правильно бабушка твоя просила запереть тебя на переменах в классе. Теперь так и буду делать.

С того дня я каждую перемену сидел в запертом классе и вспоминал бабушку, которая хотела, чтобы я перед школой окреп. Наверное, если бы я пошел учиться с семи лет, неокрепшим, она по сей день привязывала бы к той батарее букетики цветов, как привязывают их к дорожным столбам родственники разбившихся шоферов. Но я пошел с восьми, успел окрепнуть, и все обошлось. Из этого рассказа вы узнаете, как бабушка меня укрепляла.

Вскоре после моего дня рождения дедушка положил перед бабушкой белый конверт.

— Что это?

— Путевка,— ответил дедушка, и на лице его расцвело ожидание похвалы.

— Какая?

— Саше в санаторий. В Железноводск.

— Ты что, идиот? — ледяным голосом осведомилась бабушка, и ожидание похвалы на дедушкином лице увяло, как забытая в холодильнике петрушка.

— Наказал Бог с кретином жить, живи — терпи. Но тебя терпеть, Сенечка, лучше удавиться,— заговорила бабушка, объясняя дедушкину ошибку.— Кто там за этим уродом следить будет? Там врачи, кроме ОРЗ и геморроя, никаких диагнозов не знают. Куда им ребенка-калеку? Климат этот ему не подходит, лекарств там, каких надо, нету... А, что говорить! Тебе все равно. Тебе лишь бы показать: «Вот, Нина, я сделал!» Сам сделал, падите ниц! Ну так сунь себе эту путевку куда-нибудь на весь срок, что там указан.

Совать путевку дедушка никуда не стал и вместо этого предложил купить еще одну — для бабушки. Взрослый санаторий был рядом с детским, и бабушка могла бы лично следить за моим отдыхом, давать нужные лекарства и просвещать железноводских врачей в области диагнозов. Эта идея бабушке понравилась, путевку купили, и начались сборы.

Первым делом бабушка заказала в прачечной ярлычки с моей фамилией и стала пришивать их ко всем моим вещам, чтобы нянечкам и сестрам санатория не вздумалось унести своим вонючим детям колготки и рубашки, заработанные дедушкиным потом и бабушкиной кровью. На носки ярлычков не хватило, и на каждом из них пришлось вышивать фамилию отдельными буквами.

— Мать твоя тебе не вышивает, чтоб ей саван могильный вышили! — приговаривала бабушка, укладывая крупные стежки белой нитки так, чтобы они образовывали букву С.— Я до коллик в глазах шью. На, клади в чемодан...

Когда с носками было покончено и все они, свернутые в клубочки, были уложены с другими вещами, бабушка начала собирать лекарства.

Шесть коробочек гомеопатических шариков, которые я должен был принимать через каждые три часа в определенной последовательности; коларгол и оливковое масло, которые мне надо было капать в нос; мексаформ, панзинорм и эссенцеале, которые я принимал за едой; супрастин — на случай аллергии; порошки Звягинцевой — на случай астматического компонента и банка сока алоэ с медом для общей пользы. Банка эта в пакет с лекарствами не поместилась, и бабушка перед самым отъездом положила ее в сумку с вареной курицей.

На вокзал мы приехали за полчаса до отправления поезда. Бабушка, поманивая сумкой с курицей, шла впереди, я за ней, дедушка, который приехал нас провожать и тащил чемоданы, плелся сзади.

— Ни табло нормального нет, ничего,— сетовала бабушка.— Какой путь, черт его знает...

— Вон, Нина, пятый,— сказал дедушка, кивая на табло, где зелеными огоньками был высвечен номер пути, с которого отправлялся наш поезд.

— Точно? Подожди, пойду спрошу. Держи, Саша.

Думая, что я рядом, бабушка, не глядя, отвела назад руку и выпустила сумку. Я стоял в нескольких шагах и успел подхватить ее только печальным взглядом — сумка брякнулась о гранитные плиты вокзального пола, и сквозь ее плотняные бока стала просачиваться густая жидкость.

«Это не из курицы,— подумал я,— это разбилась банка алоэ с медом...»

— Будьте вы трижды прокляты! — затянула бабушка, поднимая сумку и заглядывая внутрь.— Вдребезги,— подытожила она и пошла вытряхивать осколки в урну. На полу осталась большая золотистая лужа.

— Тю-тю баночка! — заговорщицки подмигнул мне дедушка и заулыбался.

Когда дедушка занес чемоданы в наше двухместное купе, вышел из поезда и с перрона стал умиляться нами через окно, бабушка достала из злополучной сумки курицу и, положив ее на стол, начала изучать.

— Осколки... Так и знала... Сенечка, в курице осколки!

Двойные стекла вагонного окна не пустили бабушкин голос до слабого дедушкиного слуха, и дедушка ничего не понял.

— А?! — приложил он руку к уху.

— Осколки! Вся курица в осколках!

— Что?

— Курица в осколках от банки!

— А?!

— Глухое бревно! В курице осколки!

— Не слышу!

— Осколки!!! Нельзя есть!!!

Дедушка беспомощно развел руками. Бабушка, решившая, видно, что за оставшуюся до отправления поезда минуту она непременно должна втолковать про курицу, прибегла к пантомиме.

— Банка! — крикнула она, сложив руки в замок так, чтобы получилось нечто округлое.— Бах! Разбилась! — пояснила она, хватив этим округлым об стекло.— Осколки! Осколки! — Изображая осколки, бабушка стала тыкать щепотью в протянутую ладонь.

— Нормально доедете! — отмахнулся дедушка, который, как потом выяснилось, подумал, что бабушка боится крушения.— Ни пуха!

— К черту!

— А?!

Поезд тронулся.

— Вот и поели,— сказала бабушка, заворачивая курицу в бумагу.— Вся в стекле. Придется одни бутерброды жрать. Ты голодный?

— Нет еще.

— Давай тогда гомеопатию выпьем.

Бабушка вышла, похоронила мурашечное тело курицы в мусорном ящике и, вернувшись, достала из чемодана пакет с лекарствами. Коробочки с гомеопатией, чтобы не открывались, были туго стянуты вместе аптечной резинкой. Бабушка стала снимать резинку, сделала неловкое движение, и произошло ужасное — коробочки выскочили у нее из рук, по полу запрыгала масса белых шариков...

Я очень боялся бабушкиных проклятий, когда был их причиной. Они обрушивались на меня, я чувствовал их всем телом — хотелось закрыть голову руками и бежать как от страшной стихии. Когда же причиной проклятий была оплошность самой бабушки, я взирал на них словно из укрытия. Они были для меня зверем в клетке, лавиной по телевизору. Я не боялся и только с трепетом любовался их бушующей мощью.

Лавина, обрушившаяся в купе, была громадна. Она зародилась, когда бабушка уронила сумку, чудом удержалась, когда в курице обнаружили осколки, и теперя сошла во всем своем великолепии. Что это были за проклятия! Стук колес звучал рядом с ними, как тиканье часов! Какое счастье, что не я рассыпал гомеопатию!

Когда плафон на потолке погас и купе осветилось мрачным светом сероголубого ночника, бабушка уложила меня спать. Она велела мне лечь ногами к окну, чтобы не надуло в голову, а чтобы не надуло в ноги, закутала их вторым одеялом. Спал я плохо. Всю ночь на меня катились огромные железные шары и колеса. Они соударялись, сталкивались надо мной со страшным грохотом, я бегал между ними, боясь быть раздавленным, и просыпался, когда некуда было бежать. Проснувшись в очередной раз, я заметил, что уже утро.

Бабушка сидела за столиком и чистила крутое яйцо. В стакане с чаем дребезжала ложечка. На развернутом целлофане лежали бутерброды с сыром. Я вспомнил, что мы едем в Железноводск на летний отдых, и обрадовался.

— В туалет хочешь? — спросила бабушка. — Пойдем. Я тебе открою дверь. Не берись за ручки, тут везде инфекция.

Бабушка открыла дверь туалета, закрыла ее за мной, подержала, чтобы никто не вошел, и потом снова открыла. Спустить воду она разрешила мне самому, потому что педаль нажималась ногой, а подошвам ботинок инфекция была не страшна. Жать на педаль мне очень понравилось, но бабушка не дала мне позаниматься этим вволю и повела в купе протирать руки смоченным одеколоном полотенцем: мылом в туалете пользуются всякие цыгане, а у них и грибок на руках, и все что хочешь. Потом мы сели завтракать.

Я ел ошizenное бабушкой яйцо, запивал его сладким чаем и скучал. Делать в купе было нечего, смотреть в окно надоело. Бабушка пошла относить проводнику стаканы. И тут словно молния сверкнула у меня в голове — педаль!!!

Я выглянул в коридор и, убедившись, что бабушки не видно, направился в туалет.

«Я быстро... Пока она не вернулась... — думал я. — Туда и сразу обратно...» Около двери, отделявшей меня от заветной педали, я встал как вкопанный. ИНФЕКЦИЯ!!! С почтительным страхом всмотрелся я в тусклый металл дверной ручки — казалось, слово инфекция написано на ней невидимыми, но грозными буквами. Как быть? Рубашка моя была с длинным рукавом. Я выставил вперед локоть и, стараясь касаться самым его кончиком, надавил на ручку. Дверь открылась. Я закрыл ее за собой, толкнув ногой, и с увлечением принялся жать на педаль.

Это было здорово! Блестящая крышка убиралась вниз, под круглым отверстием мелькали шпалы, туалет наполнялся звонким грохотом, который медленно нарастал, если нажимать на педаль плавно, а если стучать по ней, залетал отрывками, напоминавшими какие-то отчаянные выкрики. Шпалы сливались в сплошное мельтешение, но иногда удавалось зацепиться за одну из них взглядом, и тогда они словно на миг останавливались. Можно было даже рассмотреть между ними отдельные камни.

Я отрывал кусочки туалетной бумаги, мял их и бросал в отверстие, представляя, что это врачи, которых я казню за приписанные мне болезни.

— Но послушай, послушай, у тебя же золотистый стафилококк! — жалобно кричал врач.

— Ах, стафилококк! — зловеще отвечал я и, скомкав врача поплотнее, отправлял его в унитаз.

— Оставь меня! У тебя пристеночный гайморит! Только я могу его вылечить!

— Вылечить? Вылечить ты уже не сможешь...

— А-а! — вопил врач, улетающий под колеса поезда.

Казнив полрулона врачей и получив от педали все мыслимые удовольствия, я вспомнил, что пора в купе. Дверь в туалет открывалась вовнутрь, поэтому выйти, нажимая на ручку локтем, оказалось гораздо труднее, чем войти. Нужно было не просто нажать, а еще каким-то образом потянуть на себя. Несколко раз мне почти удалось открыть дверь, но в последний момент локоть подло соскакивал, и замок защелкивался снова. Бабушка по моим расчетам вот-вот должна была вернуться. Передохнув секунду, я собрался, аккуратно установил на ручке локоть, осторожно нажал и, уловив момент, когда язычок замка исчез из щели, рванул из всех сил. Дверь распахнулась, я потерял равновесие и полетел на пол. Навзничь в самую, самую инфекцию! А в дверях стояла и смотрела на меня бабушка...

— Мразь!!! — зорала она. — Вставай немедленно, или я тебя затопчу ногами!!!

Я встал и, ежась от холода намокнувшей на спине рубашки, подошел к бабушке. Она схватила меня за воротник и потащила в купе.

— Какой негодяй! — приговаривала она. — Весь в ссанье! Что ты потащился туда?

— Пописать...

— Чтоб ты пописал последний раз в своей жизни! Надо было меня подождать! Там же никто ничего не дезинфицирует! Там и глисты, и дизентерия, и все что угодно! Сдохнешь, не поймут от чего даже! Снимай все с себя! Чтоб тебе руки выкрутило, как ты мне душу выкручиваешь! Снимай все скорее!

Когда я разделся, бабушка заперла дверь купе и, налив на полотенце одеколон, протерла меня с ног до головы. Потом она передела меня в чистое, а промокшую одежду со словами «Тебя бы, суку, по магазинам погонять!» положила в отдельный полиэтиленовый пакет, чтобы потом отстирать. Из купе она уже не выходила до самого Железноводска.

В Железноводск мы приехали к вечеру. Нас встречали. У выхода из вокзала стоял маленький желтый автобус с табличкой «Санаторий «Дубровка» на лобовом стекле. В автобусе сидело уже много ребят, и я скорее устроился на свободном месте около окна, чтобы припасть к стеклу и никого не замечать. Я никогда не встречал так много ребят сразу, и мне казалось, что все они как-то особенно на меня смотрят. Успокоился я, лишь когда бабушка уселась рядом и отгородила меня от чужих глаз. Тогда я оторвался от окна, в которое напряженно пялился, ничего перед собой не видя, и украдкой стал сам рассматривать своих будущих приятелей.

«Кто-то из них будет мой друг», — думал я и так волновался, что не мог никого разглядеть — лица сливались в сплошную незнакомую массу, с которой, казалось, никогда не удастся сойтись и подружиться. Заметил я только, что все ребята выглядели на два-три года меня старше.

Началась переключка. Полная женщина в коричневой кофте, которая потом оказалась нашей воспитательницей, читала по списку фамилии, а мы должны были отвечать «здесь». Я приготовился вовремя ответить и на всякий случай сглотнул несколько раз слюну, чтобы голос у меня не сорвался от волнения.

— Заварзин.

— Здесь.

— Жукова.

— Здесь.

— Лордкипанидзе.

«Ничего себе!» — подумал я и, забыв про волнение, повернулся посмотреть, у кого же окажется такая необычная фамилия. Никто не отвечал.

— Лордкипанидзе!

— Здэс, — послышалось из дальнего конца автобуса. — Я нэ слышал.

Лордкипанидзе мне не понравился сразу. Мало того что у него была такая фамилия, он еще объяснял, что не слышал, вместо того чтобы просто ответить «здесь». Это показалось мне верхом неприличия. «Тоже мне Лорд! — подумал я. — Кипанидзе!»

— Куранов.

— Здесь, — ответил толстый мальчик, сидевший впереди меня. Он один был моего возраста, и, еще раз подумав, кто же будет мой друг, я посмотрел на него внимательнее: уж не он ли?

— Савельев.

Я опять сглотнул слюну. Назвали мою фамилию — надо было отвечать!

— Здесь мы, здесь, — ответила бабушка. Я даже не успел открыть рот...

Никогда не мог я смириться с бабушкиной манерой отвечать за меня всегда и везде. Если бабушкины знакомые спрашивали во дворе, как у меня дела, бабушка, не глядя в мою сторону, отвечала что-нибудь вроде: «Как сажа бела». Если на приеме у врача спрашивали мой возраст, отвечала бабушка, и неважно, что врач обращался ко мне, а бабушка сидела в противоположном конце кабинета. Она не перебивала меня, не делала страшных глаз, чтобы я молчал, просто успевала ответить на секунду раньше, и я никогда не мог ее опередить.

— Почему ты всегда за меня отвечаешь? — спрашивал я.

— Ты же будешь соображать полчаса! А у людей время дорого.

— Ну, я не успеваю. Хотя раз можешь подождать, чтобы я ответил!

— Отвечай, малохольный. Кто тебе не дает? — искренне удивлялась бабушка, и все оставалось по-прежнему.

Всякий раз, когда бабушка отвечала за меня, я сникал и на пару минут предавался грусти. На переключке я опять уткнулся в окно и грустил, пока не тронулся автобус. Потом вспомнил, сколько интересного ждет меня впереди, и развеселился.

Воспитательница в коричневой кофте еще на перроне пообещала, что мне будет очень интересно.

— Там у нас и кино, и бильярд, и игры всякие, — сказала она, ласково ко мне наклонившись. — Кружок «Умелые руки» есть. Будете там лепить, вырезать, клеить. Знаешь, как тебе понравится!

И вот я представлял, как мы все, кто едет в автобусе, сидим в большой светлой комнате под яркими лампами и вырезаем, лепим, клеим... Себя лично я представлял вырезающим. Лепить я никогда не пробовал и не очень понимал, что это значит, а клеить мне было совершенно неинтересно. Я думал, что клеят только разбитую посуду, и мысленно оставлял это занятие для Лордкипанидзе.

Когда мы приехали в санаторий, всех ребят повели в палаты, а нас с бабушкой воспитательница отвела к главному врачу. Бабушка сказала, что я не просто ребенок, который приехал отдохнуть, а несчастный, брошенный матерью на шею стариков калека, нуждающийся в особом присмотре, и если она, бабушка, не поговорит с главврачом лично, медсестры меня неминуемо загубят.

Главный врач радушно откликнулась на бабушкино желание поговорить, мне велели посидеть в сторонке, и разговор начался.

— ...Я вам еще раз скажу, что в каком порядке... — долетало до меня. — Сначала кониум... Половину рассыпала, еще осталось... Старик с поездом пришлет, я вам передам... Альбуцид, коларгол... Это если совсем плохо будет...

— Да вы не волнуйтесь...

— Я не волнуюсь, я знаю, что говорю...

— Тут у нас все лекарства есть, все процедуры. Целый этаж лечебный...

— ...диета... Ни жареного, ни соленого... Колит, хронический панкреатит... Делаю на сушках... Третий год... А она только раз в месяц приходит, пожрет — и на диван...

— ...Тут очень хорошо... Любые игры, кино, воспитатели прекрасные...

— Клеить ему не надо. Астма. Надышитесь, будет приступ... Порошок Звягинцевой... Гайморит... хронический...

— Не волнуйтесь...

— Там в чемодане колпачок из полотенца, надевайте после ванной, и пусть спит в нем... Гайморит... Пристеночный гайморит!

«После ванной — подумал я. — В самом деле, здесь меня тоже, наверняка, будут купать. Но как? Кто вместо бабушки будет вытирать меня на стульях? Будет ли здесь в ванной рефлектор?»

Принеся на руках из ванной в комнату, бабушка укладывала меня в постель, а потом, просунув руки под одеяло так, словно заряжала фотопленку, вытирала мне ноги между пальцами, надевала колготки, подкладывала под рубашку носовые платки, когда я вспотею. Сквозь сон я чувствовал, как она ощупывала меня, снова наматывала на голову полотенце, которое я сбрасывал.

— Спи спокойно, не дрыгайся! — слышал я ее злой шепот. — Остынет голова, опять гнить будешь.

Лежать спокойно у меня не получалось, и полотенце я сбрасывал по нескольку раз за ночь. Тогда бабушка сшила колпачок из махрового полотенца. Заколотый под горлом английской булавкой, он надежно держался и защищал мою голову от остывания.

«Кто же будет мне его закалывать? — думал я. — Неужели эта нянечка, которая моет шваброй пол? И положила ли бабушка булавку?»

— Я там булабочку воткнула, закалывайте на ночь получше, ерзает он, беспокойно спит... — словно в ответ на мои мысли донеслись бабушкины слова.

— Все делаем, не волнуйтесь...

На этом бабушка с главврачом разошлись. Бабушка, на удивление легко со мной расставшись, отправилась во взрослый санаторий, который был через дорогу, а главврач взяла мой чемодан и повела меня в палату.

По пути я внимательно смотрел по сторонам, стараясь все запомнить. Корпус санатория оказался большим и белым. В коридоре светили лампы дневного света, которые отражались в глянце желто-зеленого линолеума на полу. Пахло хлоркой. Середина коридора расширялась в холл, где стоял огромный

фикус с пожелтевшими и пыльными листьями, два дивана на колесиках, четыре, тоже на колесиках, кресла и черно-белый телевизор, показывавший только первую программу. В конце коридора была игровая комната, или «торцевая», как непонятно называла ее главврач. Там были настольные игры, кубики и прочая ерунда.

Палата оказалась четырехместной. Моими соседями стали Заварзин и Куранов. Они давно уже расположились и играли в шахматы, когда главврач представила им меня и сказала:

— Знакомьтесь, а я пойду найду вам четвертого соседа. Что-то никак мы сегодня не распределимся.

Знакомиться я не умел, потому что никогда этого раньше не делал и в компании сверстников очутился впервые. Недолго думая, я подошел к Куранову, хлопнул его по плечу, как мне казалось, должны делать настоящие приятели, и предложил:

— Давай дружить.

Потом я таким же образом предложил дружить Заварзину.

И Куранов, и Заварзин дружить со мной согласились. Куранова звали Игорь, а Заварзина Андрей. Игорь был со мной одного возраста, а Андрей на год старше. Но Андрей не выговаривал букву «р», заикался, и разница в возрасте совершенно не чувствовалась. Я подождал, пока мои новые друзья доиграют партию, и мы пошли осматривать санаторий.

До отбоя оставалось совсем немного. Поздний час наводил на грустный лад и сдерживал голос. От запертых дверей бильярдной, кинозала и кружка «Умелые руки» исходила какая-то торжественность. Казалось, за каждой из них таится клад удовольствий, которому суждено попасть в наши руки завтра, но никак уже не сегодня. Но сегодняшнего дня было жалко. Я хотел растянуть его, послоняться в надежде набрести на какие-нибудь новые события и уныло понимал: все, что могло сегодня произойти, уже произошло, и, кроме как спать, ничего не остается.

Когда мы вернулись в палату, то увидели нашего четвертого соседа. Со слезами на глазах он уговаривал воспитательницу переселить его:

— Ну пачему я с ними должэн в палатэ быть? — кричал он. — Я к Мэдведэву хачу, к Короткову! Они маи друзья! А с этими что, на гаршке сыдеть? Пэ-рэнесите крават, я тут все равно нэ астанус!

Четвертым нашим соседом стал Лордкипанидзе. Ему было тринадцать лет, и он хотел в палату к сверстникам, но там были заняты все четыре кровати. Чтобы переселить его, свободную кровать из нашей палаты надо было перенести в ту, где хотел жить Лордкипанидзе, и воспитательница на такие перестановки не соглашалась.

На шум пришла главврач.

— В чем дело?

Воспитательница объяснила. Главврач успокоила Лордкипанидзе, пообещав, что переселит его через пару дней, потом подошла ко мне и сказала:

— С Лордкипанидзе мы разберемся, а с этим Савельевым, Тамара Григорьевна, не знаю, что делать. Бабушка его со мной говорила, сказала, он какой-то большой-разбойной, ничего ему нельзя... Велела следить, чтоб не бегал, дала носовые платки с булавками. «Подкальывайте, — говорит, — под рубашку и меняйте, если вспотеет». Лекарств вручила целый мешок. Сестра дежурная за голову схватится, там одной гомеопатии шесть упаковок.

— Саш, — обратилась ко мне воспитательница, — ты чего ж такой больной нам на голову свалился? Сидел бы дома или в больницу бы лег. Здесь все-таки санаторий, а не реанимация. С тобой что случится, нас потом твоя бабушка со свету сживет. Что нам с тобой делать? В палате запирать?

— Нет, зачем? — ответила главврач. — Бабушка сказала, будет каждый день приходить, вот пусть и нянчится с ним. Утром на процедуры походит, а вечером будет с бабушкой.

— А днем?

— А днем обед и тихий час.

Я чуть не плакал, прощаясь с мечтой о веселом летнем отдыхе, и думал, что на обратном пути обязательно казню в туалете поезда главврача и воспитательницу. Я даже начал выбирать, кого казнить первой, но воспитательница вдруг утешительно сказала:

— Ладно, не огорчайся. У нас всем здесь хорошо. Что-нибудь и для тебя придумаем.

И хотя главврач недоверчиво на нее посмотрела, от радости вновь обретенной надежды я тут же простил их обеих. На этом, однако, дело не кончилось.

Пожелав нам спокойной ночи, главврач повернулась к выключателю, чтобы погасить свет, но случайно бросила на меня еще один взгляд и замерла, словно разглядела что-то страшное.

— А где твой колпачок? — тревожно спросила она.

— Какой колпачок?

— Бабушка сказала, ты должен спать в колпачке.

Это было выше моих сил!

— Мне только после ванной...

— Надевай, надевай! Мне она сказала, чтобы ты в нем спал.

— После ванной...

— Надевай, не разговаривай! Где он у тебя? В чемодане?

Главврач открыла мой чемодан и сразу нашла колпачок, который, будто самая необходимая вещь, лежал сверху. На него тоже был нашит ярлычок с моей фамилией.

— Ну-ка привстань!

— После ванной...

Главврач ловко натянула колпачок мне на голову и с первой попытки, чего не удавалось даже бабушке, заколола его под горлом булавкой.

— Все, спи. И только попробуй снять! Я ночью зайду проверю, — пообещала она, погасив свет, и вышла вместе с воспитательницей из палаты. Так закончился первый в санатории день.

С этого момента и до возвращения домой жизнь моя превратилась в калейдоскоп событий, рассказать о которых последовательно и подробно просто невозможно. Чего только не было за три недели моего отдыха! Это время было самым ярким в моей жизни, и омрачить его не могли ни колпачок, ни бабушка, ни Лордкипанидзе, ни даже трехлитровая клизма, которую мне почему-то поставили перед самым отъездом.

Я научился играть в бильярд и в настольный теннис. Через день нам показывали кино, и это было открытием, потому что в кинотеатр бабушка меня не пускала, утверждая, что там легко заразиться гриппом. Ночью мы подолгу не спали, смешили друг друга, и ночная тишина, заставлявшая сдерживаться, превращала в уморительные шутки самые простые выходки. А однажды мне дали настоящие жареные котлеты с картошкой! Потом выяснилось, что котлеты предназначались Игорю и попали ко мне по ошибке вместо положенной по диете отварной рыбы, но я успел их съесть и, гордый, что, как все, ем котлеты настоящие, а не паровые на сушках, обводил столовую победоносным взглядом.

Но главной радостью был кружок «Умелые руки». Работал он в первой половине дня, и, пока главврач не сдержала своего слова и не выписала мне на все утро процедуры, я сидел в нем безвылазно. Из больших шкафов разрешалось брать все, что угодно, и это нравилось мне больше всего. Случалось, я не глядя хватал какую-нибудь коробку, спрашивал у воспитательницы: «Можно?» и, получив ответ: «Конечно, можно!», клал коробку обратно. Мне только и надо было лишний раз убедиться, что я могу брать все, что захочется.

Самой замечательной поделкой в кружке была крепость из пластилиновых кирпичей, построенная в прошлую смену старшими ребятами. На башнях ровным кольцом возвышались прямоугольные зубцы. Из проделанных в стенах бойниц торчали крошечные арбалеты, заряженные наточенными спичками. Ворота закрывались сплетенной из полосок тонкой жести решеткой, а через нарисованный на картонном основании синей гуашью ров вел хитроумный разводной мостик, опускавшийся, если покрутить проволочную ручку с наматанной на нее ниткой.

За стенами крепости прятались пластилиновые рыцари с палец величиной. Спину и грудь защищали им латы из блестящей фольги, шлемы украшали раскрашенные подушечные перья, а вооружены они были маленькими жестяными мечами, копьями из канцелярских перьев и одной на всех катапультой, которая, судя по натянутой резинке и пластилиновому ядру, была действующей и готовой к бою.

Крепость поразила меня так, что я боялся к ней прикоснуться и хотел одного — иметь свою такую же. Получив две коробки пластилина и лист картона для основы, мы с Игорем принялись за лепку кирпичей. Десяти штук хватило, чтобы сложить маленькую, длиной и высотой в три кирпича, стену. Мы сде-

лали решетку для ворот, приставили ее к нашей стене и залюбовались. Здорово было чувствовать себя хозяевами крепости! Еще мы успели выгнуть из проволоки ручку для подъемного моста, нашли два канцелярских пера для рыцарских копий и скатали три ядра для будущей катапульты. На этом строительство закончилось. Утром третьего дня медсестра повела меня на лечебный этаж.

Не было на лечебном этаже кабинета, в который мне не пришлось бы зайти! Мне делали электрофорез и светили в горло кварцевой лампой; прикладывали к носу минеральную грязь и заставляли делать упражнения в кабинете физкультуры. Я ходил на массаж и на парафинолечение, на ингаляцию и на минеральные ванны. До обеда процедур все-таки не хватало, но утро уходило на них полностью. А после тихого часа ко мне приходила бабушка...

Бабушка приходила каждый день. Она приносила в круглой пластмассовой сетке с ручками мытую черешню, мытые с мылом и завернутые — каждый по отдельности — в кусочек туалетной бумаги абрикосы, яблоки. Бабушка очень боялась инфекции, мыльной пены казалось ей недостаточно, и яблоки с абрикосами она дополнительно обдавала кипятком из чайника. От этого на их коже появлялись коричневые пятна, и бабушка каждый раз поясняла мне, что это именно от кипятка, а не от порчи.

— Ешь, ешь, не смотри, — говорила она, когда я пальцем расковыривал в теле абрикоса коричневый ожог. — Я скорее сама землю есть буду, чем тебе несвежее дам. Стул у тебя нормальный?

Мой стул, не имевший никакого отношения к мебели, очень волновал бабушку, и дома она даже запрещала спускать воду, пока я не покажу ей, что там и как. В санатории показать я ничего не мог, поэтому приходилось коротко рассказывать. Рассказы мои не нравились. Сваливая все на колит и панкреатит, а не на съеденный накануне килограмм абрикосов, бабушка интересовалась процедурами.

— Носик греют — хорошо, — одобряла она минеральную грязь. — И кварц на миндалины хорошо тебе. А электрофорез — на бронхи. Врач молодец, не такая дура, как я вначале думала. Хотя что проку в этих процедурах, когда стафилококк золотистый... Спали в Сочи с этим карликом втроем в одной кровати, вот ты и подцепил. Съел абрикосы? Черешню бери.

Я ел черешню, слушал бабушку и, складывая косточки ей в кулак, чтобы не мусорить, прикидывал, успею ли во что-нибудь поиграть, когда она уйдет.

Традиционные игры вроде колечка, которым учила нас воспитательница, не были для меня большой потерей, но вместо того, чтобы слушать про стафилококк, можно было бомбить мелкими камушками слепленные из песка танки, запускать в бассейне с рыбками пластилиновые батискафы, делать из проволоки скелетиков, да мало ли что еще...

Но самую интересную в санатории игру придумали старшие ребята. Они рисовали деньги, делали из пластилина пистолеты и, посасывая скрученные из клетчатой бумаги сигареты, каждые пять минут друг друга грабили. Я тоже нарисовал себе деньги и, нарочито выставив их из кармана, расхаживал перед носом самых отъявленных грабителей, ожидая, что вот-вот чей-нибудь пистолет упрется мне в спину. Но нет... На моих глазах произошло уже два ограбления, а на меня словно не обращали внимания. Потом мне объяснили, что деньги, которые я нарисовал, никому не нужны и грабить меня никто не станет. Тогда я отправился в кружок, слепил себе из куска зеленого пластилина пистолет, скрутил из бумаги сигареты и затаился на лестнице, по которой никто никогда не ходил. Держа пистолет наготове, я мусолил во рту бумажную сигаретку и представлял себя прятующимся от грабителей агентом. Тут послышались шаги. Это был Лордкипанидзе.

— Ты что тут дэлаешь? — удивился Лордкипанидзе и вдруг, увидев мой пистолет, обрадовался: — Слушай, у тэбя пластылин! Дай, а то в кружке кончился.

Взяв пистолет у меня из рук, Лордкипанидзе скомкал его и пошел обратно. Вышло так, словно он только за этим поднимался на лестницу, служившую мне тайным укрытием.

Лордкипанидзе вообще сильно отравлял мне жизнь. Он был большой шутник и все время выделывал с нами разные штуки. Это так ему понравилось, что он даже передумал переселяться в палату к Медведеву. Подходя, например, к Заварзину, Лордкипанидзе говорил:

— А сэчас Завагизн Андгей Александрович скажет слово «тракторище» или получит пять пенделей.

Разумеется, Заварзин, для которого буква «р» была камнем преткновения, получал пять пенделей, и мы с Игорем очень смеялись.

Шуткам Лордкипанидзе смеялись не из желания угодить, а потому что действительно было смешно. Не до смеха было только тому, с кем он шутил. Но Лордкипанидзе шутил со всеми по очереди, и, пока одному доставалось, остальным было весело.

Закончив шутить с Заварзиным, Лордкипанидзе подходил к толстому Куранову и объявлял:

— Ну что, пузо, буду тэбя буцкать. Сэчас закат, буду буцкать с заката до расвэта. Потом отдохну, и с расвэта до заката. Надо ж тэбе худэть, а то скоро карсэт на сэми веревках носить придется.— После такого вступления Лордкипанидзе делал Куранову серию боксерских ударов по животу, и, хотя они были шутливыми и не сильными, Куранов скорее от страха, чем от боли, сгибался и валился на кровать.

— Умер! — возвещал Лордкипанидзе.— С прискорбием саабцаю вам о бэзврэменной кончине лучшей нашей боксерской груши Игоряши Куранова.

Я дружил с Курановым, сочувствовал ему, но не мог не смеяться лордкипанидзовским шуткам. И мне было завидно, что насмешить, выдумать «корсет на семи веревках» Лордкипанидзе может, а я нет. Зависть переходила в восхищение, восхищение, в свою очередь, сменялось страхом: закончив с Курановым, Лордкипанидзе принимался шутить со мной.

Он брал меня за ноги и, приговаривая: «Ой, атпущу, атпущу!», начинал крутить в воздухе. Лордкипанидзе был старше и сильнее, в его руках я чувствовал себя, как пара пустых колготок, и покорно ждал, когда шутка кончится. Потом Лордкипанидзе спрашивал:

— Ну, Пацарапаный Нос, что скажешь?

Прозвище «Поцарапаный нос» родилось в тихий час, когда Лордкипанидзе попросил меня закрыть глаза. Я закрыл, а он защемил мне нос хирургическим пинцетом и провел. На носу остались с двух сторон длинные царапины, и появилось прозвище, над которым все очень смеялись.

— Так что скажешь, Пацарапаный Нос? Сильный я?

— Сильный...

— Пощупай...

Лордкипанидзе напрягал согнутую в локте руку, и я почтительно щупал.

— А тэперь извинись!

С этими словами Лордкипанидзе делал мне «сливку», я неосторожно поднимал руки, чтобы схватиться за нос, и получал впридачу «бубенчики». «Бубенчики» были самой неприятной шуткой из всех. Они напоминали «сливку», только вместо носа дергалась та часть тела, на которую я до санатория совсем не обращал внимания и замечал только, что, купая меня, бабушка мыла ее с особой осторожностью. «Бубенчиков» Лордкипанидзе надергал мне столько, что потом в ванной, стоило бабушке протянуть руку с мочалкой, я тут же привычно сгибался и закрывался руками.

Но самой затейливой выдумкой Лордкипанидзе были деньги. Старшим ребятам надоело играть в грабителей, и нарисованные «Фикси-Фоксы» стали ненужными. Лордкипанидзе забрал их себе, и в его руках они приобрели не игровую, а реальную цену. «Фикси-Фоксами» можно было откупиться от пенделей, «бубенчиков» и от чего угодно.

— Ну что, пузо, буду тебя буцкать,— говорил Лордкипанидзе Куранову.— Буду буцкать, или плати пять «Фикси-Фоксов».

Куранов платил, и Лордкипанидзе ничего ему не делал.

Разумеется, чтобы платить, «Фикси-Фоксы» надо было сначала зарабатывать. Раза три в день Лордкипанидзе подходил к нам с кульком, в котором были туго завернутые бумажки, и объявлял лотерею. Мы тянули и вытягивали — кто пять «Фикси-Фоксов», кто десять, а кто бумажку с надписью «пять пенделей» или «десять отжиманий». Бумажек с пенделями лежало в кульке намного больше. Были и другие способы заработка. Как-то в холле Лордкипанидзе предложил нам с Игорем бороться и сказал, что победитель получит двадцать «Фикси-Фоксов». Я не понимал, зачем нам бороться, если мы друзья, но Игорь повалил меня, ударил головой о горшок с фикусом и стал душить. Лордкипанидзе сказал, что он победил, и дал ему положенные «Фикси-Фоксы».

Ценность «Фикси-Фоксов» не вызывала сомнений. Если после утренней лотереи в кармане хрустели десять — пятнадцать, за предстоящий день можно было не нервничать; если хрустело двадцать — тридцать, можно было почувст-

зовать себя королем и до вечера расслабиться. В лотереях мне обычно не везло, и вскоре я стал обменивать на «Фикси-Фоксы» бабушкины передачи. Абрикосы в туалетной бумаге шли у Лордкипанидзе по пяти «Фикси-Фоксов» штуки.

К сожалению, «Фикси-Фоксами» нельзя было откупиться от медсестер, которые омрачали мой отдых гораздо больше Лордкипанидзе. Их было четверо, и сменялись они с очередностью, которую мы никак не могли установить. Добрая медсестра была одна. Звали ее Лена, и все ее очень любили.

— Сегодня Лена будет! — сообщал кто-нибудь, и это принималось как радостное известие.

Когда она дежурила, можно было смотреть телевизор дольше обычного, тихонько перешептываться и даже смеяться. Если веселье разгоралось слишком сильно, Лена подходила к дверям палаты и говорила: «Тихо!» Больше она ничего не делала, потому что, как я уже сказал, была добрая. Остальные сестры были злые.

Главной особенностью палат были разделявшие их стеклянные стены. Отделение просматривалось насквозь, и медсестра могла следить за всеми, не уходя со своего поста. Ночью через зеленоватую муть стекол мы видели далекое зарево настольной лампы и знали, стоит нам засмеяться, устроить какую-нибудь возню, тут же ворвется она...

«Ну, кому тут не спится?!» — спрашивала злая медсестра, и, хотя все притворялись спящими, кого-нибудь одного поднимала с кровати и выставляла в холл. Это наказание было самым безобидным. Лордкипанидзе отправили однажды стоять в палату к девочкам, а меня за попытку сходить ночью в столовую за хлебом повели в процедурный кабинет. Это место и при дневном свете было самым страшным в санатории, а ночью от его вида у меня потемнело в глазах.

— Ну что, Савельев, не хочешь спать? — спросила медсестра, и голос ее гулко звучал в окружении чистого белого кафеля. — Сейчас захочешь. Ну-ка садись...

Открыв стерилизатор, медсестра достала блестящую железную коробку, и я услышал, как шуршат в ней звонким металлическим шорохом иглы.

— Сейчас пару пробирочек возьму из вены, заснешь, как миленький. Давай, закатывай рукав...

Не помню, что я, трясаясь от страха, говорил, как извинялся, но кровь у меня не взяли. Оттаскав немного за волосы, медсестра отвела меня обратно в палату, и, глубоко вздохнув, я тут же заснул. В столовую я больше ходить не пытался.

Но самыми неприятными были ночи, когда оставались дежурить сразу две злые медсестры. Войдя в палату по поводу какого-нибудь очередного скрипа, они становились на пороге и начинали выдумывать, что и кому будут сейчас делать.

— Ну что, Савельева в холл выставим или к девочкам? По-моему, они его еще не видели.

— И не надо! Чего им на такого дистрофика смотреть, пугаться только. Лучше Куранова. А у Савельева я кровь возьму. Хотя нет, позавчера хотела, так он чуть не обосрался. Отмывать его потом... Заварзин, а ты чего улыбаешься, смешно тебе? Ну пойдем со мной, вместе посмеемся. Вставай, я знаю, что ты не спишь. Сейчас тебе будет весело. — И Заварзину делали в процедурном два укола.

Медсестер мы считали заклятыми врагами, и свою ненависть выражали кто как мог. Лордкипанидзе сочинил песню «Нас было четверо в палате», в которой на мотив «Интернационала» пелось о готовности бороться с ними до конца, а я решил организовать повстанческую группу. Не полагаясь на Куранова и Заварзина, руководить которыми было бы сложно, я собрал около себя ребят помладше — девочку и двух мальчиков из соседней палаты — и сказал, что мы теперь подпольная организация, будем делать медсестрам тайные диверсии, а я буду главный.

Для начала я велел своим диверсантам выучить песню «Нас было четверо в палате». Диверсанты отдали мне листок со словами неразвернутым, потому что, оказалось, не умели читать. Это открытие порядком меня озадачило, так как я уже составил шифр, которым мы должны были писать друг другу тайные записки. Буквам соответствовали цифры и, сверяясь с таблицей, можно было распознать, за какой цифрой какая буква кроется. Увы, чтобы распознать, какой смысл кроется, в свою очередь, за буквами, диверсантам в придачу к таб-

лицам понадобился бы букварь. На этом деятельность повстанческой группы закончилась, но зато я почувствовал, что такое быть главным и как это здорово.

А вот Лордкипанидзе мы с Курановым попытались отомстить более действенно. Лично ему мы бы, конечно, сделать ничего не осмелились, но у него в шестой палате была подружка, на которой мы решили отыграться за все «бубенчики» и за все «Фикси-Фоксы».

Подружке Лордкипанидзе было лет двенадцать. Звали ее Оля. Она была очень бледная, говорила тихим голосом и ходила в синем платье с маленькими желтыми цветочками. Во взгляде ее больших серых глаз плавала печаль. Оля любила своего дедушку, а дедушка не мог ее часто навещать. Каждые полчаса Оля подходила к воспитательнице, медсестре или кому-нибудь из ребят, поднимала огромные, как у лемура, глаза и с тоской спрашивала:

— Как вы думаете, мой дедушка сегодня придет?

Сначала ей отвечали ласково. Потом сдержанно. Через неделю от нее стоял весь санаторий. Если утром воспитательница отвечала ей, что дедушка придет вот-вот, а медсестра после обеда уверяла, что придет со дня на день, после ужина Оля считала своим долгом отследить их обеих и с упреком сказать:

— Вот видите... День прошел, а он не приехал. Может, он вообще больше не придет ко мне. У него столько дел. Я думала, он вчера придет, и вы говорили... но был такой дождь. Понимаете, если будет дождь, он не придет. У него шофер, а дорога такая скользкая... Как вы думаете, завтра дождь будет?

— Нет. Не будет дождя,— отвечала добрая сестра Лена, закатывая глаза, как от зубной боли.

— А если не будет, почему же он тогда не придет?

Дедушка приезжал к Оле раз в неделю. Он не привозил ни черешни, ни абрикосов. Просто садился с Олей на скамейку, обнимал ее и гладил по голове. Оля шурилась от счастья, а воспитательница и медсестра получали короткую передышку.

Единственным, кто не злился на Олю, был Лордкипанидзе. Он играл с ней в настольный теннис, садился рядом смотреть телевизор, охотно участвовал в разговорах про дедушку и все время безуспешно пытался рассмешить. В ответ на его шутки Оля вздыхала и тихо с укором говорила:

— Леш...

Их дружба казалась нам серьезной, неведомой и недосягаемой областью жизни старших. Мы чувствовали, что в ней кроется какая-то тайна, и именно из-за этой тайны, навредив как-нибудь Оле, можно отомстить Лордкипанидзе. Посовещавшись, мы с Игорем решили насовать ей в кровать кузнечиков.

Вечером, когда все смотрели телевизор, мы пробрались в шестую палату и посадили под одеяло Олиной постели кузнечиков пять или шесть. После отбоя послышался страшный визг, а утром следующего дня Лордкипанидзе вел нас извиняться. Он привел нас за выкрученные уши, и, хотя извинялись мы от души, это не спасло нас вечером от особо звонких «бубенчиков», как не спасли от них и сорок «Фикси-Фоксов», полученных мной накануне за три килограмма бабушкиной семеренки.

Когда до конца отдыха осталось три дня, воспитательница собрала всех нас в холле и сказала, что мы пойдем в город покупать сувениры. Она достала листок с именами и по порядку стала всем выдавать по рублю. Я никогда еще не держал в руках настоящих денег, и рубль, который воспитательница вручила мне, поставив против моей фамилии жирную галочку, казался залогом невообразимого счастья. Я бережно перегнул его пополам, спрятал в нагрудный карман рубашки и щупал каждые пять минут.

В магазине оказалось, что рубля для счастья недостаточно. Сувениры стоили дороже. У ребят были еще свои деньги, они добавляли и покупали все, что хотели. Игорь купил бронзового козла, Заварзин — красивый глиняный поильник, Лордкипанидзе — настоящий барометр. Неужели я вернусь в Москву с пустыми руками?! Я осмотрел все витрины и нашел пластмассовый Царь-колокол, который стоил девяносто копеек. С радостью отдав за него свой рубль, я получил десять копеек сдачи и довольный вышел из магазина. Дома бабушка сказала, что привезти из Железноводска московский сувенир может только кретин вроде моего дедушки.

Купив сувениры, мы до самого обеда гуляли по городу. Повсюду продавали сахарную вату, и ребята, у которых оставались деньги, уписывали ее за обе

щеки. На свои десять копеек я купил крохотную щепотку и медленно ел, чтобы все видели. В тихий час к нам в палату вошла главврач:

— Куранов, ты сахарную вату ел с ребятами?

— Нет, — ответил Игорь, потративший все деньги на козла, которым любовался теперь, поворачивая его на тумбочке то так, то этак.

— А ты, Савельев?

— Ел! — гордо ответил я.

— Одевайся, пойдем со мной.

Оказалось, вата — страшная отравка и теперь мне должны были поставить в процедурном кабинете огромную клизму! Перед дверью, из-за которой доносились приглушенные стоны, сидел уже Лордкипанидзе.

— Я только чуть-чуть... — робко проронил я.

— «Чуть-чуть» — передразнила главврач, усаживая меня на стул. — У тебя заворот кишок, а мне адвокатов нанимать от твоей бабушки? Нет, спасибо!

Из процедурного кабинета вышел и осторожно поспешил в туалет Заварзин. Нехотя пошел на его место Лордкипанидзе. За ним настала моя очередь.

Лежа на холодной клеенчатой кушетке, я думал о правоте бабушки, которая говорила: «Как все, хочешь быть? А если все будут вешаться?!» Дорого обошлась мне сахарная вата!

Хотя отдых в Железноводске был самым ярким событием моей семилетней жизни, воспоминания о нем остались не очень счастливые, и я надолго превратил их в игры и фантазии, о которых хочу в заключение рассказать.

Я всегда знал, что я самый больной и хуже меня не бывает, но иногда позволял себе думать, что все наоборот и я как раз самый лучший, самый сильный, и дай только волю, я всем покажу. Воли мне никто не давал, и я сам брал ее в играх, разворачивавшихся, когда никого не было дома, и в фантазиях, посещавших меня перед сном.

Как-то бабушка показала пальцем в телевизор, где показывали юношеские мотогонки, и восторженно сказала:

— Есть же дети!

Эту фразу я слышал уже по поводу детского хора, юных техников и ансамбля детского танца, и каждый раз она выводила меня из себя.

— А я их обгоню! — заявил я, при том, что даже на маленьком велосипеде «Бабочка» ездил с колесиками по бокам заднего колеса и только по квартире. Разумеется, я не думал, что могу обогнать мотоциклистов, но мне очень хотелось сказать, что я обгоню, и услышать в ответ: «Конечно, обгонишь!»

— Ты?! — презрительно удивилась в ответ бабушка. — Да ты посмотри на себя! Они здоровые лбы, ездят на мотоциклах, тебя, срань, плевком перешибут!

Я замолчал и с тех пор играл в такую игру: когда бабушка давала мне тарелку с нарезанным на кружочки бананом, я представлял, что это мотоциклисты.

— Да мы все здоровые, ездим на мотоциклах, тебя плевком перешибем! — говорил я за первый кружочек, представляя, что это самый главный мотоциклист-предводитель.

— Ну попробуй! — отвечал я ему и с аппетитом съедал.

— А-а! Он съел нашего самого главного! — кричали остальные кружочки-мотоциклисты, и из их толпы выходил на край тарелки следующий — самый главный предводитель. Есть простых мотоциклистов было неинтересно.

— Теперь я самый главный! — говорил второй мотоциклист. — Я перешибу тебя!

Под конец на тарелке оставался последний кружок, который оказывался самым главным предводителем из всех. Он обычно дольше всех грозился меня перешибить, дольше всех умолял о пощаде, и его я съедал с особым аппетитом.

Но чаще всего громил я в играх и фантазиях санаторий «Дубровка». Пока я был там, я принимал события такими, какими они были, не думал, нравятся они мне или нет, и о самых неприятных происшествиях вроде крови из вены или поцарапанного носа забывал, как только они расплывались в недалеком прошлом. Дома же я припоминал все...

Оставшись один, я набивал карманы старыми батарейками от приемника, надевал на голову невесту откуда взявшийся у нас десантный берет, брал в руки деревянный меч, висевший над дедушкиной кроватью, и врвался в спальню, представляя, что это санаторий. За спиной у меня были воображаемые де-

сантники. Все они были моего возраста и беспрекословно слушались. Среди них были Заварзин и Куранов.

— Вперед! — кричал я, и десантники с криками занимали отделение.

— Это он! — в ужасе вопили разбежавшиеся медсестры. — Савельев с десантниками!!!

Я выхватывал из карманов батарейки и швырял их одну за другой под шкаф, под трюмо, под бабушкину кровать. Это были гранаты. Ба-бах! Ба-бах! Взрывалась столовая, разлетался пост медсестры, в куски разносило процедурный кабинет. Ба-бах! Ба-бах! Летела по коридору отварная рыба, сыпались разделявшие палаты стекла, звенели рассыпавшиеся по полу шприцы и иглы. Десантники топтали их сапогами и спрашивали, что делать дальше.

— Этих ловите! — кричал я, указывая пальцем в воображаемые спины убежавших медсестер.

— Не надо! Мы больше не будем! — умоляли медсестры. С ними вместе молила о пощаде добрая Лена. Но у нее в глазах была вместо ужаса надежда. Она знала, что я не трону ее.

— Эту отпустите. Пусть укроется в торцевой, — приказывал я, и десантники прятали Лену от пуль за коробками с кубиками. — А этих вяжите!

Злых медсестер десантники связывали по рукам и ногам и складывали рядком между сломанным фикусом и разбитым телевизором, которому не суждено было больше показывать первую программу.

— Ну что? — сурово спрашивал я, щекоча медсестер под подбородком острием своего меча. — Поняли, с кем дело имеете? Смотрите не обосритесь, а то отмывать вас потом...

Перед сном я обычно расправлялся с Лордкипанидзе. Я представлял, как он делает мне «бубенчики», и нажимал пальцем на ладонь. Это означало, что я нажал кнопку воображаемого дистанционного пульта. В блестящем линолеуме палаты открывались маленькие люки, и из них, грозно шипя и извиваясь, выползали огромные кобры с рубиново-красными глазами и в фуражках с высокими тульями. Кобр в фуражках я видел на рисунке в газете. Одну звали Пентагон, а другую — НАТО. Они понравились мне своим хищным видом и в фантазиях стали лучшими друзьями и заступниками. Шипя и скаля ужасные пасти, они обвивали Лордкипанидзе и, преданно глядя на меня красными глазами, ждали одного слова, чтобы задушить его или закусать до смерти. Но в палату вбегала в синем с цветочками платье Оля и тихо говорила:

— Саш...

Я задумывался, нажимал на пульте другую кнопку, и кобры, разочарованно шурша, уползали в свои люки. Лордкипанидзе падал на колени, а я небрежно указывал на Олю и говорил:

— Ей спасибо скажи, а то жрали бы тебя с рассвета до заката...

Фантазии будоражили меня так, что я не мог заснуть, снова вспоминал обиды и снова разворачивал перед глазами красочную месть, которая кончалась обычно мольбами о пощаде и снисходительным прощением. Фантазии такие посещали меня очень долго. В санаторий бабушка ездила со мной три года подряд.

ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ

Я много болел и по прогнозам бабушки должен был сгнить годам к шестнадцати, чтобы оказаться на том свете. Тот свет виделся мне чем-то вроде кухонного мусоропровода, который был границей, где прекращалось существование вещей. Все, что попадало в его ковш, исчезало до ужаса безвозвратно. Сломанное можно было починить, потеряное найти, о выброшенном в мусоропровод можно было только помнить или забыть. Если бабушка что-то отбирала, я знал: пока не закрылся ковш, вещь существует, есть надежда выпросить ее обратно или хотя бы еще увидеть: если ковш закрылся, существование отобранного прекратилось навсегда.

Как-то мама подарила мне набор инструментов, где среди прочего был маленький молоток. Я постучал им по спинке бабушкиной кровати, оставив на ней несколько вмятин, за что дедушка отобрал молоток и унес его на кухню. Тут же я услышал, как хлопнул ковш мусоропровода. Поняв, что мамин молоток про-

пал и я никогда его больше не увижу, я заплакал, как не плакал ни разу в жизни. Ковш закрылся... мамин подарок... больше никогда! Никогда!

Никогда. Это слово вспыхивало перед глазами, жгло их своим ужасным смыслом, и слезы лились неостановимым потоком. Слову «никогда» невозможно было сопротивляться. Стоило мне немного успокоиться, «никогда» настойчиво поднималось откуда-то из груди, заполняло меня целиком и выжимало новые потоки слез, которые, казалось, давно должны были кончиться. На «никогда» нельзя было найти утешения, и я даже не хотел смотреть, что сует мне в руки дедушка. А дедушка совал молоток. Оказалось, он просто спрятал его в свой ящик, а мусоропровод хлопнул, потому что бабушка выбрасывала мусор. Я с трудом успокоился и, держа молоток в руках, все еще не мог поверить, что снова вижу его, а ужасное «никогда» отступило и не будет больше меня мучить.

«Никогда» было самым страшным в моем представлении о смерти. Я хорошо представлял, как придется лежать одному в земле на кладбище под крестом, никогда не вставать, видеть только темноту и слышать шуршание червей, которые ели бы меня, а я не мог бы их отогнать. Это было так страшно, что я все время думал, как этого избежать.

«Я попрошу маму похоронить меня дома за плинтусом,— придумал я однажды.— Там не будет червей, не будет темноты. Мама будет ходить мимо, я буду смотреть на нее из щели, и мне не будет так страшно, как если бы меня похоронили на кладбище».

Когда мне пришла в голову такая прекрасная мысль — быть похороненным за маминим плинтусом, то единственным сомнением было то, что бабушка могла меня маме не отдать. А видеть из-под плинтуса бабушку мне не хотелось. Я так прямо у бабушки и спросил: «Когда я умру, можно меня похоронят у мамы за плинтусом?» Бабушка ответила, что я безнадежный кретин и могу быть похоронен только на задворках психиатрической клиники. Кроме того, оказалось, что бабушка ждет не дождется, когда за плинтусом похоронят мою маму, и чем скорее это случится, тем лучше. Я испугался задворок психиатрической клиники и решил к вопросу похорон пока не возвращаться, а годам к шестнадцати, когда совсем сгнию, поставить его ребром: последняя воля усыпавшего — и все тут. Бабушка не открутится, а мама будет только рада, что меня похоронят совсем рядом.

Мысли о скорой смерти беспокоили меня часто. Я боялся рисовать кресты, класть крест-накрест карандаши, даже писать букву «х». Встречая в читаемой книге слово «смерть», старался не видеть его, но, пропустив строчку с этим словом, возвращался к ней вновь и вновь и все-таки видел. Тогда становилось понятно, что плинтуса не избежать.

Болея я часто, а лечился все время. И было непонятно, почему, если лечусь, все равно болею. Когда я задавал бабушке этот вопрос, она отвечала: «Не лечился бы, давно издох», — и давала мне какую-нибудь таблетку.

Я лечился от всего, но болел не всем, кое-что у меня было здорово, например, зрение. И, когда окулист что-то там все же нашел, я сказал бабушке: «Бабушка, единственное, что у меня было здоровое,— это глаза!» И разрыдался. Эту мою фразу бабушка всем потом с умилением приводила. Но, когда я заболел по-настоящему, она не умилилась.

Я был очень завистлив и страшно завидовал тем, кто умеет что-то, чего не умею я. Так как не умел я ничего, поводов для зависти было много. Я не умел лазить по деревьям, играть в футбол, драться, плавать. Читая «Алису в стране чудес», я дошел до строк, где говорилось, что героиня умеет плавать, и от зависти мне стало душно. Я взял ручку и приписал перед словом «умеет» частицу «не». Дышать стало легче, но ненадолго — в тот же день по телевизору показали младенцев, умеющих плавать раньше, чем ходить. Я смотрел на них испепеляющим взглядом и втайне желал, чтоб ходить они так и не научились.

Больше всего я завидовал «моржам».

«Люди в проруби купаются, а я болею все время и в трех шарфах хожу, — думал я, зло глядя в телевизор, где шла передача о закаливании.— А может, зря бабушка меня так кутает, может, я тоже, как «морж», смогу?»

Терпенье лопнуло, когда я увидел выбежавшего из бани на снег трехлетнего карапуза. Обида была страшная! Утешался я лишь тем, что старше и могу хорошенько дать карапузу по мозгам. Тешиться пришлось недолго. Я вспомнил, что к шестнадцати сгнию, и понял, что возраст против меня. А карапуз улыбнулся малозубым ртом и резво побежал вдаль по снегу. Гнить он не соби-рался.

«У, оскаллился, зараза! — подумал я. — Хоть бы ты замерз там!»

Карапуз в ответ засмеялся и стал закапываться в снег с головой. Это уже было невыносимо!

За окном свистнул ветер. Балконная дверь скрипнула. Бабушки дома не было. Я скинул шерстяную кофту и рубашку, открыл балкон и шагнул навстречу косо падающему снегу.

Стоял январь, и мороз был таким, каким полагалось ему быть в середине зимы. Ветер крутанул вокруг меня снежную пыль, глубокий вздох застыл в груди ледяным осколком. В голове осталась одна мысль: «Замерз!», остальные улетели вместе с ветром, завертелись поземкой, унеслись прочь. Вернувшись из объятий звенящего мороза в пахнущее жучками тепло комнаты, я закрыл балконную дверь, неподдающимися руками натянул одежду и пошел на кухню согреться горячим чаем.

Налив в чайник воды и поставив его на плиту, я стал разжигать газ. Согреться я еще не успел, и спички ломались в пальцах. С четвертого раза я зажег огонь, сел подле чайника на табурет и протянул руки к голубым язычкам пламени. Маленький чайник закипел быстро. Я выключил газ, нашел на столе заварку и сделал себе крепкого горячего чаю.

Чай разнес тепло по всему телу. Захотелось лечь под одеяло и полежать. Я лег, и тогда меня словно укутало теплое облако. Вскоре я уснул.

От прохладного прикосновения ко лбу я проснулся и увидел склонившуюся надо мной бабушку.

— Плохо чувствуешь себя, Сашенька? — спросила бабушка, убирая руку. — Болит что-нибудь?

— Нет, не болит.

— А что? Может, слабость такая, знаешь, ломит все?

— Нет у меня слабости. Прилег просто и уснул.

— Ну вставай, — сказала бабушка и вышла из комнаты.

Встать не хотелось. Я согрелся в кровати и действительно, здесь бабушка угадала, испытывал слабость.

«Может, мне где-нибудь ломит?» — подумал я и, закрыв глаза, стал прислушиваться к своим ощущениям.

Ой, как ломит под мышкой! Прямо как будто там сверлят дырку. И сильнее, сильнее...

Я открыл глаза. Бабушка совала мне под мышку градусник, поворачивая его туда-сюда, чтобы он встал получше. Оказывается, я снова уснул.

— Сейчас тутульки смерим, — сказала бабушка, поставив наконец градусник, как ей хотелось. — Ты, когда был маленький, говорил «тутульки». А еще ты говорил «дидивот», вместо «идиот». Сидишь в манежике, бывало, зассанный весь. Ручками машешь и кричишь: «Я дидивот! Я дидивот!» Я подойду, сменю тебе простынки. Поправлю ласково: «Не дидивот, Сашенька, а идиот». А ты опять: «Дидивот! Дидивот!» Такая лапочка был...

Бабушкина рука, нежно гладившая меня по голове, вздрогнула.

— Господи, температура жарит, лоб горит. За что этот ребенок несчастный так страдает? Пошли мне, Господи, часть его мук. Я старая, мне терять нечего. Смилуйся, Господи! Верно говорят: «За грехи родителей расплачиваются дети». Ты, Сашенька, страдаешь за свою мать, которая только и делала, что таскалась. А я стирала твои пеленки и на больных ногах носила продукты и убирала квартиру.

Соленая капля упала мне на губы. Бабушка продолжала что-то говорить, но теперь ее слова заглушались шумом, и до того звучащим у меня в ушах, но усилившимся сейчас. Громче. Громче. Вот уже совсем не слышно бабушки, один шум...

Прибой. Значит, близко море. Нет, это не море, я в ванной. Интересно, в ванной есть прибой? Конечно, есть, ведь я его слышу. Ой, какая горячая вода, как же здесь рыбы живут? Нырну, посмотрю. Ага, вот и рыба! Прямо на меня плывет. Сейчас спрошу у нее: как вы здесь живете, не горячо ли? Как к ней по-вежливей обратиться?..

Но рыба, не доплыв до меня, свернула и заплыла в раскрывшуюся вдруг перед ней в стенке ванной дверь.

— Где была? — спросили оттуда.

— Таскалась, — ответила рыба.

Дверь захлопнулась.

Шум прибоя усилился.

«Будет шторм,— подумал я.— Куда бы спрятаться? Может, к рыбе? А устят?»

Тут ко мне подплыла мочалка. В ней открылся люк, и из него высунулась бабушка.

— Слабохарактерные кончают жизнь в тюрьме,— сказала она.— Ну-ка выныривай!

Я послушался.

Над водой стояла тьма, лишь вдалеке ее нарушал тусклый красный огонек рефлектора.

— Тридцать девять и пять,— слышался голос сверху.

Тусклый огонек рефлектора стал разгораться, ярко вспыхнул и, превратившись в настольную лампу, осветил все вокруг.

Я лежал на кровати. Бабушка сидела рядом и прятала градусник в футлярчик. Лицо у нее было заплакано.

— Ну как тебе, Сашенька?

— Плохо, баба,— ответил я.

Перед глазами у меня была комната, но тело мое словно осталось там, в горячей ванне, и изредка по нему проводили холодной струей из опущенного в эту же ванну душа.

«Так это не прибор шумит, а душ. Как я сразу не догадался? Душ в ванной есть, а прибор откуда? В ванной прибор — глупая мысль. А что делать, если пришла глупая мысль? Надо ее скорее заменить умной. Где у меня умная мысль? Куда же она подевалась, черт побери, ведь была только что...»

— Взяла билет на поезд и уехала,— сказал кривоногий человечек в зеленом, высунувшись из-за колокола.

«Откуда колокол?» — подумал я.

— Всегда здесь стоял,— объяснил человечек, взял кувалду и стал лупить по колоколу изо всех сил.

— Тише,— сказала ему кувалда.— Сейчас пройдет процессия с большим барабаном, не забудь отдать честь.

Человечек бросил кувалду, достал из кармана паровую молотилку и стал молотить честь, чтобы легче было ее отдавать.

Вдали показалась процессия с большим барабаном. Барабан был не просто большим. Он был таким, что его приближение вызывало ужас. Было ясно, что, приблизившись, он поглотит своими размерами все. Процессии видно не было. Барабан поглотил ее и плыл по воздуху сам. Все ближе и ближе. БУМ-ММ. Барабан приближается, он бьет сам в себя изнутри, словно в нем бьется все поглощенное. БУМ-ММ. Вот он совсем близко, скоро поглотит и меня. Что же делать? Кажется, надо отдать ему честь. Чем бы раздробить ее? Громада барабана выросла надо мной. Сейчас он ударит сам в себя. Это неотвратимо. Я чувствую, как через несколько мгновений исчезну и стану его частицей. Барабан медлит. Он ждет, отдадут ли ему честь. Но почему я должен делать это первым? Пусть первым будет зеленый человечек!

Что это? Стук его молотилки усилился. Да и сама молотилка стала вдруг увеличиваться в размерах. Она становится больше и больше, но все еще ничтожно мала по сравнению с барабаном. Стук ее превращается в страшный грохот, но против боя барабана это лишь слабое жужжание.

— БУМ-ММ, БУМ-ММ! — забил надо мной большой барабан и покати́лся на молотилку.

— ГР-РАХ,— удесятерился ее грохот, перекрыв этот бой, и, разом став вдвое больше барабана, молотилка понеслась ему навстречу. «Они столкнутся! Столкнутся прямо надо мной!» — понял я и со стоном открыл глаза.

— Просто пышет весь, Галина Сергевна. Хрипов вроде нет, но ведь будут, без астматического компонента ни разу еще не обходилось. Аспирин ему нельзя... и анальгин тоже. Вы же знаете, с его почечной недостаточностью жаропонижающее — яд.— Бабушка сидела на кровати рядом со мной и говорила по телефону.— Хорошо, попробую поставить клизму. Даже не знаю, где этот урод простудиться успел. Нет, урод! Урод, потому что нормальные дети за три часа, пока никого дома нет, не простужаются. Я ушла, он был здоров. То есть здоров-то он с рожденья не был, но хоть ходил, и температура была нормальная, а сейчас головы поднять не может. Хорошо, завтра в десять я буду ждать. Галина Сергевна, милая, возьмите на всякий случай порошки Звягинцевой, я вам отдам деньги... Да что вы! Копейка рубль бережет, а врачам пока зарплату не поднимают. В десять я вас жду. Все хорошего.

Бабушка положила трубку.

— Ну как ты? — спросила она меня.

— Я видел страшный барабан, — ответил я.

— Тебя бы на барабан натянули, как ты мне надоел! Завтра в десять придет Галина Сергевна, посмотрит тебя.

Галина Сергевна была моим лечащим врачом, и ни одна моя болезнь без трех-четырех ее появлений не обходилась. А если количество этих появлений помножить на количество моих болезней, то получалось, что видел я ее очень и очень часто.

«Неудобно уже перед ней, — думал я. — Ни к кому, наверное, столько не ездит. Не успеет выписать справку и сказать: «Ну все, Саша, всего хорошего, не болей», как уже надо снова ко мне ехать. Завтра вот опять...»

Бабушка ушла на кухню и спустя минут пять вернулась с чашкой, от которой исходил запах ошпаренного веника.

— Выпей. — Бабушка поднесла чашку к моим губам.

Это была какая-то новая комбинация трав. Бабушка была мастером по части разных отваров, и из скромного количества трав, имевшихся в ближайшей аптеке, варила пошла, запах которых был самым разнообразным, вкус тоже, а бабушка уверяла меня, что и лечебные свойства у них разные, для каждого случая строго определенные. Веря бабушке, я выпил новый настой и откинулся на подушку.

— Лежи, котик, — сказала бабушка. — Через полчаса я тебе клизмочку жаропонижающую поставлю. Токсины выйдут, и температура упадет градуса на полтора. С ромашкой поставлю.

Бабушка вышла и вскоре вернулась с внушительной «клизмочкой», напомнимшей мне своими размерами Железноводск и сахарную вату.

— Ложись на бочок, как волчок. Сейчас с ромашечкой «чок-чок», и температура упадет. Во бабка у тебя, стихами шпарит. Ну давай, поворачивайся. — И бабушка смазала наконечник из блестящей продолговатой баночки.

Пока ромашка вымывала токсины, я размышлял о судьбе.

«Вот цветы, — думал я, любуясь значительностью своих мыслей. — Ромашки. Они могли бы расти в поле, на них могли бы гадать «любит, не любит», а что с ними вместо этого стало? Вот она, судьба, про которую так часто говорит бабушка. А какая судьба может постичь меня?»

Тут клизмочка кончилась, и размышления о судьбе прервались более важным мероприятием, после которого температура у меня действительно упала.

— Бабонька, дай мне яблочко погрызть, — попросил я.

Бабушка пошла в другую комнату за яблочком, а я стал думать, о чем бы попросить еще. Болея, я часто просил бабушку о том, что мне на самом деле не было нужно, или специально говорил, что у меня заложило нос или болит горло. Мне нравилось, как бабушка суетится около меня с каплями и полосканиями, называет Сашенькой, а не проклятой сволочью, просит дедушку говорить тише и сама старается ходить неслышно. Болезнь давала мне то, чего не могли дать даже сделанные без единой ошибки уроки, — бабушкино одобрение. Она, конечно, не хвалила меня за то, что я заболел, но вела себя так, словно я молодец, достойно отличился и заслужил наконец хорошего отношения. Хотя иногда доставалось мне и больному...

— Подлец! — закричала бабушка, вернувшись безо всякого яблочка. — Я ломаю голову, отчего ты заболел, а ты заболел оттого, что ты идиот!

— Баба, не ругайся. Я больной, — напомнил я, призывая соблюдать правила.

— Ты больной на голову, тяжело и неизлечимо! Какого черта ты выходил на балкон?

— Я не выходил...

— Большого кретина с фонарем не сыщешь. Только отболел и выперся на мороз. Конечно, не оделся...

— С чего ты взяла, что я выходил на балкон? Я не подходил к нему.

— А следы откуда там не снегу? С прошлой зимы, да?

«Ах, черт! — понял я. — Яблочка захотелось! Они лежали на окне, бабушка подошла и увидела следы, которые еще не замело. Что же сказать ей?»

— Бабонька, да это не мои следы, — сказал я.

— А чьи? Чьи они?

— Все очень просто! Ты не волнуйся. Понимаешь, с верхнего балкона на наш упали тапочки...

— И что?!

—... и оставили следы.

— Белые бы тебе тапочки упали! Лежали бы там до моего прихода. Зачем тебе надо было брать их?

— Я не брал! Говорю же тебе, я на балкон не выходил.

— Не надо считать бабушку идиоткой! Я еще из ума не выжила. Если они упали, а ты их не брал, так где же они?

— Где... Их вороны унесли. Они, знаешь, блестящее любят, а тапочки блестящие были, серебристые... С пумпончиками.

— Пумпончики... Бреешь как сивый мерин. Ну ничего, скоро придет дедушка, мы вместе разберемся.

Дедушка не заставил себя долго ждать и прямо с порога был посвящен в курс событий.

— Сенечка, этот сволочной идиот снова заболел. Я его оставила одного, а он выперся на балкон за какими-то тапочками. Говорит, что не выходил и тапочки унесли вороны, а я думаю — выкручивается. Сам скорее всего вышел и кинул ими в кого-нибудь.

— Где тапочки? — спросил дедушка.

— Чем ты слушаешь, бревно?! Только что объясняла. Он говорит, что их унесли вороны...

— Чего ты орешь сразу? Я спрашиваю, где мои тапочки?

— Наверное, эта сволочь и их выкинул! Зачем ты, гад, дедины тапочки выкинул, а?! — крикнула бабушка из коридора.

— А вот они.— Дедушка нашел свои тапочки, сел и попросил бабушку рассказать все сначала.

— Глухим, Сенечка, два раза не повторяют. В общем, упали на балкон сверху тапочки. Этот кретин за ними вышел, а сам врет, что не выходил и что их вороны унесли.

— Врет, конечно,— согласился дедушка.— А тапочки хорошие?

— Господи, за что я живу с идиотами?! Тебе же объясняют, что он их выкинул!

— Ну и черт с ними, Нина. У тебя что, тапочек нет?

— Вот ведь тугодум, наказание господнее! Да не в том дело, что он их выкинул, а в том, что вышел на балкон раздетый и заболел.

— Заболел? У-уу...

Дедушка вошел в комнату, где лежал я.

— Как же ты так? — спросил он.

— Как всегда,— ответила за меня вошедшая следом бабушка.— Это же ненормальный ребенок. То набегается и вспотеет, то ноги промочит. Теперь вот на балкон вылез. А эта сволочь сверху тоже хороша. Кто же кидает с балкона тапочки, если внизу больной на голову ребенок живет? А если бы он за ними вниз прыгнул?

— Да, эгоисты. Только о себе и думают, только о себе,— сказал дедушка и сел на край моей кровати.— Анекдот хочешь?

— Давай.

— Муж домой из командировки вернулся, а у жены любовник...

— Никого не интересуют твои похабные анекдоты,— сказала бабушка и решив, видимо, что рассмешить меня должна она, весело заговорила, указывая пальцем в окно: — Смотри, Сашенька, воробышек полетел! Покакал, а попку не вытер.— И бабушка залилась смехом.

— Острячка,— одобрил дедушка.— Какой воробышек в одиннадцать ночи?

— Ну и что ж... Может, ему приспичило,— сказала бабушка и, немного сконфуженная, вышла из комнаты, бормоча, что с нами потерять счет времени ничего не стоит.

Пользуясь уходом бабушки, я попросил дедушку досказать прерванный анекдот.

— Я тебе другой расскажу,— встрепенулся дедушка.— Зажми зубы и скажи: «Я не ем мяса».

Я зажал и, к своему удивлению, довольно членораздельно поведал, что мяса не ем.

— Ну ешь дерьмо! — засмеялся дедушка, обрадовавшись удачно полученной шутке.— Ладно, поспи, что ли.

И дедушка, очень довольный собой, пошел на кухню. По раздавшемуся через минуту крику: «Земли бы ты сырой наелся!» я понял, что свою хохму он отробовал и на бабушке.

С удовольствием внял бы я дедушкиному совету поспать. Под одеялом было нестерпимо жарко, а без него холодно до озноба. Ко всему стало тяжело дышать, словно кто-то невидимый и тяжелый сел ко мне на грудь и, просунув между ребер руки, сжал холодными, липкими пальцами легкие. Тонкие посвистывания неслись теперь из моей груди. На их звук пришла бабушка.

— Что, зайныка, дышать трудно? — спросила она и потрогала мои ступни. — Ноженьки холодные. Дам тебе грелочку.

Грелка, обернутая полотенцем, легла мне к ногам. Знобить стало меньше.

— Свистишь как, детонька. Чем бы тебе снять астматический компонент? Порошок Звягинцевой Галина Сергевна только завтра принесет. Может, «неотложку» вызвать? Приедут, снимут приступ. Очень трудно дышится?

— Ничего, баб. Ты погаси свет, может, я усну, а завтра видно будет.

— Раздражает свет, да, лапочка? Сейчас погашу.

— Как он? — спросил дедушка, заглянув в комнату.

— Иди, Сенечка, иди ложись. Ты все равно не поможешь ничем, только раздражать будешь и меня, и его.

Дедушка вышел. Бабушка выключила лампу и легла рядом со мной.

— Спи, родненький, — шептала она, глядя меня по голове. — Завтра Галина Сергевна придет, снимет тебе приступ, поставит баночки. А пока спи. Во сне болезнь уходит. Я, когда болела, всегда старалась уснуть. Может, дать тебе валерьяночки? Или водички горячей в грелочку подлить...

Бабушкин голос отдалился. Сон медленно, но верно приходил ко мне.

«Проснуться бы завтра», — думал я, засыпая.

Проснулся я от громкого деловитого голоса Галины Сергевны. Сон, хотя длился, казалось, несколько минут, уходил медленно, словно по одному отрываясь многочисленными корешками.

— Здравствуй, Саша, — сказала Галина Сергевна, быстро входя в комнату. Стук каблуков ее сапог неприятно отдавался в голове. — Что ж ты опять заболел?

— Ах, Галина Сергевна, — сказала бабушка, — несчастный страдалец этот ребенок. Есть мудрая поговорка: «За грехи родителей расплачиваются дети». Он расплачивается за грехи своей матери-потаскухи...

Бабушка принялась рассказывать про грехи моей матери, выбирая те, о которых Галина Сергевна не слышала в предыдущие визиты и дополняя известные ей новыми подробностями. Галина Сергевна прервала ее и стала меня слушать.

— Ну что с ним? — спросила бабушка. — Опять бронхит?

— Да, Нина Антоновна. Вы уж его знаете не хуже любого врача.

— Если не лучше, — горько усмехнулась бабушка. — Я-то его каждый день наблюдаю.

Галина Сергевна начала объяснять, как меня лечить. Смысл слов до меня не доходил. От головной боли я не улавливал между ними связи, но знал, что ничего нового Галина Сергевна не говорит, и бабушке, которой давно известны все способы лечения, не терпится продолжить перечень грехов моей мамы. Перечень был продолжен, едва Галина Сергевна замолчала.

—...А ребенка бросила на мою больную шею, — уловил я связь между несколькими словами.

— Нина Антоновна, вот порошок Звягинцевой, дайте ему прямо сейчас. Бактрим дадите после еды, — сказала Галина Сергевна и стала готовить банки.

Банки оставили на моей спине набухшие темно-лиловой кровью синяки. В комнате пахло эфиром, горелой ватой и кремом. Ледяные пальцы, сжимавшие легкие, потеплели и слегка разжались. Бабушка растерла мне спину и накрыла одеялом. Потом она достала из тумбочки блестящий продолговатый предмет и, взяв Галину Сергевну за локоть, зашептала ей в ухо:

— Галина Сергевна, милая, возьмите. Вы наше солнышко, никогда в беде не оставляете. Берите, вы мне только приятно сделаете.

Бабушка настойчиво протягивала смущенной Галине Сергевне блестящую баночку, которая показалась мне странно знакомой. Я еще вчера видел ее в руках у бабушки. Что это? В голове блеснула мысль...

— Баб, ты ж этим вчера наконечник клизмы смазывала, — удивленно сказал я.

Галина Сергевна, взявшая было баночку, замахала руками и стала быстро прощаться:

— До свидания, Нина Антоновна. Саша, до свидания.

Вслед за этим хлопнула дверь.

— А ты полный кретин,— сказала бабушка, пряча баночку на место.— Неужели ты мог подумать, что я буду смазывать губной помадой наконечник клизмы, а потом дарить ее врачу?

— Кого, клизму?

— Идиот, помаду! Ну ладно, подарю Елене Михайловне. Надо будет показать ей твои анализы, вот и подарю... Как тебе, полегче?

— Дышать лучше, но голова болит.

— Налью еще грелочку, а через какое-то время тебе надо будет поесть, чтобы бактрим выпить. Его нельзя на пустой желудок.

— Не хочу есть.

— Надо. Когда человек болен, он есть не хочет, но немножко надо. Я тебе каши пшенной сделаю.

Легкие понемногу отпускало, хрипы стали тише, кто-то с холодными пальцами слез с груди. Я снова заснул.

— Сашуня, каши поешь,— сказала бабушка, поставив на тумбочку рядом со мной тарелку пшенной каши.— Давай сначала ручки и мордашку вытрем влажным полотенчиком. Ну, привстань.

Я вытер руки и лицо влажным полотенцем, потом сухим.

— Давай, лапонька, ложку за бабушку... За дедушку... За маму пусть черти половниками смолу глотают. За Галину Сергевну. Из-за тебя, идиотика, обиделась бедная. Еще ложечку съешь за нее, чтоб не обижалась.

Я доел кашу и, обессилев, откинулся на подушку. На лбу выступила прохладная испарина, но это было приятно. Бабушка дала мне таблетки, поправила подушку, спросила:

— Что тебе еще сделать?

— Почитай,— придумал я.

Спустя несколько минут бабушка с книгой в руках сидела у меня на кровати. Она вытерла мне лоб и стала читать. Мне неважно было, какую она взяла книгу. Смысла слов я не улавливал, но было приятно слушать голос тихо читавшей бабушки. Я и не думал, что, когда она не кричит, голос у нее такой приятный. Он успокаивал, отгонял головную боль. Хотелось слушать как можно дольше, и я слушал, слушал и слушал...

Через месяц приехавшая в четвертый раз Галина Сергевна посмотрела меня и сказала:

— Через пару дней может идти в школу. Справку я выпишу. На сколько его от физкультуры освободить? На две недели пишу, хватит?

— Ему еще две недели уроки догонять, а на физкультуру он все равно не ходит. Но пишите две, для формы,— улыбнулась бабушка.

Галина Сергевна оставила на столе белый прямоугольник справки и поспешила к двери.

— До свидания, Нина Антоновна. Саша, всего хорошего. Надеюсь, больше болеть не будешь.

— Вашими устами, да мед пить,— сказала бабушка и, выйдя с Галиной Сергевной на лестничную клетку, прикрыла за собой дверь.

— От чистого сердца, Галина Сергевна... Мне только приятно будет... — услышал я обрывки фраз.

Остается добавить, что отведавший меда уста Галины Сергевны скорее всего не успели. Через две недели, догнав уроки, я набрал во дворе полные валенки снега и с насморком и кашлем снова ожидал ее прихода.

ССОРА

Наверное, название это покажется странным— бабушка ругалась с нами каждый день, крики ее не раз уже звучали со страниц этой повести, и посвящать еще целую главу тому, что вроде бы уже описано, на первый взгляд излишне. Дело в том, что ссора в моем понимании — это нечто большее, чем просто крик. Крик был правилом. Ссора все-таки исключением.

Обычно бабушка с дедушкой ругали вдвоем меня. Бабушка кричала, обзывала меня разными словами, а дедушка соглашался с ней и вставлял что-нибудь вроде:

— Да, конечно. О чем ты говоришь? Не то слово...

Высказав мне все, бабушка с дедушкой заявляли, что не хотят со мной разговаривать, я уходил в другую комнату и, слушая их спокойные голоса, со злостью думал: «Они-то дружат!»

Но через некоторое время спокойные голоса повышались, доносились слова «гицель» и «предатель», и я понимал, что быть в опале настала очередь дедушки. Я смело выходил из комнаты и шел прямо на крик, зная, что бабушке необходимо мое одобрение и ради него она простит мне любую вину. Отдельная дедушку, бабушка подбирала все новые выражения, очень смешно показывавшие, какой он дурак, и поглядывала на меня, словно спрашивая: «Ну, как я его?»

И хотя дедушку мне было жалко, сдерживать восхищенные смешки я не мог. Чем-то это напоминало санаторий, когда Лордкипанидзе бил пендели, а мы смеялись над его комментариями.

Опальный дедушка брал шапку и уходил. Тут я всегда ему завидовал. Он мог уйти от криков в любую минуту, я нет. И если после его ухода бабушка опять принималась за меня, мне приходилось терпеть до конца, и я никуда не мог от этого деться. Подобные сцены происходили часто, были привычны, и я ни в коем случае не отношу их к ссорам, которые выглядели куда серьезней, назревали несколько дней и надолго оставались в памяти.

Ссора, о которой я расскажу, собиралась три дня. Началось все с того, что в доме завелась мышь. Мышей бабушка очень боялась и, увидев, как серый комок деловито поспешил из угла под холодильник, забросила ноги на стол и издала такой вопль, что с подоконника взвилась в небо пара приготовившихся к ночлегу голубей.

— Сенечка! Мышь! Мышь! Мышь! Мышь, твою мать!

— Что такое? — прибежал, шаркая тапочками, дедушка.

— Там! Под холодильником! Мышь! Мышь!

— Ну и что?

Такое безразличие поразило бабушку в самое сердце. Она, наверное, думала, что дедушка станет прыгать по кухне, кричать: «Мышь! Мышь, твою мать!», бросится поднимать холодильник, а он даже не удивился. Бабушка стала плакать, сказала, что всю жизнь бьется, как рыба об лед, что никогда не видела помощи и участия, и закончила громогласными проклятиями.

Дедушка пошел к соседям и вернулся с распухшим пальцем, который прибило соседской мышеловкой, при демонстрации ее действия. От боли дедушка разволновался, мышеловку забыл и, упрекнутый в тугодумии и эгоизме, отправился за ней еще раз. Второй палец он прибил, когда заряжал мышеловку эдамским сыром.

Мышь, по словам бабушки, оказалась умнее дедушки, стащила эдамский сыр еще до ночи и спряталась с ним где-то за шкафом в спальне, нарушая тишину сосредоточенным шуршанием. Бабушка сказала, что не сможет спать от страха, и потребовала выжить ее сегодня же. Мышеловку сочли бесполезной, дедушка обзвонил соседей в поисках иных рецептов, и кто-то посоветовал ему забить в плитку стекловату с уксусом. Стекловату дедушка принес из бойлерной, уксус нашел у бабушки и, отодвинув шкаф с кроватями, забивал плитку до часа ночи. Руки у него покрылись коричневыми пятнами и чесались, но шорох прекратился.

Только мы легли спать, в углу зашуршало снова. Бабушка запустила тапочком. Мышь насмешливо завозилась.

— Сенечка! Опять она скребется! Сделай что-нибудь! — закричала бабушка.

Дедушка уже лег и выложил в стакан вставные челюсти. но встал и снова отодвинул шкаф. Наглая мышь успела, однако, перебраться за трюмо и шуршала оттуда. Почесывая руки, дедушка предложил поставить опять мышеловку. Чудом не прибив палец еще раз, он зацепил курок на волосок от спуска и поставил ее поближе к шороху. Мышь затаилась. На всякий случай я зарядил маленький стрелявший наточенными спичками лук и взял его в кровать. Я думал, что мышеловка все равно не работает, но мышь выйдет за сыром, и тогда я застрелю ее. Уставившись в темноту, я проверял пальцем острие спички, натяги-

вал резиновую тетиву и чувствовал себя настоящим охотником. Мышь не вышла. Я заснул.

Проснулся я утром от торжествующего «ага!» дедушки. Под мощной пружиной мышеловки выгибался надвое перебитый мышонок.

— Ну что я говорил?! Вот и все! — радостно сказал дедушка и показал мышонка бабушке.

— Садист... — ахнула она, и из глаз ее ручьем полились слезы. — Что ж ты сделал, садист?..

— Что? — растерялся дедушка.

— Зачем ты убил его?!

— Ты ж просила!

— Что я просила? Разве я могла такое просить?! Я думала, его чуть-чуть только прижмет, а его пополам перешибло! И маленький мышонок совсем... — плакала бабушка. — Ладно бы хоть большая мышь, а то крошка. Садист! Всегда знала, что садист! И смотри, радуешься! Радуешься, что живое существо уничтожил! Тебе бы так хребет переломали! Куда ты его?

— В унитаз.

— Не надо его туда!

— Что ж мне, похоронить его? — не сдержался дедушка.

Я хотел предложить похоронить мышонка за плитусом, но вспомнил, что дедушка забил туда стекловату, и промолчал. Гибель несчастной крошки бабушка оплакивала все утро, а потом ее отвлекло другое происшествие.

— Сеня, ты, когда шкаф двигал, триста рублей не находил? — спросила она встревоженно.

— Ну откуда? Наверное, если б нашел, сказал бы.

— Украли, значит.

Все деньги, которые приносил дедушка, бабушка распихивала по одной ей ведомым тайникам и часто потом забывала, сколько и куда положила. Она прятала деньги под холодильник, под шкаф, засовывала в бочонок деревянному медведю с дедушкиного буфета, клала в банки с крупой. В книгах были какие-то облигации, поэтому бабушка запрещала их трогать, а если я просил почитать, то сперва перетряхивала книжку, проверяя, не завалилось ли что. Как-то она спрятала в мешок с моей сменной обувью кошелек с восемьюстами рублями и искала его потом, утверждая, что в пропаже повинна приходившая накануне мама. Кошелек мирно провисел неделю в школьном гардеробе, а гардеробщицы не знали, что под носом у них куда более ценная пожива, чем украденная однажды с моего пальто меховая подстежка.

Забывая свои тайники, бабушка находила сто рублей там, где ожидала найти пятьсот, и доставала тысячу оттуда, куда по собственному мнению клала только двести. Иногда тайники пропадали. Тогда бабушка говорила, что в доме были воры. Кроме мамы, она подозревала в воровстве всех врачей, включая Галину Сергевну, всех изредка бывавших знакомых, а больше всего — слесаря из бойлерной Рудика. Бабушка уверяла, что у него есть ключи от всех квартир и, когда никого нет, он приходит и всюду шарит. Дедушка пытался объяснить, что такого не может быть, но бабушка отвечала, что знает жизнь лучше и видит то, чего не видят другие.

— Я видела, он в паре с лифтершей работает. Мы вышли, он с ней перемигнулся — и в подъезд. А потом у меня три топаза пропало. Было десять, стало семь, вот так-то!

На вопрос дедушки, почему же Рудик не взял все десять, бабушка ответила, что он хитер и тащит понемногу, чтобы она не заметила. Оставшиеся топазы бабушка решила перепрятать, достала их из старого чайника, зашила в марлю и приколотла ко внутренней стороне своего матраца, приговаривая, что туда Рудик заглянуть не додумается. Потом она забыла про это, вытряхнула матрац на балконе, а когда хватилась, мешочка с привезенными дедушкой из Индии топазами протык под нашими окнами и след.

Пропажу лежавших якобы под шкафом трехсот рублей бабушка тоже привычно свалила на Рудика.

— Нас позавчера не было, вот он и спер, — убежденно сказала она. — Ты когда к нему в бойлерную ходил, не обратил внимания, как он на тебя смотрел? Не насмешливо? Насмешливо смотрел, знаю. Ты просто не заметил. «Давай, давай, ходи ко мне, — думает. — Я вас хорошо нагрел. И на камушки, и на дежки».

— Ты сама слышишь, что городишь? — вскипел дедушка. — Сколько мож-но про этого Рудика твердить? Откуда у него ключи?

— Вытащил у тебя из кармана да сделал слепок. А потом обратно поло-жил. Они мастера такие, им на это минуты не надо.

— Ерунду несешь, слушать тошно!

— Не слушай! Только по жизни выходит, я права, а ты в дураках. Осел уп-рямый, никогда очевидного замечать не хочешь. Я тебе говорила, что Горбатов твой жулик, ты не верил. Лучший друг, лучший друг... Ну и поставь себе на жо-пу горчичники, которые он тебе выписал!

Историю с горчичниками я знал. У дедушки был друг Горбатов, который вызвался хорошо продать старую дедушкину машину. Машину он продал, но вместо денег принес горчичники и, ахнув, сказал, что его обманули. Бабушка торжествовала, Горбатов стал врагом, а дедушка с тех пор надежно закрепил-ся в упрямых ослах. Мало что могло по-настоящему вывести его из себя, но уп-рек в упрямстве с упоминанием Горбатова при неизменном бабушкином «я те-бе говорила» доводил его до белого каления. Этого трезубца он не выносил.

— Что, пошел ставить? — спросила бабушка, когда дедушка встал с дива-на и, ни слова не говоря, взялся за шапку. — Давай, давай, автомобилист! Боль-ше десяти минут не держи. Жопа распухнет, клизму потом делать не сможешь!

Дедушка хлопнул дверь и ушел до вечера.

А на следующий день случилось то, что было в моем представлении насто-ящей ссорой. С самого утра бабушка начала плакать, вспоминать свою неудав-шуюся жизнь и проклинать за нее дедушку. Она говорила, что этой ночью ви-дела во сне разбитое зеркало, и теперь уж, видно, недолго осталось нам терпеть ее присутствие.

— Ну тебя к черту, ханжа проклятая! — обозлился дедушка. — Я про это зеркало пятый раз слышу! Поновей бы что придумала!

— Не кричи, Сенечка, — робко попросила бабушка. — Зачем ссориться на-последок? Долго я не задержусь. Мне б до лета только дожить, зимой хоронить дороже.

— Ты это каждую зиму говоришь!

— А ты заждался, да? Молоденькую хочешь. Ну, так на тебе, не дождешь-ся! — И, сунув дедушке под нос фигу, бабушка встала с кровати.

На этом дедушка отправился в магазин.

— Как всегда! — обрадованно заключила бабушка, заглянув в принесен-ную им сумку. — То ли глаз у тебя нет, то ли мозга! Что это за капуста? Ее сви-ньям только давать, а не ребенку! И, конечно же, три кочана! А картошка! Го-рох просто...

— Нин, хватит на сегодня, а... — попросил дедушка.

— Сколько талдычу одно и то же, — продолжала бабушка, не замечая его просьбы, — лучше купи меньше, но хорошего. Нет, как же, только наоборот! Кофточек купишь на три номера меньше, зато шесть. Груши — все как камень, зато десять кило. Всю жизнь по принципу: дерьма, но много!

— Нин, хватит. Мне в овощном с сердцем плохо было, и устал я...

— Устал! Съездить на машине за продуктами — все, что ты можешь. А как я всю жизнь на больных ногах ношу, устаю, тебя не интересует? Я на ма-шине не езжу! Сорок лет одна без помощи! Одного ребенка вырастила, второ-го выхаживаю — сама загигаюсь, а ты только знаешь — концерты, машина, рыбалка и «устал»! Проклинаю день и час, когда уехала из Киева! Дура была, думала — мужик. Убедилась, что дерьмо, и сорок лет каждый день убеждаюсь.

Дедушка не успел еще раздеться, нахлобучил шапку, которую держал в ру-ке, и пошел к двери.

— Что, правда глаза колет? — кричала бабушка, следуя за ним. — Куда со-брался, потаскун?

— Пойду пройдуся... — выдохнул дедушка, открывая дверь.

— Иди, иди, кот безъяйщий! Тебе и пойти-то некуда. Друзей даже нет, как у мужиков нормальных. Один портной этот — тряпка хуже бабы, да и тот, ес-ли б ты его на рыбалку не возил, срать бы с тобой рядом не сел. К нему пой-дешь? Давай. Он тебя тоже как Горбатов сделает!

Дедушка задержался в дверях и посмотрел бабушке в глаза.

— Сделает, сделает, помянешь мое слово. Таких, как ты, сам Бог сделать велит! Кому ты нужен? Даже Саша тебя за человека не считает...

Лицо у дедушки исказилось, и он ткнул бабушку кулаком в лицо. Несиль-но, словно отпихнул от себя.

— Ну, раз не нужен, больше ты меня, сволочь, не увидишь,— сказал он и хлопнул дверью так, что с косяка посыпались кусочки облупившейся краски.

Зарыдавшая бабушка пошла в ванную. Зубы у нее были расшатаны, и дедушкиного тычка оказалось достаточно, чтобы из десен выступила кровь. Кровь сочилась и, смешиваясь со слюной и слезами, капала с подбородка розовыми тянучими каплями. Мне было страшно. Я сам хотел когда-то назвать бабушку сволочью, но боялся и не смел. Один только раз, когда мне неожиданно прихватило на кухне живот, а бабушка разговаривала в комнате со Светочкиной мамой, я подумал, что можно попробовать. Я скорчился за столом и стал стучать ложкой, убеждая себя, будто живот болит так, что я не могу даже крикнуть. Я хотел, чтобы бабушка подошла ко мне не сразу, увидела беспомощное состояние, в котором я так долго по ее вине нахожусь, и тогда использовать это как повод. К тому же я знал, что больному бабушка ничего мне не сделает, как бы я ни назвал ее. Стучать ложкой пришлось долго и даже надоело. Наконец появилась бабушка.

— Что ты стучишь?

Продолжая корчиться, я выронил ложку из якобы ослабевшей руки, посмотрел на бабушку, стараясь копировать тот ненавидящий, исподлобья взгляд, которым она смотрела иногда на меня, и прохрипел:

— Ну, сволочь, я тебе этого никогда не забуду!

Я ожидал, что бабушка всплеснет руками, ахнет и засуетится около меня, чувствуя себя виноватой, но она просто спросила:

— Что с тобой?

С досадой отмечая, что живот проходит, я объяснил, в чем дело. Бабушка дала мне разжевать таблетку активированного угля и вернулась к телефону.

— Сволочью меня обозвал, каково? — услышал я.— Не знаю, что-то с животом, а я сразу не подошла. Да что на него обижаться? Разве он, глупый, понимает, что говорит. Живот прошел вроде...

Бабушка была права наполовину. Я действительно чувствовал себя глупо, но как раз потому, что прекрасно понимал нарочность своих слов. Обзывать бабушку специально я больше не пробовал, а во время ссор так ее боялся, что мысль об отпоре даже не приходила в голову. А дедушка не побоялся, ответил... Но, как ни странно, сочувствовал я в этот раз бабушке.

Бабушка смыла с лица кровь и, продолжая плакать, уткнулась в полотенце. Я подошел к ней, обнял сзади и сказал:

— Бабонька, не плачь, пожалуйста.

— Я не плачу, котик. Я уже все давно выплакала, это так...— ответила бабушка и побрела к кровати.

Я не настолько сочувствовал бабушке, чтобы обнимать ее и называть бабонькой, но решил, что раз уж сочувствую хоть чуть-чуть, должен это все-таки сделать. Еще я надеялся, что за проявленное к ней сегодня участие завтра или послезавтра мне от нее меньше достанется.

Плакать бабушка не перестала. Она улеглась на кровать с полотенцем и прикладывала его к заливающемуся слезами лицу каждые несколько секунд. Подбородок у нее время от времени сводило судорогой.

— Не плачь, баба,— снова попросил я.

Бабушка ничего не ответила. Полными слез глазами она смотрела на висевшее на стене украшение — чеканный кораблик, вниз от которого свешивались пять ниток янтаря. На среднюю нитку, кроме янтарных бляшек, были наизаны две маленькие рыбки.

— А почему наш кораблик стоит и никуда не плывет? — спросила вдруг бабушка нараспев, словно начала читать сказку.— Потому что с него сбросили сети. А в сети попались только две рыбки. Эти рыбки мы с тобой, Сашенька. Нас обоих предали, нас окружают предатели. Тебя мать предала, променяла на карлика. Меня дедушка всю жизнь предавал. Ты думаешь, я всегда такая старая была, страшная, беззубая? Всегда разве кричала так и плакала? Жизнь меня такой, Сашенька, сделала. Хотела актрисой быть, папочка запретил. Сказал: работать надо, а не жлопой вертеть. Так и стала секретаршей в прокуратуре.

Бабушка высморкалась в полотенце, поискала на нем сухой угол, приложила к глазам и продолжила уже спокойнее:

— А потом с дедушкой твоим познакомилась. Угрозило меня на тот стадион пойти! Я тогда встречалась с одним парнем, он меня на футбол пригласил, а сам не пришел. Сижу одна злая. Рядом два молодых человека — актеры из МХАТа, на гастроли приехали. Один красавец высокий — актер полное говно,

и наш «любонька» сидит. Мордунчик у него красивый был, что говорить, на щеках ямочки. Улыбка добрая, открытая. Дала телефон свой рабочий, стали встречаться каждый вечер. Он меня водил на спектакли свои, я его на Владимирскую горку на пляж. Пришло время ему уезжать, он и говорит: «Давай, я на тебе женюсь и в Москву увезу». А я влюбилась уже! «Иди, — говорю, — к родителям, делай предложение». Не знала, дура, что он на спор женится. У него в Москве баба была на десять лет старше его — он с ней поругался, поспорил, что в Киеве лучше найдет. И нашел идиотку! Расписались, показали отцу свидетельство, поехали. Отец весь перрон за поездом бежал, кричал: «Доченька, не уезжай!» Как чувствовал, что ничего я, кроме слез, не увижу! Нельзя было мне родителей бросать, уезжать из Киева. Дура я была. Будь я проклята за это!

Бабушка снова расплакалась. Я вдруг вспомнил, что утром сделал из соли и спичечных головок смесь, которую в пылу ссоры забыл на подоконнике в дедушкиной комнате. Бабушка могла успокоиться, пойти смотреть телевизор, и тогда дело обернулось бы плохо. Бабушкин рассказ надолго прервался всхлипываниями, я понял, что могу отойти, и поспешил в дедушкину комнату, чтобы спрятать нелегальную смесь под буфет. Потом я вернулся в спальню. Продолжая плакать, бабушка уже разговаривала по телефону.

— ...и привез меня, Вера Петровна, в девятиметровую комнату, — говорила она Светочкиной маме. — Четырнадцать лет мы там жили, пока квартиру не получили. Мука, Вера Петровна, с тугодумом жить! Я пытливая была, все хотела узнать, все мне было интересно. Сколько просила его: «Давай в музей сходим, на выставку». Нет. То времени у него нет, то устал, а одна куда я пойду — чужой город. Только на спектакли его мхатовские и ходила. Правда, было что посмотреть, МХАТ тогда славились, но скоро и туда подходилась — Алешенька родился. — Бабушка высморкалась в полотенце и продолжила: — И, знаете, есть мужики, которые недалекие, но в быту хозяйственные. Этот во всем леномыслящий был. Через дорогу мебельный магазин, можно было нормальную мебель купить. И деньги были! Нет. Пришел к соседям, пожаловался: «Вот жену привез, мебель надо какую-то покупать». Соседи ему: «Так купите у нас диван». Он купил, припер с чердака в комнату. Я смотрю, что такое — чешусь вся... Клопы! Я их и кипятком шпарила, и еще чем-то травила, еле вывела. И так всю жизнь: все дерьмо какое где продавалось, ему впахивали! Продавцы, наверно, свистели друг другу — вон, олух идет! Потом уже, когда на этой квартире жили, привез мебель из Германии. В Москве за рубли любая мебель была. Так он тратил валюту, платил за перевозку, да еще год она стояла на каком-то складе, пока мы квартиру получали. И была бы мебель, а то саркофаги дубовые, до сих пор привыкнуть к ним не могу... Да, это здесь уже, на «Аэропорте». А та комната была рядом с улицей Горького. Девять метров. Четырнадцать лет в этой душегубке жили. И ладно бы вдвоем и с ребенком — то сестра его приезжала из Тулы по делам, у нас останавливалась, то племянница, то брат... Конечно, коммунальная! Соседи были Розальские. Розальский этот тоже с Сеней в театре работал, только заслуженный был. Они втроем в двух комнатах жили по двадцать восемь метров. Мы с ними договаривались, кто будет квартиру убирать, так они заявляли: «Вы должны убирать в три раза больше, потому что к вам родственники приезжают толпами». Сидим, пьем чай с гостями, вваливается без стука жена его: «Нина, от вас кто-то ходил в туалет, напали на пол! Пойдите затрите!» А от нас и не выходил никто! Но пошла, затерла. Вот так, Вера Петровна, мечтала стать актрисой, стала секретаршей, а потом домохозяйкой. Ничего карьера? Сидела только с этим остолопом, роли долбила. Он свою никак не выучит, а я уже за всех наизусть — и за Чацкого, и за царя Бориса, и за черта в ступе — вот все мое актерство.

А потом война началась. Москву бомбить начали, весь его театр отправлялся в эвакуацию в Алма-Ату, а он в Борисоглебск уезжал в каких-то киносборниках военных сниматься. И говорит мне: «Поедешь с ребенком в Алма-Ату, я приеду потом». На коленях молила: «Не надо, Сенечка! В доме подвал, от бомбежки есть куда прятаться. Я тебя дождусь, вместе поедем!» Ударил кулаком по столу: «Я решил, и так будет!» Характер проявить решил! Тряпик слабовольные всегда самоутверждаться любят. В теплушках везли нас в эту Алма-Ату, как скотину. Приехали, а мне места жить не дают — я же не в штате. Поселили в каком-то подвале с земляным полом, холодным, как лед. Я там себе и придатки застудила, и все на свете. А потом и оттуда выпихивать стали, потому что уборщице какой-то места не хватило. Я говорю: «Куда мне идти, я же с ребенком годовалым!» «Ну раз с ребенком, — говорят, — поживи пока».

Милость оказали, в подвале оставили! И тут Алешенька заболел... Какой мальчик был, Вера Петровна, какое дите! Чуть больше года, разговаривал уже! Светленький, личико кукольное, глаза громадные серо-голубые. Любила его так, что дыхание замирало. И вот он в этом подвале заболел дифтеритом с корью, и в легком нарыв-абсцесс. Врач сразу сказал: он не выживет. Обливалась слезами над ним, а он говорит мне: «Не плачь, мама, я не умру. Не плачь». Кашляет, задыхается и меня утешает. Бывают разве такие дети на свете?! На следующий день умер... Сама несла на кладбище на руках, сама хоронила. А раз ребенка нет больше, из подвала того меня выперли, дали уборщице место. Переночевала ночь в каком-то общежитии под кроватью, решила ехать в Борисоглебск к Сене.

Продала все вещи свои на базаре, все, что от Алешеньки осталось: рейтузики, кофточка, — купила на все деньги чемодан водки. Она в Алма-Ате дешевле была, и мне посоветовали так сделать, чтобы в Борисоглебске продавать ее потом, менять на еду, на хлеб. Осталось в кармане сто пятьдесят рублей, поехала. От этого чемодана, от тяжести порвала себе все внутри, началось кровотечение. А Сеня в Борисоглебске «колхозом» жил. Он, два друга его и две какие-то курвы сняли вместе две комнаты. Там одна Валька лезла на него, но он, как мне потом сказали, отвалил ее, и она с Виталием таким стала жить, а Сеня один. Тут я с чемоданом водки и притащилась, кровью исходя. Валька сказала, что в Борисоглебске есть хороший гинеколог, она мне может устроить прием, будет стоить сто рублей. А у меня были последние сто пятьдесят. Водку-то, конечно, всем «колхозом» выжрали, продать я ничего не успела. Пришла к этому врачу, он меня посмотрел, спросил: «У вас есть дети?» А я только что сына похоронила!!! «Так вот, — говорит, — у вас больше никогда не будет детей». Двадцать три года мне, Вера Петровна, и, похоронив сына, такое услышать! Потом — понадеялась на его слова — забеременела сволочью этой — дочерью. Но это в Москве уже после войны.

Дочь родила, пошла опять к гинекологу, мне там сказали, что теперь уж точно детей не будет. А сволочь эта болела не переставая, и, понятно, как я над ней тряслась. В пять лет желтуха инфекционная. Подобрала во дворе кусок сахара — и в рот. А по двору крысы бегали с нее ростом. Я увидела, благим матом кричу: «Плюнь, Оленька, плюнь!» Смотрит на меня, сука, и мусолит этот сахар во рту. Я ей рот разжала, пальцами кусок этот вынула, но уж все, заболела... Все деньги, все продукты меняла на базаре на лимоны, поила ее лимонным соком с глюкозой — выхаживала. Сама одну манную кашу ела, и то, что после нее останется. Сварю каши кастрюльку, она сожрет, а я хлебом кастрюлю оботру, съем — вот и вся еда моя. Выходила сволочь себе на голову... Ничего, кроме ненависти, от нее не дождалась. Я все ей отдавала, снимала последнее, она хоть бы раз спросила: «Мама, а ты ела?» Видит — я один хлеб жру, предложила бы: «Возьми, мама, каши половину». Я бы все равно скорее смолу пить стала, чем у нее забрала, но предложить же можно. Цветка на день рождения ни разу не принесла. А потом за свой же эгоизм и возненавидела. А я ее, Вера Петровна, за эгоизм не виню. У нее папочкин был пример перед глазами. На его глазах загибалась с ней на руках, а он только знал гастроли, репетиции, шашки и еще ходил с другом Горбатовым по улице Горького обсуждал, какие у кого ноги. Потом этот Горбатов хорошо его сделал, я вам рассказывала... Так ему, предателю, и надо! Нет, эвакуация — это еще было не предательство. Предал он меня по-настоящему, когда Оле было лет шесть. Выходила я ее от желтухи и сама от одиночества, от беспомощности впала в депрессию тяжелую. Показали меня врачу-психиатру. Врач сказал, что мне надо работать. Сеня говорит: «Она работает. Все время с ребенком, по хозяйству...» Он поясняет: «Нет. С людьми работать. Библиотекарем, продавцом, кем угодно. Она общительный человек, ей нельзя быть одной». Но как я могла работать, когда дочь все время болела?! Я же не могла ее бросить, как она сына своего бросила! Так в этой депрессии и осталась. А у нас в доме соседка жила, Тонька-стучачка. Она была в оккупации и, чтобы прописаться в Москве, на всех стучала. Вот как-то она пришла, забралась с ногами на диван, где Оля спала, и говорит: «Федора вчера забрали в КГБ, я была понятой. — А она сама же на него и стукнула! — Так вот, когда его брали, про вас спрашивали. Чем занимаетесь, почему такая молодая, а нигде не работаете». Я перепугалась страшно, рассказала все Сене. Он, как от мухи найзольной, отмахнулся, сказал: «Ерунда». Я к Розальского жене обратилась. Она мне посоветовала написать в КГБ заявление, что, мол, соседка ведет со мной провокационные разговоры. Я написала, и такой меня страх обуял.

Всю меня трясло, я есть не могла, спать не могла... Сеня, как про это заявление узнал, полез под потолок, повел меня опять к психиатру, к другому уже, и тот сказал, что у меня мания преследования. Никакой у меня мании не было, была депрессия, которая усугубилась. Я пыталась объяснить, но сумасшедшую кто слушать станет! Положили меня обманом в больницу — сказали, что положат в санаторное отделение, а положили к буйным. Я стала плакать, меня стали как буйную колотить. Я волдырями покрылась, плакала день и ночь, а соседи по палате говорили: «Ишь, сволочь, боится, что посадят, ненормальной прикидывается». Сеня приходил, я его умоляла: «Забери меня, я погибаю». Забрал, но уж поздно — превратили меня в калеку психически ненормальную. Вот этого предательства, больницы, того, что при моем уме и характере ничтожеством искалеченным стала, — этого я ему забыть не могу. Он в актерах, в гастролях, с аплодисментами, я в болезнях, в страхах, в унижении всю жизнь. А я книг распла за свою жизнь столько, что ему и во сне не увидать! — Бабушка снова расплакалась и приложила к лицу насквозь мокрое полотенце. — Пустое все, Вера Петровна. Пропала жизнь, обидно только, что зря. Ладно бы дочь человеком выросла, оправдала слезы мои. Выучилась на актрису, выскочила после института замуж, родила калеку больного, а потом нашла себе в Сочи этого пьяницу. Я ей говорила: учись, будь независимой, а по ней — лучше костылем быть для хромого «гения». Я еще на что-то надеялась, пока этот карлик к ней два года назад не переехал, потом крест поставила. У меня теперь одна забота, отрада в жизни — дитя это несчастное. За что, Вера Петровна, ребенок этот так страдает? В чем он перед Господом провинился, сирота при живой матери? Места живого нет на нем, весь изболелся. Из последних сил тяну — выхаживаю. Врачи, анализы, гомеопатия — руки опускаются. Одна диета сил уносит сколько! Творог только рыночный, суп без мяса, котлеты я паровые делаю, а вместо хлеба сушки кладу размоченные. Тяжело — не то слово. Тяжко! Но своя ноша не тянет, знаете поговорку? Это он по метрике матери своей сын. По любви — нет на свете человека, который бы любил его, как я люблю. Кровью прикипело ко мне дитя это. Я когда ножки эти тоненькие в колготках вижу, они мне словно по сердцу ступают. Целовала бы эти ножки, упивалась! Я его, Вера Петровна, выкупаю, потом воду менять сил нет, сама в той же воде моюсь. Вода грязная, его чаще, чем раз в две недели, нельзя купать, а я не брезгую. Знаю, что после него вода, так мне она как ручей на душу. Пила бы эту воду! Никого, как его, не люблю и не любила! Он, дурачок, думает, его мать больше любит, а как она больше любить может, если не выстрадала за него столько? Раз в месяц игрушку принести, разве это любовь? А я дышу им, чувствами его чувствую! Засну, сквозь сон слышу — захрипел, дам порошок Звягинцевой. Среди ночи проснусь одеяло поправить, пипочку потрогаю — напряглась, разбужу, подам горшочек. Он меня обсикает со сна, а я не сержусь, смеюсь только. Кричу на него — так от страха и сама себя за это клянчу потом. Страх за него, как нить, тянется, где бы ни был, все чувствую. Упал — у меня душа камнем падает. Порезался — мне кровь по нервам открытым струится. Он по двору один бегаёт, так это словно сердце мое там бегаёт, одно, беспризорное, об землю топчется. Такая любовь наказания хуже, одна боль от нее, а что делать, если она такая? Выла бы от этой любви, а без нее зачем мне жить, Вера Петровна? Я ради него только глаза и открываю утром. Навеки бы закрыла их с радостью, если б не знала, что нужна ему, что могу страдания его облегчить. Что? Суп горит... Ну бегите, Вера Петровна! Спасибо, что выслушали дуру старую, может, легче ей от того станет. Светочке привет, здоровья вам обеим... Суп у нее горит... Врет, сволочь, просто слушать надоело, — сказала бабушка, положив трубку, и подбородок ее еще раз запоздало свело судорогой. — Кому охота про чужое горе слушать? Все эгоисты, предатели кругом. Один ты, солнышко мое, рядом, а больше мне никого и не надо. Пусть подавятся вниманием своим... Хотя ты тоже, как они, — добавила вдруг бабушка с горьким презрением. — Мать придет, кипятком перед ней ссышь: «Мама, мама!» Продашь за любую игрушку дешевую. Все мои слезы, все мои нервы с кровью за машинку копеечную продашь. Тот еще Иуда! И тебе не верю...

Вечером, когда на экране телевизора появились предвещавшие программу «Время» часы, давно уже спокойная бабушка сказала:

— Девять часов. Где, интересно, бздун этот старый ходит? Пора бы уже закругляться с посиделками.

Бабушка взяла стоявший возле дивана на полу телефон и набрала номер.

— Леша? Добрый вечер, — сказала она в трубку. — Моего позвоните на минутку. Нету? А давно ушел? Как не заходил? Сегодня не появился... И не звонил? Нет, я так. Если вдруг объявится, скажите, чтоб мне перезвонил...

— Куда же он делся? — встревожилась бабушка, когда «Время» кончилось. — Дай-ка еще позвоню. Там он сидит, где ему быть? Просит, чтоб не подзывает... Леша? Это Нина, Сени жена опять. Его правда нет, или он вас просит не подзывать? Нет и не было. Ну извините еще раз...

Когда закончился вечерний фильм, бабушка беспокоилась не на шутку.

— Ночевать ему негде, идти не к кому, что ж с ним такое? — тихо бормотала она про себя. — Может, на машине уехал куда?

Бабушка выглянула в окно. Сквозь решетчатые двери гаража видна была чуть освещенная светом уличного фонаря машина.

— Машина стоит. И в гараже его нет, свет не горит, — сказала бабушка, отходя от окна. — Если только в машине сидит, дурак старый. Пойду проверю.

Бабушка надела шубу, повязала платок и отправилась на улицу.

— Господи, Боже мой! — причитала она, вернувшись. — И в машине нету! Куда же он делся?! Матерь Божья, заступница, спаси, сохрани и помилуй! Двенадцатый час, нет старика! Садист бессердечный, ни позвонить, ни предупредить!.. Сашенька! — бросилась бабушка ко мне. — Позвони ты еще раз Леше этому. Там он сидит, негде ему быть больше. Позвони, скажи, баба волнуется, просит дедушку вернуться. Он со мной разговаривать не хочет, твой голосок услышит, подойдет. Скажи ему: «Дедонька, вернись, мы тебя ждем». Баба плачет, скажи. Попроси его ласково, он тебя послушает, вернется. Скажи: «Ради меня вернись, я тебя люблю, не могу без тебя». Скажи: «Спать без тебя не можем». Позвони, Сашенька, я наберу тебе...

Дедушка сидел у Леша.

— Ну, ты сказал, что меня нет и не было? — уточнял дедушка, потягивая неумело смятый «Казбек».

— Сказал, сказал, — успокоил его Леша.

— Ну она поверила?

— Сколько можно, Сень? Я два раза сказал, что тебя нет. Третий раз позвонит, вообще трубку не возьмем. Полдвенадцатого, я уже мог и спать лечь.

— Извини, Леш, я вообще, наверное... — засуетился дедушка на стуле.

— Сиди, — снова успокоил его Леша. — Останешься ночевать, как договорились. На диване ляжешь, хоть два дня живи. Но, Сень... Больше не могу, извини. Привык я один, тяжело мне, когда кто-то в квартире. Спать не могу.

— Нет, нет, до завтра только, — замахал дедушка руками и обсыпал себе брюки пеплом. — Пусть думает, что я уйти могу. Вроде мне есть куда, не только к тебе. — Дедушка глубоко вздохнул. — А на самом-то деле, Леш, некуда мне идти... И дома нет у меня. Концерты, фестивали, жюри какие-нибудь нахожу себе — только бы уйти. Сейчас в Ирак полечу на неделю нашего кино. Ну на кой мне это в семьдесят лет надо? Она думает, я престиж какой ищу, а мне голову преклонить негде. Сорок лет одно и то же, и никуда от этого не деться. — В глазах у дедушки появились слезы. — Самому на себя руки наложить сил нет, так вот курить опять начал — может, само как-нибудь. Не могу больше, задыхаюсь! Тяну эту жизнь, как дождь переживаю. Не могу! Не хочу... — Дедушка вдруг расплакался, как ребенок, и уткнулся лицом в ладонь.

— Ну, ну... — ободряюще похлопал его по плечу Леша.

— Не хочу! Спать ложусь вечером — слава Богу день кончился. Просыпаюсь утром — опять жить. И давно уже, Леш, давно так. Не могу... А не станет меня, кто их кормить будет? — сказал дедушка, убирая от лица руку. Залившие на секунду лицо слезы впитались в морщины, и то, что дедушка плакал, видно было только по мокрой ладони и набухшим влажной краснотой векам, которые дедушка на секунду зажмурил, будто хотел отжать. — Она же дня в своей жизни не работала, не знает, откуда деньги берутся. Всю жизнь я работаю, всю жизнь ее содержу. И всю жизнь не такой, плохой... Первое время думал — привыкну, потом понял, что нет, а что делать, не везти же ее в Киев обратно? Потом Алеша родился, тут уж что раздумывать. Пара мы, не пара — ребенок на руках, жить надо. Я и смирился, что так будет.

Потом война. Алеша умер, Оля родилась. Жил, как живется, даже, показалось, привык. А после больницы, как я ее забрал в пятидесятом году, — все, на том жизнь и кончилась. С утра до ночи упреки-проклятья. Хоть беги. И была мысль. Мне говорил мужик один, его тоже жена заедала: «Будет только хуже.

Пока молода, оставь ей все и уноси ноги!» Я ему сказал: «Как я могу? Она мне двоих детей подарила. Одного ребенка похоронила, второй болеет, работать она не может — как я ее брошу?!» Так и остался, по сей день терплю. А мужик тот свою жену бросил, так его через год инсульт хватил. В сорок восемь лет какой, вот так. Видно, есть Бог на свете.

— Не знаю... — задумчиво сказал Леша, доставая из вазочки шоколадную конфету и подвигая вазочку дедушке. — Может, и есть, только не по уму он как-то все делает. За что вот вы оба мааетесь? Живут же другие нормально...

— До других мне дела нет, — перебил дедушка, и на лице его мелькнула обида, — а я, маюсь не маюсь, до семидесяти лет дожил. Пусть плохо, но все же лучше, чем в сорок восемь сдохнуть. И всегда знал, что жена верна. И сам не изменял ни разу. Да что мы, Леш, говорим с тобой! Такая жена, скаяя — сорок лет прожито, какую Бог послал, такая есть. Я вот на концерты уезжаю, в тот же день думаю, как она там одна, что с ней. В гостиницу приеду, позвоню. Узнаю, что с ней все в порядке, и сплю спокойно. Срослись мы, одна жизнь у нас. Тяжелая, мука, а не жизнь, но одна на двоих, и другой нету. А с ней, Леш, очень тяжело. Она меня, к примеру, клянет, что я зубы ей не сделал. Раз двадцать пробовал в поликлинику отвезти, с врачами договаривался, но у нее же все приметы какие-то, черт бы их побрал! То день не тот, то врач не тот, то новолуние, то полнолуние... Такое впечатление, что специально морочит, чтоб потом со свету сживать. Какую-то глупость выдумает и проклинает, требует, чтоб так было. Даю ей деньги, прячет по всей квартире так, что не найдешь потом. Сам если в одно место положу, вынет, переложит. Сегодня шел в магазин за продуктами: «Эту сумку не бери, возьми ту». «Почему ту, Нина?» «Эта оборвется». «Ну почему же она оборвется, я все время с ней хожу». «Нет, возьми другую, эта плохая». И я знаю, что идиотизм это, а делаю, как она говорит, потому что жалко ее. Может, я правда без характера, поставить себя не сумел, но что себя ставить, если больной психически человек? Она же не понимает, что глупость требует, думает, так в самом деле надо. И первая же страдает, если что не так. Нормальный человек руку потеряет, не будет так переживать, как она, если Саша не в ту баночку напишет. Все время подстраиваться приходится, со всем соглашаться. Как сам еще с ума не сошел, не знаю. Иногда срываюсь, как сегодня, потом сам же виню себя за это, места не нахожу.

— Так ты себя еще и виноватым чувствуешь?!

— Сегодня нет! — спохватился дедушка. — Всему предел есть. Завтра приду, а сейчас пусть думает, что я совсем ушел. Такое она все-таки нечасто устраивает. Вообще, с тех пор как Саша у нас появился, она спокойнее стала. А что было, когда Оля замуж вышла! «Это ты ей квартиру построил! Ты из нее половую психопатку воспитал! Хочешь, чтоб она, как я, всю жизнь ничтожеством оставалась?» А Оле тогда двадцать семь лет было, не школьница какая-нибудь. И целый год, пока Саша не родился, никакого житья не было. Клял себя за квартиру эту, но назад же не заберешь. Потом Саша появился, она стала к ним ездить, помогать — вроде успокоилась. Но то с Олей поругается, то с мужем ее — каждый раз в слезах возвращалась. А отплачется, примется за меня. Все, что им недоскажет, — все на мою голову. Грех говорить, но я, когда они развелись, с облегчением вздохнул. Отдышался, так года не прошло, Толя этот, карлик, появился. Только я Олю уговорил к нам переехать, как обухом нас по голове. Ох, что с бабкой было! Неделю лежала, в одну точку смотрела. Есть перестала почти, руки дрожат, осунулась. Меня тогда в кино на роль хорошую приглашали — отказался, не мог ее оставить. Потом вроде пришла в себя, так Оля с Сашей в Сочи уехали. Такие проклятия были, я думал, оба в психушку попадем, и я первый. Вот прости меня, Господи, за такие слова, спасло только, что Саша больной вернулся. Оля его нам оставила, бабка ожила словно. Стала лечить его, даже про карлика этого забыла. «Сашенька, Сенечка...» — только и было от нее слышно. Потом, со временем, опять разошлась, но уж не так, как раньше. Болел-то Саша постоянно, возиться с ним все время приходилось да и приходится. Она души в нем не чает. Если б не он, не знаю, что бы с ней и было. А Оля им все равно заниматься не может, мы его поэтому и не отдали. Моталась в эти Сочи чуть ли не каждый месяц. Ее после института и в театр приглашали, и в кино сниматься — все забросила. Одну роль сыграла, пару эпизодов и только ездила «гения» этого от пьянства спасала. И пусть бы ездила, но ребенка бросит как можно было?! Ненавижу карлика этого! А он уж сидел бы тише воды, не высовывался, так нет — мало того, что в квартиру мою въехал, еще и в отношения наши лезет! Письмо мне написал такое, что меня аж тряс-

ло, когда читал. Я тебе прочту сейчас. С собой ношу, не дай Бог бабке на глаза попадется...

Дедушка достал из внутреннего кармана пиджака большой потертый бумажник, открыл застегнутый на «молнию» кармашек и вытащил оттуда сложенный вчетверо и стершийся на сгибах листок.

— Два года назад написал, когда в Москву переехал, — пояснил дедушка и торопливо, словно поскорее хотел избавиться свои глаза от неприятных строчек, начал читать: — «Уважаемый Семен Михайлович. Я пишу это письмо, желая помочь Оле и Саше. Может быть, наивно надеяться, что письмо может чем-то помочь, но я все-таки надеюсь».

Нервная обстановка в доме, разьедающая душу ребенка, травля родной матери у него на глазах, кроме крайнего вреда всей его нравственности, ни к чему другому привести не может. Он попал в положение, когда его волей-неволей заставляют предавать собственную мать, когда он постоянно становится свидетелем чудовищных сцен, подобных той, что произошла три года назад около цирка. Как Вы могли силой оторвать ребенка от плачущей матери? Как Вы могли поднять руку на собственную дочь?»

Дедушка замолчал, поднял глаза от бумаги и столкнулся с вопросительным взглядом Леша.

— Отпихнул я ее, Леш. Не ударил, но отпихнул. Я решил, что он с нами останется, значит, так и будет. Что это такое — взять тайком со двора, увести? Да еще так, что он от аллергии чуть не задохнулся. Отпихнул и сказал, чтоб думать о нем не смела. У нее карлик есть, пусть о нем думает. А он смотри, что дальше пишет: «Я теперь понимаю, отчего Саша говорит матери: «Мама, я нарочно говорю, будто тебя не люблю, чтобы бабушка не сердилась, а я тебя очень люблю!» Надеюсь, Вы не передадите этого Нине Антоновне, чтобы не навлечь на Сашу ее гнева. Вы можете как угодно относиться к своей дочери. Как это ни печально — это Ваше дело. Но отнимать ребенка у матери и отнимать мать у сына — невысказано, преступно. Не знаю, известно ли Вам, что Оля носит в своем медальоне Ваш портрет. Если неизвестно, поймайте наконец, что Вы делаете со своей дочерью, с ее горькой любовью к Вам и к сыну».

И еще. Пожалуйста, не бойтесь, что я тут в чем-то заинтересован для себя. Вам трудно поверить в это, а мне почти невозможно Вас убедить, что наши отношения с Олей построены не на моем желании получить прописку в Москве, а на взаимной привязанности и, если хотите, любви. И я все еще не спешу оформлять наши отношения официально, в чем Вы опять видите только отрицательную сторону, инкриминируя мне безобязательное сожительство и лишая прав вмешиваться в отношения семьи как постороннего и чуть ли не как проходимца.

Поймите, как это ни горько звучит, для Оли важнее всего независимость от Вас. Влияние Нины Антоновны, унижающее в ней человека, женщину, не могло пройти бесследно. Оля боится каждого самостоятельного шага, поэтому ее поездки в Сочи, возможно, стоили двух-трех несыгранных ролей (которые, я убежден, она еще сыграет), ибо первый раз в жизни дали ей ощущение свободы.

Развить самостоятельность возможно только при полной материальной независимости, которой, насколько я знаю, Оля была лишена всю жизнь, выпрашивая у Вас деньги до двадцати шести лет, а потом и отдавая Вам все заработанное собой и мужем на нужды хозяйства, которые Нине Антоновне были якобы известны лучше. Даже шуба, купленная Олей на деньги от своей единственной роли, до сих пор висит у Нины Антоновны в шкафу. Начало наших отношений положило конец всякой помощи с Вашей стороны, но говорить о независимости смехотворно. Перебиваться случайными заработками, жить впроголодь, отнимая иногда у себя последний в прямом смысле слова кусок, чтобы купить какую-нибудь игрушку отнятому сыну, оказалось возможным для Оли целых три года. Надолго ли хватит ее еще?

Профессия художника не слишком надежна, чтобы обеспечивать семью, но я обещал Оле и обещаю Вам, что приложу все силы, и, только получив возможность содержать ее и содержать ее сына (простите, но, по моему убеждению, Саша рано или поздно должен вернуться к матери), я пойду на официальный брак. Я вынужден предвидеть устойчивое материальное благополучие законному оформлению нашего с Олей союза, ибо влияние Ваше все еще сильно, и, хотя Оля всячески отрицает это, я не могу не замечать проскакивающие иногда в ее душе сомнения насчет чистоты моих намерений. Боюсь, доказывать, что мне нужна не прописка, придется не только Вам.

Уйдет ли на это год или два, но я стану законным мужем Вашей дочери и, хотелось бы верить, отцом ее сыну. Сегодняшнее мое неопределенное положение лишает меня права что-либо требовать, но, смею надеяться, статус супруга даст мне такие права, и, не считите за дерзость, я буду просить Вас о том, о чем не решается просить Оля,— передать Сашу нам, вернуть его матери. Я уповаю на Ваше благоразумие и верю, что решить этот вопрос удастся разумно и человечно.

Если Саша действительно очень болен и его болезни не есть глубокая неврастения, вызванная бабушкой, или, что тоже вероятно, плод ее фантазии, мы найдем врачей, найдем лекарства и будем заниматься его лечением с наименьшей отдачей, чем Вы и Нина Антоновна. С уважением, Анатолий Брянцев». С уважением, твою мать...— подытожил дедушка.— Ну как тебе это нравится?

— Ну... так...— замылся Леша, не зная, какой реакции дедушка ждет.

— Я чуть не взбесился, когда прочел! Черт знает какая пьянь в мою квартиру вперлась и еще что-то требовать собирается! Сашу он будет просить... Его и на шаг к нему не подпустит никто! А этот чмур двуличный тоже хорош: «Говорю, что не люблю, чтобы бабушка не ругалась...» Нарочно бабке передам, чтобы знала, какая тварь неблагодарная. Маму он любит! Бабка жизнь ему отдает, кровью за него исходит, а мама на алкаша променяла. Независимость ей понадобилась! Не то что впроголодь, вообще скоро жрать нечего будет.

— А он так до сих пор и не зарабатывает?

— Что он может заработать? Первое время хоть не пил вроде, а сейчас, бабка говорит, опять хлещет. Я не знаю, я с ними не общаюсь. Клубы какие-то он оформлял, спектакли самодеятельные. Копейки это, на бутылку только. Этой идиотке гнать его в шею надо, пока не поздно. А то второго ребенка делает ей, вообще будет никому не нужна. Сашу он собрался лечить... Загубит, потом скажет: «Не вылечили». И специально еще подсыпет чего-нибудь.

— Ну это ты хватил,— покачал головой Леша.— Зачем это ему?

— Как зачем?! Ты посуды сам. Мы сохнем, наследство Саше с этой идиоткой. А не станет Саши, все ей, а значит, ему. Саша ему как кость в горле, он только и хочет его погибели. Ничего, пока мы живы, он его близко не увидит! Отец выискался... Я ему отец! А бабка мать! И никого, кроме нас, у него нету. Я его усыновить хочу, чтобы они даже по суду не забрали. Пусть мою фамилию носит...

Резкий в ночной тишине телефонный звонок заставил дедушку вздрогнуть.

— Опять она,— сказал Леша.— Мне сюда звонить некому.

— Ну подойди...

— Зачем?

— Подойди, мало ли.

— Мы ж договорились.

— Подойди. Может, ей плохо...

— Потерпит, ничего с ней не станет.

— Да ты что, с ума сошел?! Подойди, кому говорю!

— Вот сам и подходи.

Леша не двигался. Телефон настойчиво дребезжал. Дедушка нервничал.

— Подойди, Леш, что ты, назло, что ли?

— Не буду я подходить! Что за бесхарактерность? Сам же прочитай ее хотел. Отключу сейчас, пусть гудки слушает, если делать нечего.

Леша встал и потянулся к телефонной розетке.

— Не смей! — крикнул дедушка и, отчаянно махнув рукой, поднял телефонную трубку.— Алло...— выдохнул он.— Да... Это я. Нет. Сейчас... Скажи, сейчас...

— Сашенька звонил,— объяснил он, положив трубку, и на глазах у него выступили слезы.— Сказал: «Вернись, деда, мы без тебя спать не можем». Что я делаю, дурак старый? Куда я от них уйти могу?

— Так чего, домой?

— Домой, домой,— ответил дедушка и торопливо взялся за пальто.— Спокойной ночи, Леш. Спасибо.

В дверях дедушка остановился, будто что-то вспомнил, и заговорщицки попросил:

— Там у тебя конфеты на столе были. Дай парочку, бабке возьму.

ЧУМОЧКА

После болезни, долго мучившей меня кашлем, сжатыми легкими и высокой температурой, из-за которой в голове моей не раз еще грохотал страшный барабан, я поправился всего на две недели. Потом черпнул валенками снег и простудился снова. Простуда, которую Галина Сергевна назвала странным словом «рецидивная», оказалась легкой. Температуры не было, я только кашлял и сморкался в бумажные салфетки, которые бабушка дала мне вместо платка.

— Платком все время будешь инфекцию к носу тыкать, а в салфетку высморкался и выбросил, — объяснила она свою идею.

Я сидел за партой, догонял разбежавшиеся на несколько листов уроки и усеивал пол скомканными салфетками. Уроки всегда навевали на меня тоску. Открыв глаза, я ужасался своему пробуждению и всеми силами старался поспать еще, чтобы как можно дольше не начинать этот день, который весь придется прожить только для того, чтобы завтра наступил еще один, точно такой же. С самого утра я знал, что сегодня не будет ничего приятного, ничего веселого, ничего интересного. Будет столбик предложений, которые, пока я болел, писала в классе Светочка, будет математика со среды по пятницу, будет бритва и будет бабушка. И так будет завтра. И послезавтра. И до тех пор, пока я не догоню уроки. А пока буду догонять их, бабушка узнает новые. Почему нельзя заснуть, и проснуться, когда все уже будет сделано?

Но сегодняшний день был особенным. Проснувшись утром, я почувствовал непривычную радость, которую не могла смутить притаившаяся возле парты тоска. Я радовался тому, что весь день у меня будет занятие, которому не помешают даже уроки, занятие, за которое я с радостью отдал бы все свои редкие развлечения, — ожидание. Я ждал вечера. Вечером ко мне должна была прийти Чумочка.

Чумочкой мы с бабушкой называли мою маму. Вернее, бабушка называла ее бубонной чумой, но я переделал это прозвище по-своему, и получилась Чумочка. Чумочка приходила очень редко — в месяц раза два. Бабушка говорила, что лучше бы она не приходила вовсе, но тогда ожидание исчезло бы из моей жизни, а значит, я всегда ужасался бы своему пробуждению, и ни одно занятие не смогло бы сделать так, чтобы, открыв утром глаза, я не захотел закрыть их снова и проспать из нового дня как можно больше тоскливого и никчемного времени.

Я любил Чумочку, любил ее одну и никого, кроме нее. Если бы ее не стало, я безвозвратно расстался бы с этим чувством, а если бы ее не было, то я вообще не знал бы, что это такое, и думал бы, что жизнь нужна только затем, чтобы делать уроки, ходить к врачам и пригибаться от бабушкиных криков. Как это было бы ужасно и как здорово, что это было не так. Жизнь нужна была, чтобы переждать врачей, переждать уроки и крики и дожидаться Чумочки.

Жалуясь своим знакомым, как со мной тяжело, бабушка утверждала, что больше всех я люблю ее, но сам этого не понимаю, а видно это, когда я называю ее «бабонькой». Как я называю ее бабонькой, бабушка всегда показывала и при этом зачем-то делала жалобное лицо. Потом она говорила, что сама любит меня больше жизни, и знакомые, дивясь на такое счастье, восхищенно качали головами и, сокрушаясь моей несообразительностью, требовали:

— Обними бабушку свою, что стоишь? Сколько сил она тебе отдает, пусть видит, что ты ее тоже любишь.

Я молчал и злился. Бабонькой я звал бабушку очень редко и только если мне нужно было что-нибудь выпросить. Обнять же ее мне казалось чем-то невозможным. Я не любил ее и не мог вести себя с ней, как с мамой. Я обнял бабушку один-единственный раз после ссоры с дедушкой и чувствовал, как это глупо, как ненужно и как неприятно. Но еще неприятнее было, когда бабушка, выражая свою любовь, разворачивала меня спиной и холодными, мокрыми со щекочущими волосками губами прикладывалась к моей шее.

— Только в шейку целую его! — объяснила она знакомым. — В лицо нельзя — зачем я ему к личику заразой своей лезть буду? В шейку можно.

От бабушкиных поцелуев внутри у меня все вздрагивало, и, еле сдерживаясь, чтобы не вырваться, я всеми силами ждал, когда мокрый холод перестанет елозить по моей шее. Этот холод как будто отнимал у меня что-то, и я судорожно сжимался, стараясь это «что-то» не отдать. Совсем иначе было, когда меня целовала мама. Прикосновение ее губ возвращало все отнятое и добавляло впридачу. И этого было так много, что я терялся, не зная, как отдать что-ни-

будь взамен. Я обнимал маму за шею и, уткнувшись лицом ей в щеку, чувствовал тепло, навстречу которому из груди моей словно тянулись тысячи невидимых рук. И если настоящими руками я не мог обнимать маму слишком сильно, чтобы не сделать ей больно, невидимыми я сжимал ее изо всех сил. Я сжимал ее, прижимал к себе и хотел одного — чтобы так было всегда.

Я все время боялся, что с мамой случится что-то плохое. Ведь она ходит где-то одна, а я не могу уследить за ней и предостеречь от опасности. Мама могла попасть под машину, под поезд метро, на нее мог напасть убийца с заточенной спицей в рукаве, о котором говорила бабушка. Глядя ночью в окно на темную улицу, где зловеще мерцали белые фонари, я представлял, как пробирается к себе домой мама, и невидимые руки из моей груди отчаянно простирались в темноту, чтобы укрыть ее, уберечь, прижать к себе, где бы она ни была.

Я просил маму не ходить поздно вечером, просил осторожно переходить улицу, просил не есть дома, потому что бабушка уверила меня, будто карлик-кровопийца подсыпает ей в ужин яд, и ненавидел свое бессилие, из-за которого не мог быть рядом и проверять, как она меня слушается.

Однажды мама сказала, что придет и принесет мне книжку.

— «Я умею прыгать через лужи» называется. Лошадка тут какая-то на обложке... — сказала она по телефону.

В тот день она очень задержалась, и, думая, что ее убили, я ходил из угла в угол, плакал и повторял про себя: «Последнее ласковое слово, которое я от нее услышал, было — лошадка».

Слово «лошадка» относилось не ко мне, но звучало действительно ласково и очень приятно, а все приятные слова исходили только от мамы. Дедушка называл меня иногда шутливо дурачком, чмуром или подгнилком; бабушка называла меня котиком и лапочкой, когда я болел, но я забывал об этих словах как о проглоченных порошках и таблетках. Произнесенное однажды мамой слово «кисеныш» я долго потом повторял про себя перед сном.

Я запоминал каждое сказанное мамой ласковое слово и был в ужасе, представляя, что слово «лошадка» последнее, что придется мне запомнить. Когда мама наконец пришла, я бросился к ней на шею и обнял, как вернувшуюся ко мне жизнь.

Кроме мамы, я обнимал иногда дедушку, но, конечно, совсем не так. Я радовался, когда он возвращался с концертов с сувенирами, некоторые из которых дарил мне, обнимал его на секунду, чтобы показать, что рад его возвращению, но, кроме этой недолгой радости, ничего не чувствовал. Приехав, дедушка сразу становился привычным, и обнимать его больше не хотелось.

И все же я думал, что тоже люблю его, не так, как маму, и даже не в половину, но все-таки люблю, и меня задело, когда однажды он вдруг сказал, что я люблю не его, а его подарки. Я почувствовал себя виноватым и злился, что такие глупые слова заставляют меня переживать непонятную вину. Я забыл о них, но потом произошла история с магнитофоном, которая случилась за несколько дней до прихода Чумочки и которую я подробно сейчас расскажу...

Время от времени дедушка уезжал за границу, и тогда его подарки бывали действительно хороши. Правда, надо было быть осторожным и не благодарить дедушку раньше времени, потому что, случалось, предназначенный мне подарок оказывался потом вовсе не для меня. Так, вернувшись из Финляндии, дедушка вручил мне маленький фонарик, я весь день бегал с ним по квартире и всюду светил, а вечером оказалось, что фонарик дедушка привез себе для рыбалки. В другой раз дедушка привез спиннинг и сказал, что это для меня, потому что скоро на рыбалку мы поедем вместе. Я поставил спиннинг в угол у зеркала и думал, что теперь у меня есть еще одна замечательная вещь, кроме железной дороги, но дедушка унес спиннинг в гараж, а на рыбалку мы так и не поехали. Бывало и так, что подарок наверняка предназначался мне, но бабушка забирала его и говорила, что я лодырь и тунеядец, а подарок она отдаст Ленечке из соседнего подъезда, который учит два языка, занимается спортом и не пьет из своей бабушки кровь.

Из поездки в Ирак дедушка привез магнитофон. Я не только понимал, что эта вещь не для меня, но даже не смел посмотреть на нее как следует, боясь, что дедушка заметит мой интерес и подумает, будто я на что-то претендую. Пряча глаза, полные тайного желанья, я делал вид, что магнитофон меня совсем не волнует, а куда больше занимают мелочи вроде набора турецких сладостей.

— Смотри-ка, как упаковали! — восхищенно говорил я, поворачивая в руках жестянку с халвой, и незаметно бросал в сторону коробки с магнитофоном жадные взгляды.

— Так, ну посмотрим, что же я купил, — сказал дедушка и, взяв коробку на колени, стал ее распаковывать.

— Магнитофон, что ли? — спросил я как можно небрежнее.

— «Филипс», — гордо прочитал дедушка название.

— Только кретин мог «Филипс» купить, — тоном знатока заявила бабушка. — Надо было с Белокуровым посоветоваться. У него давно такая техника есть, он разбирается. Он бы сказал тебе, что надо брать «Сони» или «Грюндиг». Но ты же осел самонадеянный, где какое дерьмо лежит, сразу, не разобравшись, схватишь.

— Ну почему дерьмо, Нина?! Хорошая фирма, известная...

— «Сони» или «Грюндиг»! — отрезала бабушка. — Фи, барахло, весь из пластмассы...

Я не знал, чем отличается «Филипс» от «Сони» или от «Грюндига» и чем плоха пластмасса, но показавшийся из коробки магнитофон заворожил меня. По-прежнему боясь себя выдать, я стал невзначай рассматривать рисунок на упаковке, потом пристально заинтересовался прилагаемой кассетой, потом инструкцией, а потом интерес брызнул наружу. Пока дедушка вертел магнитофон так и сяк, не зная, с какой стороны за него взяться, я уже понял, как открывается крышка для кассеты, сунул палец между дедушкиных рук и нажал на нужную кнопку. Крышка открылась. Дедушка растерялся от моей наглости, а я достал из коробки кассету, вставил ее и закрыл крышку так уверенно, словно пользовался этим магнитофоном всю жизнь.

— Ты что вообще?! — осадил меня дедушка. — Я тебе разве разрешил?

— Да я просто показал, как вставлять, — ответил я, поспешно вернувшись к небрежности.

— Ну и нечего трогать!

— Что ты ему не даешь? Пусть разберется ребенок, что к чему, — потребовала бабушка. — У него светлая голова, он лучше тебя поймет. Будет языком заниматься с педагогом, будет записывать, что им нужно.

Дедушка оторопел. Я тоже. Первый раз бабушка была на моей стороне. Она не только не забирала то, что предназначалось мне, она разрешала пользоваться тем, что явно должно было остаться для меня запретным!

Чтобы не спугнуть бабушкино решение и надежду, в которую трудно было поверить, я изо всех сил сдержал в себе взорвавшееся ликование.

— Вот пуск. Вот перемотка. Запись, — стал я показывать дедушке, стараясь оставаться по-прежнему сдержанным и небрежным. Теперь я делал вид, что для меня важно именно разобраться что к чему, а к возможности пользоваться магнитофоном, которая на самом деле меня ослепляла, я относился без особого почтения и даже свысока. Мы быстро освоили немногочисленные кнопки, и я предложил записать что-нибудь на кассету, но дедушке нужно было уходить. Он хотел убрать магнитофон обратно в коробку, но бабушка сказала:

— Оставь, пусть он разберется до конца. Потом тебе покажет.

— Я вообще-то не для него купил, — проворчал дедушка.

— Ничего, в кои-то веки поступишься чем-то. Не всю жизнь эгоизм свой цацкать. Больной, покинутый ребенок, пусть хоть одна отрада у него будет, магнитофон этот сраный. Заслужил мальчик страданиями своими.

Я не верил своим ушам. Дедушка ушел недовольный. Магнитофон остался на столе.

Я смотрел на его гладкие, блестящие бока, на полированные кнопки, на стрелку в маленьком прозрачном окошке, чувствовал запах свежей пластмассы и магнитной пленки и боялся притронуться к этому внезапно свалившемуся счастью. Я включил встроенный в магнитофон приемник, поймал какую-то музыку, и оказалось, что ее можно записывать. Горела красная лампочка, крутилась кассета, прыгала в такт ритму умная стрелка. Вид работающей, послушной моей воле техники закружил мне голову. Но главное было не это! Я всегда чувствовал себя хуже других, и пределом моих мечтаний было хотя бы однажды оказаться в чем-нибудь, как все. И вдруг я впервые почувствовал себя не хуже других, а лучше! Старшие ребята из циркового училища часто собирались у нас во дворе компании и слушали в беседке магнитофон. Звуки незнакомой и какой-то очень замечательной музыки вызывали смертельную зависть непосвященного, но приобщиться к тайне было немислимо. Потом магнитофон по-

явился у Борьки... Он включал мне ту самую музыку, которую крутили ребята из циркового, и объяснял, что это «Битлз». Ставил хриплого певца со звуочной фамилией Высоцкий и смотрел с таким превосходством, что у меня темнело в глазах. И вот теперь у меня тоже магнитофон! Я буду слушать «Битлз», буду слушать хриплого Высоцкого, распахнув окно и поставив магнитофон на подоконник, как делал Борька, но буду лучше, потому что у меня не «Электроника», а «Филипс».

От сердца отхлынула привычная зависть. Юные техники, спортсмены и танцоры перестали быть занозой — превосходство в чем-то успокоило меня во всем. Я понял, что если увижу теперь по телевизору отвратительного мальчика моего возраста, который поет и мотает головой на манер взрослого, или фильм, в котором такие же ребята плавают с аквалангами и ловят шпионов, в то время как я, сделав математику со среды по пятницу, сдаю с компрессом на спине анализ крови, меня не затрясет от раздражения и злости. Я усмехнусь и подумаю про себя: «Ха, а у меня зато «Филипс»!» И необычайный покой укрыл меня, как теплое одеяло.

— Что ты вертишь туда-сюда?! Кокнешь, гицель этот потом мне всю пень выест,— сказала бабушка, застав меня в разгар эйфории.

— Да вот, разбираюсь...— снова небрежно сказал я и тоном человека, который во многом уже разобрался, добавил: — Тут как раз кнопка есть, если с музыки на другое что-нибудь переключать. Языком, например, заниматься...

— Вот это хорошо! — одобрила бабушка.

Указанная мной кнопка на самом деле устанавливала на ноль счетчик, но, пользуясь бабушкиным неведением, я придумал ей другое назначение, чтобы показать — музыка меня не привлекает. Я человек серьезный и магнитофон собираюсь использовать для дела. Чтобы бабушка точно не заподозрила меня в крамольных намерениях, я указал на коробку, где был нарисован орущий в микрофон волосатый певец, и вроде невзначай сказал:

— Надо ж рожу такую нарисовать. Можно подумать, все такое записывать будут.

Успокоенная моей благонадежностью бабушка снова оставила меня с магнитофоном наедине, и я тут же принялся крутить ручку приемника, отыскивая музыку, которую можно было бы записать. Я записал где-то с середины «Арлекино, арлекино», почти целиком «Надежда, мой компас земной» и два куплета совсем дурацкой песни, где пелось про парня, который улыбался в пшеничные усы. Улов меня огорчил. Такой музыкой было не сразить даже Борьку, что говорить про старших ребят, которые наверняка подняли бы меня на смех — особенно за пшеничного парня. Я принялся ловить снова и наконец поймал на коротких волнах достойный, хотя и булькающий от искажений рок-н-ролл. Певец, голос которого сразу нарисовал в моем воображении лицо, изображенное на коробке, вздохнул пел что-то «Бюль-бюли, аулерюри...» Я записал это на место пшеничных усов и остался доволен. Почему-то я был уверен, что поймал «битла». Теперь надо было позвать к себе на минуту Борьку. Я пошел к телефону и услышал, что бабушка с кем-то разговаривает.

—... занят сейчас,— говорила она в трубку.— Не знаю, с магнитофоном возится, дедушка ему привез. Надо разобраться, зато как включать, машина сложная. Да, вот так. У него нет матери, зато есть магнитофон. Ничего, магнитофон его не предаст, как некоторые...

Три слова вспыхнули передо мной, как праздничный фейерверк: «...дедушка ему привез». Так, значит, мне!

— Кто это? — спросил я.

— По делу,— ответила бабушка, прикрыв трубку рукой.— Иди, не стой над душой. А то такой магнитофон будет, как прошлогодний снег. Иди.

Поняв, что бабушка наверняка разговаривает со Светочкиной мамой, а значит, у меня есть часа два, я поторопился снова включить радио, чтобы записать что-нибудь еще. Тут вернулся дедушка. Я прокрутил ему «Бюль-бюли, аулерюри...» и сильно пожалел об этом.

— Ну вот что, я такого хамства не позволю! — грозно заявил дедушка и, взяв магнитофон со стола, стал запихивать его в коробку.— Вот же говно маленькое, как руки свои распустил!

— Что такое? — спросила бабушка, которая неожиданно быстро закончила свой разговор.

— Ничего! — гаркнул дедушка, сверкая глазами из-под бровей, как он изредка умел.— Совсем очумели! Ничего моего в доме нет! Все прибрали!

— Успокойся, малохолный! — попросила бабушка с редким для нее миролюбием. — Кто у тебя что забрал?

— Вы забрали! Все забрали! — ругался дедушка, и непослушная коробка никак не поддавалась его нервным рукам. — Первый раз привез что-то себе, отойти нельзя, уже этот чмур тянется. Ни разрешения, ничего! Разберется он что к чему... Без сопливых разберемся! Хоть одна вещь может моя быть, чтоб вы без моего разрешения не брали? Или все тут ваше?!

Дедушка закрыл наконец коробку и задвинул ее стоймя за диван.

— Будет тут стоять, и трогать не смей! — сказал он мне. — Вот я умру, будешь пользоваться. А пока знай, что не все тут твоё.

Превосходство, так ненадолго поднявшее меня над другими, разлетелось вдребезги. Я не мог больше думать: «А у меня «Филипп»!»

Но бабушка посчитала иначе. В спальне она взяла меня за плечо, наклонилась и зашептала в самое ухо:

— Не обращай на старика внимания. Разорался, потом забудет. Завтра пойдет жопу на бытовой комиссии просиживать, достанешь, будешь включать сколько хочешь, только к приходу его спрячешь. А потом я договорюсь, он тебе разрешит. Он тебя любит, все для тебя сделает. Просто для приличия поорал немного.

На этом мы легли спать.

Проснувшись утром, я почувствовал необычное желание поскорее встать. Что-то вчера изменилось в моей жизни, что-то появилось хорошее, интересное.

«Магнитофон!» — вспомнил я, нетерпеливо вскочил с кровати и, быстро одевшись, поспешил в дедушкину комнату.

Магнитофон стоял на прежнем месте. Дедушка одевался в прихожей, чтобы уходить. Я косился на стоявшую за диваном желтую коробку, и мне казалось, что дедушка нарочно одевается так медленно. Ну почему ему надо дважды оборачивать вокруг шеи шарф?!

— Другие ботинки надень, — сказала бабушка.

— Я в этих пойду.

— Надень другие, эти холодные.

— Почему холодные? На меху...

— Надень, говорю, те, эти намокают, слякоть на улице.

— Ну тебя к черту! — обозлился дедушка и наконец ушел.

— Баба! Магнитофон можно? — затрепетал я.

— Пожри сначала, что так нейметя?

— Но можно?

— Можно, можно...

Пока бабушка готовила гречневую кашу, я бережно вытащил коробку из-за дивана и поставил ее на стол. Открыл крышку, увидел блеснувшую между пенопластовыми прокладками черную пластмассу, и руки у меня задрожали от волнения. Вдруг раздался звонок в дверь.

— Кто там? — крикнула бабушка из коридора.

— Я... Нина... — послышался странно отрывистый голос дедушки.

— Прячь, прячь! — замахала бабушка рукой.

Я быстро стал убирать магнитофон на место.

— Ну... открывай же... скорей... Не могу...

— Сейчас, погоди... Усрался, что ли? Сейчас, шнур от телефона запутался, не могу пройти.

— Открывай...

Бабушка глянула в комнату и, убедившись, что я поставил магнитофон как было, открыла дверь.

— Что такое?

— Упал, ох... Поскользнулся у гаража... Боком на камни какие-то... Ох... Помогите до кровати дойти... Не могу...

Мы с бабушкой довели скорчившегося дедушку до его дивана и усадили.

— Снять... Снять пальто помогите... Бок... Болит, рукой не могу шевелить... Ботинки снимите...

— Говорила тебе, другие надень, — напомнила бабушка, снимая с дедушки меховой сапожок.

— Молчи! Молчи, не доводи! Дай... отдышаться. Болит, вдохнуть не могу...

Сняв с дедушки ботинки, бабушка уложила его на здоровый бок, задрала на нем рубаху и стала смазывать ушиб мазью арники. Вздолнованный происшедшим, я стоял рядом, спрашивал: «Деда, как же ты так?» и, хотя действи-

тельно переживал, не мог справиться со своим взглядом, который то и дело притягивался, как магнитом, к стоявшей за диваном желтой коробке. Некстати дедушка поскользнулся.

К вечеру дедушка стало хуже. Он не мог шевельнуться и стонал. Кожа на боку набрякла лиловым. Приехавший врач сказал, что у него трещина в ребре, сделал повязку и велел несколько дней не двигаться. Ночью, когда я уже лег в кровать, а бабушка осталась смотреть с неподвижным дедушкой телевизор, я услышал громкие крики. Дедушка кричал во весь голос и просил бабушку что-нибудь сделать. Бабушка перепуганно голосила. Я решил, что дедушка умирает, и как был, без тапочек, в колготках, бросился к нему в комнату. Все обошлось, боль утихла. Через некоторое время дедушка закричал снова, и опять я вскочил с кровати, чтобы бежать к нему и дежурившей возле него бабушке. Оба раза в голове моей вспыхивало одно-единственное слово — магнитофон.

Не могу точно сказать, какое чувство пряталось в этом слове. То ли я думал, что вот дедушка умрет и магнитофон достанется мне, как было обещано; то ли боялся, что он умрет, а магнитофон мне не достанется; то ли волновался, что умрет и бабушке будет не до магнитофона. В любом случае за дедушку я не боялся. Я чувствовал себя участником волнующего действия, которое может стать еще более волнующим, и волноваться было интересно. Мне нравилось бежать, встревоженно врываться, спрашивать: «Что случилось?!» Это было словно игра, и только магнитофон был реальностью. То, что дедушка может умереть, не пугало меня. Это моя смерть увела бы меня на страшное кладбище, где я лежал бы один под крестом, видел бы темноту и не мог бы отогнать евших меня червей. Это маму могли убить, и она пропала бы из моей жизни, навсегда унеся из нее ласковые слова. А что будет, если умрет дедушка, я дальше магнитофона не видел. Дедушка с бабушкой были обстановкой, вроде шелестевших за окном деревьев, об их смерти я никогда не думал, не представлял ее и поэтому не знал, чего же в ней бояться.

Дедушка лежал в кровати несколько дней, на меня в то же время напала простуда-рецидивистка, потом бабушка узнала уроки — магнитофон забылся. Я поглядывал иногда на желтую коробку, но это было лишь печальное воспоминание об упущенном превосходстве. В коробке магнитофон был недоступен. Бабушка с дедушкой никогда не нарушали раз сложившееся равновесие вещей, и, если что-то убиралось в ящик или оставалось нераспакованным, через пару дней к этому привыкали, и можно было не сомневаться, что пользоваться вещью никто уже никогда не будет. Коробка со швейной машинкой была подставкой под настольную лампу, сколько я себя помнил, а свинцовый сундук с посудой, который дедушка привез из Германии вместе с мебелью, громоздился на балконе с тех самых пор. Останься магнитофон на столе, к этому бы тоже привыкли, и медленно, но верно я бы к нему подобрался. Но теперь должно было свершиться что-то необычайное, чтобы он появился из коробки на свет и продержался на виду хотя бы день-другой. В день прихода мамы я совсем уже про него забыл и вспомнил случайно, совсем по другому поводу.

Я сидел за партой, ждал свою Чумочку и услышал, что дедушка уходит. Он все еще охал и хватался за бок от неудачных движений, но уже ходил и даже сам надевал ботинки. Я вспомнил, как бежал ночью на его крики, и вдруг представил, что было бы, если бы так же расшиблась мама. От этой мысли у меня сжалось горло. Я всегда готов был заплакать, если представлял, что с мамой случилась беда. И тут в памяти моей зазвучали дедушкины слова о том, что я люблю не его, а его подарки. Неужели это действительно так?! Я подумал и решил, что, конечно, люблю не подарки, а дедушку, но просто намного меньше, чем маму. А любил бы я маму, если бы она мне ничего не дарила?

Почти все, что у меня было, подарила мне мама. Но я любил ее не за эти вещи, а эти вещи любил, потому что они были от нее. Каждая подаренная мамой вещь была словно частицей моей Чумочки, и я очень боялся потерять или сломать что-нибудь из ее подарков. Сломав случайно одну из деталей подаренного ею строительного набора, я чувствовал себя так, словно сделал маме больно, и убивался весь день, хотя деталь была не важная и даже часто оставалась лишней. Потом дедушка ее склеил, и, оставив внутри себя связанные с мамой переживания, она превратилась в драгоценность — подобных у меня было несколько, и я дорожил ими больше всего.

Такими драгоценностями были случайно доставшиеся от Чумочки мелочи. В игрушке я видел прежде всего вещь, а потом маму. В мелочах, вроде стеклянного шарика, который Чумочка, порывшись в сумке, дала мне во дворе, я видел

маму и только. Эту маленькую стеклянную маму можно было спрятать в кулаке, ее не могла отобрать бабушка, я мог положить ее под подушку и чувствовать, что она рядом. Иногда с шариком-мамой мне хотелось заговорить, но я понимал, что это глупо, и только часто смотрел на него. В сломанной и склеенной детали я тоже видел только маму. Я перестал использовать ее при строительстве домиков и положил к мелочам, среди которых хранилась даже старая жвачка. Мама как-то меня ею угостила, я пожевал и, завернув в бумажку, спрятал. Большой ценности эта жвачка, конечно, не представляла, я не смотрел на нее, не прятал под подушку, как шарик, но выбросить тоже не мог и хранил, пока она не затерялась. Мелочи я держал в небольшой коробке, которую прятал за тумбочкой, чтобы ее не нашла бабушка. Коробка с мамиными мелочами была для меня самой большой ценностью, и дороже была только сама мама.

Мама приходила редко. Я начинал ждать ее с самого утра и, дождавшись, хотел получить как можно больше от каждой минуты, что ее видел. Если я говорил с ней, мне казалось, что слова отвлекают меня от объятий; если обнимал, волновался, что мало смотрю на нее; если отстранялся, чтобы смотреть, переживал, что не могу обнимать. Я чувствовал, что вот-вот найду положение, при котором можно будет делать все сразу, но никак не мог его отыскать и суетился, ужасаясь, как быстро уходит время, которого у меня и так было мало.

Обычно мама приходила часа на два, но лишь несколько минут удавалось мне провести так, как я хотел. Остальное время проводила по-своему бабушка. Она садилась рядом, и обнимать маму становилось при ней неудобно, заводила какие-то свои разговоры, и я не мог с мамой говорить; вела себя, словно меня не существовало, и мне оставалось только смотреть на маму изо всех сил, стараясь взглядом возместить невозможные слова и объятия.

Смотреть тоже приходилось недолго. Разговор, начатый бабушкой неторопливо и дружелюбно, медленно и незаметно переходил в скандал. Никогда не успевал я заметить, с чего все начиналось. Только что, не обращая внимания на мои просьбы дать с мамой поговорить, бабушка рассказывала про актрису Гурченко, и вот уже она швыряет об пол бутылку с «Боржомом». Бутылка разбивается, брызгает маме по ногам шипящими зелеными осколками, а бабушка кричит, что больной старик ездил за «Боржомом» в Елисейский. Вот они спокойно обсуждают уехавшего в Америку Бердичевского, и вот бабушка, потрясая тяжелым деревянным фокстерьером с дедушкиного буфета, бегаёт за мамой вокруг стола и кричит, что проломит ей голову, а я плачу под столом и пытаюсь отскрести от пола пластилинового человечка, которого слепил к мамину приходу и которого они на бегу раздавили. Вот мама просит отдать ей шубу, и вот бабушка, крикнув: «На тебе, Оленька, шубу!», поворачивается спиной и спускает зеленые трико, изумляя меня чем-то необъятным и бело-розовым.

— Что ж ты жопу при ребенке показываешь, хулиганка! — кричит мама.

— Ничего, это его бабушки жопа, а не какой-нибудь бляди, которая променяла ребенка на карлика! — кричит в ответ бабушка.

Каждый раз мамин приход заканчивался подобным образом, и каждый раз я до последнего момента надеялся, что все обойдется. Не обходилось. Я пробовал унять разгорающийся скандал, плакал, тоже кричал что-то, загоразивал маму от бабушки, но меня по-прежнему не существовало. Я даже говорил, буд-то у меня заложило нос, надеясь, что, забыв про маму, бабушка бросится ко мне с каплями, но не помогало и это. Когда приходила мама, бабушка не соблюдала правил, и скандал вспыхивал, даже если я болел на самом деле.

Выгнав маму, бабушка захлопывала дверь, плакала и говорила, что ее довели. Я молча соглашался. Никогда не укорял я бабушку за происшедшее и после скандала всегда вел себя так, словно был на ее стороне. Иногда я даже со смехом вспоминал какой-нибудь момент ссоры.

— Как она от тебя вокруг стола бегала, — напоминал я.

— И не так еще побегает, сука! Кровью харкать будет! Пришла уже, небось. Дай-ка позвоню ей, скажу еще пару ласковых.

Бабушка звонила, и весь недавний скандал повторялся по телефону. Только теперь, оставшись с бабушкой наедине, я не заступался за маму, а, наоборот, смеялся особо удачным выражениям бабушки. Бабушка была моей жизнью, мама — редким праздником. У праздника были свои правила, у жизни — свои.

Я не спрашивал себя, почему, оставшись с жизнью один на один, я должен быть с ней заодно и не могу иначе; почему жизнь запрещает любить маму, и, когда праздник уходит, я могу любить только стеклянный шарик, а маму тайно ждать; почему бабушка — жизнь, а мама — редкое счастье, которое кончается

раньше, чем успеешь почувствовать себя счастливым. Так было, и я не представлял, что может быть по-другому. Иногда, засыпая, я мечтал хотя бы день поговорить с мамой, чтобы узнать и запомнить, как это; хоть раз заснуть, зная, что счастье рядом, и, проснувшись, встретить его рядом вновь. Но такого не могло быть никогда, и мечтать об этом было глупо. Рядом со мной, и утром, и перед сном, была жизнь, а счастья можно было только дожидаться, прикоснуться к нему на несколько минут и снова будто пренебрегать им, как только грохнет захлопнутая за его спиной дверь. Сегодня я дождался опять.

Я сидел за партой, писал, сморкался в бумажные салфетки и ждал маму. Скоро она придет, уже почти вечер. Осталось написать пять предложений, и я смогу ждать ее, не отвлекаясь. Только бы не оказалось ошибок!

Взяв бритву, бабушка стала проверять, что я написал. Я с волнением смотрел, как она хмурилась над некоторыми словами, как напрягались большой и указательный пальцы, между которыми было зажато лезвие. Но нет... Лицо бабушки разглаживалось, пальцы расслаблялись — ошибок не было.

— Хорошо, — одобрила бабушка. — Так на моих нервах, глядишь, и писать научишься. Еще математику за один день сделаешь, и все на сегодня.

— Но сейчас мама придет!

— Придет — подождет, пока закончишь. Давай садись.

Я сел на стул, который от сидевшей на нем только что бабушки показался неприятно теплым, отложил безобидный на сегодня учебник русского и, содрогнувшись, открыл учебник математики. Тут зазвонили в дверь, и цифры примеров стали непонятными значками, в которых ничего нельзя было разобрать.

— Приперлась чумища твоя. Сиди, занимайся. Не сделаешь, скажу, чтоб в другой раз пришла, — сказала бабушка и пошла открывать. Я замер за партой, прислушиваясь к каждому звуку из коридора. Дверь открылась.

— Здравствуй, мама, — послышался голос моей Чумочки.

Я не решался самовольно встать и выбежать в коридор, но бросился к этому голосу невидимыми руками, обнял его, уткнувшись мысленно в тепло щеки, услышал внутри себя все сказанные им когда-либо ласковые слова. Парта и учебник перестали существовать. Существовал только голос и мои невидимые объятия.

— Боже мой, что у тебя на голове? — спросила бабушка.

— Шапка, мама.

— Это не шапка, это кастрюля просто!

— Другой нету.

— Ну заходи, страхолюдина. Есть будешь?

— Дай чего-нибудь. А где Саша?

— Сидит занимается, просил подождать.

— Я здесь, мам! Я уже все! — закричал я, надеясь, что упрошу бабушку оставить математику на завтра.

— Сиди, сейчас проверю! — крикнула бабушка и, велев маме раздеваться, пошла ко мне.

Не глядя на пустую тетрадь, бабушка взяла меня за плечо и, наклонившись к самому моему лицу, зашептала:

— Слушай меня внимательно... Помнишь, она в прошлый раз приходила, говорила, будто я тебя у нее отобрала, и мы поругались? Ты же не хочешь, чтобы мы ругались опять? Если она снова станет врать, что я тебя не отдаю, что я отобрала тебя, встань и скажи твердо: «Это неправда!» Будь мужчиной, не будь тряпкой слабовольной. Скажи: «Я сам хочу с бабой жить, мне с ней лучше, чем с тобой!» Не смей предавать меня! Не смей Бога гневить! Скажешь, как надо, не будешь предателем? Не предашь бабушку, которая кровью за тебя исходит?

— Не предам, — ответил я и, поняв, что математику можно не делать, побежал к маме.

Чумочка ждала меня в дедушкиной комнате на диване и листала оставленную бабушкой книгу «Аллергические заболевания». Я обнял ее за шею и засуетился, чувствуя, как уходят мои минуты, как мало успеваю я посмотреть, прижаться. Сказать я не успел ни слова, в комнату вошла бабушка.

— Что бы будешь, творог или винегрет? — спросила она маму.

— Винегрет давай.

— Лучше творог, винегрет отец придет, есть будет.

— Давай творог.

— Что все «давай»? Пойдешь на кухню да поешь. «Давать» холуев нету. Привыкла, что жопу до пятнадцати лет подтирала, что ж и в сорок подтирать теперь.

— Тридцать семь, не надо мне прибавлять,— засмеялась мама.

— Да тебе и прибавлять нечего, ты в этой шапке на пятьдесят выглядишь. Да еще пятно это на лбу. Конечно, тобой карлики только интересуются.

Я посмотрел на мамин лоб и с ужасом увидел на нем большое светло-коричневое пятно.

— Видишь? — спросила меня бабушка.— Я тебе говорила.

— Что ты ему говорила?

— Подсыпает тебе твой «гений» чего-нибудь. Скоро вся в таких пятнах будешь.

— Шутки у тебя, мам, ниже среднего, извини, конечно. И ты такое ребенку говоришь?

— Шутки шутками, а онкология наверняка. Что это еще может быть?

— Пигментация какая-то после Сочи. С тела сошел загар, на лице осталась.

— А тебе нужны были Сочи эти? Ребенок твой загибался на руках у меня, так вместо того, чтоб помогать, ты в прислуги черноморские подалась.

Я засмеялся и посмотрел на маму — не обижается ли она, что мне весело от бабушкиных слов. Мама не обижалась и даже усмехнулась тоже.

— Где ж я могла помогать, когда ты меня близко не подпускала? — ответила она.

— Так ты же не как надо делала, а как тебе в голову взбретет! То операцию ему сорвала, по сей день аденоиды не вырезаны, то в цирк увела, так что он неделю задыхался потом. А попросила в школу записать, записала так, что теперь через пол-Москвы ездим. Это ты у нас к поездкам привычная, нам со стариком мотаться невелика радость.

— Я думала, он со мной будет жить.

— С тобой уже живет один. Хватит с тебя.

— Ты творог-то дашь мне? Я с утра не ела.

— Сейчас,— ответила бабушка и пошла на кухню.

Я скорее прижался к маме и хотел рассказать ей что-нибудь, но не знал что. Все незначительные новости вылетели из головы. Мама подвинулась так, чтобы, не убирая объятий, я мог видеть ее лицо, и заговорила сама.

— Ну что, соскучился по мне, стосковался? — спросила она, зная, что это так.

— Да,— ответил я.

— А помнишь, как ты маленький совсем у меня жил и сам меня так же спрашивал?.. Пришел с гулянья, деловой такой: «Мама, ты скучала без меня?» «Да»,— говорю. «Хотела плакать?» «Собиралась». «А как ты скучала?» «Да что ж за скука, за тоска мне без сыночка». А ты говоришь: «Это у тебя тоска, потому что ты таскаешься».

Я недоверчиво засмеялся. То, что я когда-то жил с мамой, казалось мне невероятным. Я помнил ночь с разноцветными лампочками и день рождения, а потом сразу была бабушка и редкие праздники, подобные тому, что случился сегодня. Неужели праздники были когда-то жизнью? Я не помнил этого и не представлял, что такое возможно.

— Да, чуть не забыла. Я тебе принесла кое-что,— сказала мама и, потянувшись к сумке, достала небольшую коробку.— Сначала игру тебе смешную покажу, а потом кассету хорошую послушаем, я взяла. Смотри, игра «Блошки» называется.

Мама достала из коробки круглую металлическую тарелочку с высокими краями и целлофановый пакетик, полный пластмассовых кружочков трех цветов. Три кружочка, по одному на каждый цвет, были размером с трехкопеечную монету, остальные с двучку. На дне тарелочки была нарисована мишень— пять концентрических колец разных цветов, в середине «десятка».

— Это надо на чем-нибудь твердом,— пояснила мама и, установив тарелочку на диване, высыпала кружочки на книгу про аллергические заболевания.— Большим кружочком нажимаешь на маленький и стараешься попасть в мишень. Вот так.— Мама надавила на один из кружочков, он прыгнул и попал в тарелочку. Мама засмеялась.— Видишь, как скачет? Поэтому и называется «Блошки». Теперь ты попробуй.

Я попробовал, и мой кружочек тоже попал в тарелочку.

— У тебя семь, у меня пять. Ты выиграл,— сказала мама.

— Давай еще! — загорелся я.

Второй раз я проиграл, но все равно был счастлив, как никогда. Рядом сидела мама, я играл с ней, смеялся и разговаривал. У меня была новая игра, и замечательно, что она такая простая. Когда праздник кончится, «Блошки» останутся, я буду видеть в них свою Чумочку и, может быть, даже спрячу кружочки к мелочам. А пока у меня еще столько времени! Бабушка задержалась на кухне, я слышу, как она хлопает холодильником. Мы можем сыграть еще раз. Я нажимаю кружочком, и моя блошка попадает в девятку. Чтобы обыграть меня, маме нужно яблочко. Она долго примеривается, нажимает... И попадает в самый центр тарелочки!

— Да у тебя не блошка, а снайпер какой-то! — обиженно кричу я.

— Творог холодный, из-под морозилки вытащила, подожди, согреется,— говорит вошедшая в комнату бабушка и садится на стул.

Игра кончилась. Я поспешно собираю кружочки в тарелочку.

— А я узнала, почему Бердичевский так дешево продал Тарасовой машину,— сообщает бабушка маме, и сразу кажется, что никакой игры не было, а неторопливая беседа, сквозь которую я не могу пробиться, потому что не существую, тянется уже давно.— Он же в Америку уехал, а у нее там родственники. Вот она и наобещала, что они ему помогут. Если так, и он поверил, и поэтому продал, то он просто дурак. Она аферистка известная, ей верить нельзя. Теперь она на машинке покатается, а он шиш с маслом увидит. Хотя кто их всех знает... такой шахер-махер кругом, не разберешься.

— Баба, ну мама же ко мне пришла! Дай я с ней поиграю! — прошу я.

— Играй, малохольный. Кто тебе не дает? — удивляется бабушка и снова обращается к маме: — А что, карлика твоего из театра выперли?

— Не выперли, он сам ушел.

— Чего ему засвербило?

— Mam, долго рассказывать... Можно остаться с людьми, которые говорят: «Откажись от авторства, а мы тебе костюм купим»?

— Ну... Всегда можно к общему компромиссу прийти. Его тут не знает никто, и нечего на парное дерьмо с кинжалом бросаться...

— Баба, ну, пожалуйста, дай я с мамой поговорю!

— Что он выиграл? Теперь его вообще ни в один театр не возьмут.

— Между нами только, потому что боюсь загадывать, но один режиссер хороший видел постановку, заинтересовался, чья она. И, представляешь, оказалось, они с Толей были одно время в Сочи знакомы, и ему тогда еще Толины работы нравились. Сейчас ждем ответа, может быть, он его художником на свой фильм возьмет.

— Дай-то Бог, может, он и вправду талантливый человек. Не пил бы так только...

— Mam, ты нарочно, что ли, слышать ничего не хочешь? Я тебе уже сто раз говорила, что он три года не пьет.

— Не знаю... Что ж он раньше хлестал?

— А что еще делать, когда не нужен никому?

— Правильно, теперь он тебе нужен стал. Ребенок тебе незачем, тебе Гойя курортный понадобился! Подставилась под его гений! То он только до звезд доставал, а теперь, поди, и до умывальника иногда дотягивается...

— Баба! Мама! — кричу я безо всякой надежды.— Ну, пожалуйста, дайте мне тоже поговорить! Мама, ты ко мне пришла или к бабушке?

— Ладно, мам, не будем меня обсуждать сейчас,— говорит Чумочка, вняв моим крикам.— Давай лучше кассету хорошую поставим. Где Сашин магнитофон? Я Высоцкого послушать принесла.

То, что произошло в следующую минуту, так и осталось для меня непонятным. Про магнитофон я уже совсем забыл, и вдруг он снова появился в моей жизни, вынутый бабушкой из-за дивана так, словно был поставлен туда не на вечное хранение, а на пару минут.

— Иди открывай, я не знаю, как тут...— сказала бабушка, оставив коробку на столе.

Я нерешительно снял картонную крышку и потянул пенопластовые прокладки. Между ними знакомо заблестел гладкий черный пластик. Я не верил происходящему. Мне казалось, что это какой-то розыгрыш.

— Ну открывай, что ты на него, как баран, уставился? — поторопила меня бабушка и всякая маме: — Я убрала на пару дней, а то бы он никаких уроков не делал, все крутил бы эту бандуру свою.

«Свою!» — сверкнуло последнее слово, и, быстро сбросив прокладки, я установил магнитофон на столе. Так, значит, я все-таки смогу думать: «А у меня «Филипс»!»

Мама достала из сумки кассету, и я был счастлив, что смогу показать, как ловко умею обращаться с такой сложной техникой. Послушный магнитофон требовательно, будто протянул руку, открыл кассетную крышку, вздрогнула в прозрачном окошке умная стрелка, зазвучала из динамика гитара, поплыли, сменяя друг друга, цифры счетчика. Мама была под впечатлением!

Высоцкий мне понравился. У Борьки я слышал скучную песню про коней, и нравился мне только хриплый голос певца, который было бы здорово дать послушать из окна проходим, но совершенно неинтересно слушать самому. А на маминой кассете были записаны смешные песни про жирафа, про гимнастику, про бегуна, который в конце концов пошел заниматься боксом, и слушать их действительно нравилось. Даже бабушка иногда смеялась.

— Верно! Верно! Бег на месте общепримирающий! Гениальный певец был! — сказала она, когда кончилась короткая кассета. — Так глупо, ни за пнюх, жизнь свою сгубил. Марина Влади хорошо с ним хлебнула, до конца дней хватит. А талантливая артистка была, не прислуга, вроде некоторых. И знала, ради кого хлебает. Действительно, гений был, а не с манией величия.

— Я не Марина Влади, хлебать ничего не собираюсь, но чем могу человеку помочь, тем помогу, — ответила мама.

— Ты тут причем?! О тебе вообще речи нет! Хотя тоже артисткой стать могла бы. Как ты в выпускном спектакле играла! Я слезами умывалась, думала, будет толк из дочери. А роль твоя первая! Все говорили: «Пойдет доченька ваша». Пошла... В потаскухи пляжные. Что из тебя теперь? Если только позировать будешь костями своими. Карлик твой пляски смерти не пишет?

— Что за язык у тебя, мам? Что ни слово, то, как жаба, изо рта выпадает. Чем же я тебя обидела так?

— Обидела тем, что всю жизнь я тебе отдала, надеялась, ты человеком станешь. Нитку последнюю снимала с себя: «Надень, доченька, пусть на тебя люди посмотрят!» Все надежды мои псу под хвост!

— А что ж, когда люди на меня смотрели, ты говорила, что они на тебя, а не на меня смотрят?

— Когда такое было?

— Когда девушкой я была. А потом еще говорила, что у тебя про меня спрашивают: «Кто эта старушка высохшая? Это ваша мама?» Не помнишь такого? Я не знаю, что с Мариной Влади было бы, если б ей с детства твердили, что она уродка.

— Я тебе не говорила, что ты уродка! Я хотела, чтоб ты ела лучше, и говорила: «Не будешь есть, будешь уродяга».

— Всякое ты мне говорила... Не буду при Саше. Ногу ты мне тоже сломала, чтобы я ела лучше?

— Я тебе не ломала ноги! Я тебя стукнула, потому что ты изводить начала! Идем с ней по улице Горького, — стала рассказывать мне бабушка, смешно показывая, какая капризная была мама, — проходим мимо витрин, манекены какие-то стоят. Так эта как затянет на всю улицу: «Ку-упи! Ку-упи!» Я ей говорю: «Оленька, у нас сейчас мало денежек. Приедет папочка, мы тебе купим и куклу, и платье, и все что хочешь...» «Ку-упи!» Тогда я и стукнула ее по ноге. И не стукнула, а пихнула только, чтоб она замолчала.

— Так пихнула, что мне гипс накладывали.

— У тебя не перелом был, у тебя была трещина, но ты же не жрала ничего, вот и были кости, как спички. Я потому и заставляла тебя лучше есть. Сама голодная ходила, в тебя пихивала. А ты хоть раз поинтересовалась: «Мама, а ты сыта?» Не то что любви, благодарности ни в одном взгляде не было. Только и знала последние жилы тянуть. В больницу приходила, деньги требовала!

— Я не требовала. Я на чулки попросила, а ты начала мне спектакль разыгрывать, как скоро умрешь, и тогда мне все достанется.

— А ты и сказала, что не можешь ждать, пока я умру!

— Нет, я просто сказала, что чулки мне сегодня нужны.

— Могла бы потерпеть, не таскаться, пока мать в больнице. Но у тебя папочка был перед глазами, потаскун известный, конечно, отстать боялась. Пре-

взошла! Превзошла! Он с гениальными не якшался. Хотя не знаю, они с цирком ездили в Омск на гастроли, там вроде были лилипуты какие-то...

— Баба, ну что вы все ругаетесь? Дай я с мамой поговорю немножко. Я ее столько не видел...

— Эх, Господи, сколько сил ушло, сколько нервов — все впустую. За что, Господи, одного ребенка похоронила, второго проституткой вырастила?

— Что ж ты меня все в проститутки записываешь? У меня за всю жизнь два мужчины было, а в проститутках я у тебя лет с четырнадцати хожу.

— Я хотела, чтоб ты училась, а не таскалась!

— Я не таскалась, но то, что всю жизнь думала про себя, что такая ученая, а не нужна никому, — это так. И то, что не о ролях думала, а не знала, за чьей спиной от тебя спрятаться, — тоже так. И если вижу сейчас, что есть человек, который меня любит и который ради меня работает с утра до ночи, так, может, в этом и есть мое счастье. Отец тебе всю жизнь отдал, ты этого оценить не уме-ла. Я умею. За это ты меня втаптываешь? А был бы ребенок со мной, которо-го ты мне пять лет не отдаешь, так, может, я и совсем счастлива была бы.

— Человек твой не ради тебя работает, а ради квартиры, можешь себя не тешить. А ребенка ты сама бросила. Мне держать его не надо, он сердечком своим сам все чувствует. Понимает, кто за него кровью изошел, а кто на урода променял полутораметрового. Ладно, пойду пожрать тебе дам. Может, попра-вишься немного, Гойя твой хоть Козетту с тебя напишет, все ж не совсем при-слугой будешь... — И, глянув на меня исподлобья, бабушка вышла из комнаты.

Я снова остался наедине с мамой. Снова получил несколько замечатель-ных минут и засуетился, понимая, что сегодня таких минут больше не будет. Я обнял маму изо всех сил и не знал, предложить ли ей еще раз сыграть в «Блош-ки», попросить ли что-нибудь рассказать или послушать еще Высоцкого.

— Расскажи мне что-нибудь, — решил я наконец.

— Не знаю даже, что и рассказать. Бабушка мне все мысли смешала, си-жу, как курица, глазами хлопаю.

— И чего вы с ней все ругаетесь?

— Такие вот мы у тебя... Ругливые. Дядя Толя книжку принес старинную. Называется «Заветные сказки». Старинные сказки русские, необработанные. Там такие тексты, ну точно, как бабушка выдает.

— Как? — засмеялся я.

— А вот так! — обрадовалась мама тому, что заинтересовала меня расска-зом. — Про попа, например, есть сказка, как к нему мужик нанялся работать и назвался Какофием. Работать — не работал, стащил калачей связку, в шапку попу наложил и сбежал. Поп его искать бросился, надел шапку, выбегает за во-рота и кричит: «Не видали ли, люди, Какофья?!» А ему отвечают: «Видим, ба-тюшка, видим! Что ж ты весь в говнах?»

Я захохотал так, что в груди у меня захрипело. От сильного смеха мне ино-гда сжимало легкие, как во время болезни, только не так сильно, и проходило это само, без порошков Звягинцевой.

— А еще какие? — нетерпеливо спросил я.

— Про петушка есть еще смешнее. Был петушок один, отправился путе-шествовать. Вот идет он по лесу, встречается ему лиса...

— Оля, иди есть! — крикнула из кухни бабушка.

— Я поем, дорасскажу тебе.

— Расскажи сейчас! — испуганно уцепился я за ослабевшие объятия. —

Потом вы опять с бабушкой будете, а мы так и не поговорим.

— Поговорим обязательно, я же еще не ухожу.

— Ну я же знаю, как будет! Не уходи, подожди!

— Ты же не хочешь, чтоб я с голоду умерла?

— Ты поешь, только про петушка расскажи. Коротко хотя бы...

— Ну он встречает лису, волка, медведя, все у него спрашивают: «Куда ты, петушок, идешь?» «Путешествовать...»

— Ты есть идешь или нет? Что, я тебе еще и набиваться должна?

— Я пойду, а то она ругаться начнет.

— Мама...

— Сейчас я вернусь.

Объятия разорвались. Чумочка встала и пошла к двери. Тысячи невиди-мых рук бросились за ней, но понуро вернулись к груди, бессильные заменить две настоящих. Я знал, что мама скоро уйдет и обнять ее я уже не смогу. Но ма-ма выглянула в коридор, быстро вернулась ко мне, прижала и зашептала в ухо:

— Не грусти, сыночка. Скоро дядя Толя получит хорошую работу, у нас будет деньги, и я смогу тебя забрать. Мы давно хотим, но нам вдвоем сейчас совсем жить не на что, как мы втроем будем? Обязательно заберу тебя! И поговорим тогда, и поиграем, и все, что захочешь. Все время вместе будем, обещаю тебе. Ну, не куксись, кисеньш. Что ты, как маленький совсем? Я же здесь еще. Сейчас приду к тебе опять.

— Ты идешь или нет? — снова крикнула бабушка.

— Сейчас вернусь, здесь с тобой рядом поем,— пообещала Чумочка и вышла из комнаты.

Я остался один на диване. Во всем, что прошептала мне мама, важны были только слова «я приду к тебе, кисеньш», остальное было продолжением сказки. Этого не могло быть на самом деле. Мама не могла меня забрать, счастье не могло стать жизнью, и жизнь никогда не позволила бы счастью завести свои правила. Она устанавливала свои, и только им я мог подчиняться, подстраиваясь, чтобы любить маму, ничего не нарушая.

— Сейчас она вернется, скажи, что тебе неинтересно сказки какие-то слушать про петушка...— зашептала бабушка, появившись в комнате вскоре после того, как из нее вышла мама.— Пусть она сама в говнах ходит, что она за дурачка тебя держит. Скажи, что тебя техника интересует, наука. Имей достоинство, не опускайся до кретинизма. Будешь достойным человеком, все тебе будет — и магнитофон, и все что захочешь. А будешь, как недоросль, байки дешевые слушать, будет к тебе и отношение такое...

— Что ж ты ребенка против меня настраиваешь? — осуждающе сказала мама, войдя в комнату с тарелкой творога.— Что ж ты покупаешь его? Он слушал, у него глаза загорелись. Как он может сказать, что ему неинтересно было? Зачем ты так? Иезуитка ты!

— Никто его не покупает! Зачем ему мать, которая припрется раз в месяц да еще сожрет то, что ему куплено? Чтоб тебе этот творог комом в горле встал! Даже волчица у сына своего куска не отнимет!

— Спасибо, мам, я наелась...— сказала мама, поставив тарелку с творогом на стол.

— Ох, какие мы гордые! Жанна Д'Арк пятнистая, держите меня! Что ж ты, такая гордая, прислугой нерасписанной в своей квартире ходишь? Знаю почему, боишься, что распишешься, а он тебя коленом под зад да в разменянную квартиру помоложе приведет, не такую высохшую. А он так и сделает! У него уж и на примете есть одна. Я видела!

— Кого ты видела?

— Увидишь, когда приведет.

— Баба, нос заложило,— сказал я, дергая бабушку за руку.— Закапай что-нибудь.

— Будешь одна, никому не нужная, без мужа, без детей — поймешь, какво мне пришлось всю жизнь в одиночестве задыхаться,— продолжала бабушка, не обращая на меня внимания.— Все отдавала! Внутренности вынимала — нате, ешьте! Хоть бы капля сочувствия мелькнула! Как должное хапали!

— Про мужа не знаю, а в ребенке ты мне не отказывай! Хоть он и с тобой живет, хоть ты его и настраиваешь, а он все равно мой!

— Нет у тебя ребенка! Променяла! У тебя карлик есть, его бди! Это мой ребенок, я его муками выстрадала!

— Что ж ты муками своими руки себе так развязываешь?

— Что, сволочь?! Что я муками своими делаю?! — крикнула бабушка и схватила с буфета деревянного фокстерьера.

Я бросился к ней и, плача от ужаса, стал загораживать маму. Один раз подобное уже было, и я не помнил чего-либо страшнее. Страх застилал мне глаза. Я видел только острый угол подставки и хотел одного — чтобы тяжелая деревянная собака осталась на месте.

— Баба, не надо! Не надо!

— Уйди, гнида, не путайся под ногами!

— Ненормальная, что ты делаешь?! — крикнула мама, убегая от бабушки за стол.— Поставь собаку!

— Не бойся, поставлю,— презрительно сказала бабушка, устанавливая фокстерьера на прежнее место и смахивая с него рукавом пыль.— Отцу подарил, я о такую курву марать не стану. Да ты и не курва даже, ты вообще не женщина. Чтоб твои органы собакам выбросили за то, что ты ребенка родить посмела.

— За что ж ты ненавидишь меня так? — спросила мама, и по щекам ее потекли слезы. — За что ж при сыне меня так топчешь? Все забрала! Вещи забрала, сына забрала, так ты и любовь его забрать хочешь? Сашенька! — схватила вдруг мама с вешалки мое пальто. — Пойдем со мной! Пойдем, я тебя забираю...

— Оставь пальто, сука, не тобой куплено! — крикнула бабушка и снова взяла фокстерьера. — Только подойди к нему!

Мама отшатнулась.

— Ха, — сказал я и посмотрел на бабушку. — Да я бы и не пошел с ней. Я сам хочу с тобой жить. Мне тут лучше.

— Все отняла! Все отняла! — в голос зарыдала мама и, отбросив мое пальто, кинулась к своей куртке.

— Давай, давай, катись отсюда! — говорила бабушка, пока она одевалась. — И приходишь больше не смей. Иди карлику яйца потные вылизывать, пока он тебя терпит! Недолго уже!

Мама открыла дверь и с громким плачем бросилась вниз по лестнице. Бабушка распахнула балкон, схватила стоящую под столом кастрюлю и с криком: «На, Оленька, ты есть просила!» вылила ее содержимое вниз.

— Хорошо я ее приделала! — сообщила она, закрывая балконную дверь.

— Попала?

— Стоит, вермишель с плеча стряхивает.

Я засмеялся. Праздник кончился, началась жизнь. Я не мог больше любить свою Чумочку. Я мог любить только свои тайные мелочи, а счастьем должен был пренебрегать.

— А это что за дерьмо она тут оставила? — спросила бабушка, глядя на диван.

— Это... «Блошки», — испуганно ответил я.

— Блошки!!! Ну-ка дай сюда!

Схватив тарелочку и кружочки, бабушка понесла их из комнаты.

— Отдай! Куда ты их? Отдай!

— Блошки! Я лекарства по пятьдесят рублей покупаю, а она блошки приносит? Чтоб у нее блошки прыгали по телу до самой смерти!

Бабушка принесла «Блошки» на кухню и открыла мусоропровод.

— Не надо! — кричал я, хватая ее за руки. — Не надо, оставь! Это мама подарила!

— Мама! Я тебе жизнь дарю свою, а таких блошек могу купить сто и все переломать на голове! Убери руки!

— Не надо! Не надо, пожалуйста! Это мама...

Заокали по дну ковша пластмассовые кружочки, звякнула тарелочка. Ковш, рывкнув заржавленными петлями, закрылся.

— Что ты сделала?! — закричал я, заливаясь слезами, и бросился в спальню, на кровать. — Что ты сделала?!

— Что плачешь из-за дерьма копейного?! Мужчиной будь! У тебя магнитофон есть, он подороже будет! Будешь реветь, заберу, больше не получишь!

— Что ты сделала?! — плакал я. — Как ты могла?! Никогда... Сволочь ты! Сволочь!..

На следующий день я сидел на кровати и разглядывал пластмассовый кружочек, который случайно нашел около мусоропровода. Дома никого не было, и я мог глядеть на него сколько угодно. Отчего-то мне захотелось плакать, и, чтобы стало грустнее, я решил сделать то, что всегда раньше считал глупым.

— А подарок твой она выбросила, — пожаловался я кружочку. Звук собственного голоса в пустой комнате послышался мне таким жалобным, что слезы не замедлили появиться. — Где ты теперь? Сколько тебя еще ждать... — говорил я, и с каждым словом из глаз выкатывались новые капли.

Вдруг раздался звонок в дверь. Я вздрогнул. Бабушка предупреждала, что, если я останусь один и будут звонить, я должен затаиться и сидеть тихо, потому что Рудик хочет ограбить квартиру и ждет, когда дома никого, кроме меня, не будет. Так вот он пришел! Я испуганно сжался. Глаза зачесались от высохших мигот слез, но я боялся поднять руку, чтобы протереть их. Тихо. Может, все? Звонок повторился. Повторился еще раз и залился настойчивым трезвоном, от которого заматалось все внутри. В груди похолодело. Казалось, если я буду сидеть тихо и ничего не делать, Рудик выломает дверь этими требовательными звонками и доберется до меня неподвижного еще скорее. Замирая от страха, я встал и прокрался в коридор. Звонок разрывался у меня над головой. Рудик не верил, что меня нет дома! Он знал, что я один!

— Кто там? — спросил я дрожащим голосом, ожидая, что сейчас буркнет Рудиков бас, и тогда я с криком брошусь от двери.

— Я, — послышался голос моей Чумочки. — Открывай быстрее!

— Мама?!

Я не задумываясь открыл дверь. Чумочка вошла и, даже не обняв меня, топорливо сняла с крючка мое пальто.

— Собирайся скорее, пойдем со мной.

— Куда?

— Ко мне. Жить. Я тебя забираю.

— Как?

— Останешься у меня насовсем. Одевайся.

Не знаю почему, но в одну секунду я поверил, что это правда. Это было преступлением. Неслыханным преступлением, но, может быть, из-за пережитого только что страха я не думал, что же мы с мамой творим, и чувствовал только ослепляющее ликование.

— Давай скорее, бабушка в магазине, сейчас придет. Что ты с собой берешь?

— Вот! — показал я свою коробку, которую успел уже вытащить из-за тумбочки и в которую спрятал прилипшую к вспотевшей ладони блошку.

— Все?

— Все.

— Шарф надевай, метель на улице! Где он у тебя?

— Не знаю.

— Ищи скорей.

Чувствуя себя грабителем, который мечется по дому, куда вот-вот вернется хозяева, я бросился на поиски шарфа. Его нигде не было.

— Ладно, я тебе свой отдам. Замотай лучше, ты же простужен. Пошли.

Мы с мамой захлопнули дверь и сели в лифт.

«Успели! Успели!» — билась мысль, когда мы вышли из подъезда и, пряча лица в воротники от густой холодной метели, пошли к метро.

«Успели!» — ликовал я, когда мама дала мне высыпавшиеся из разменного автомата пятаки.

«Успели...» — думал я устало, когда мы вошли в ее квартиру.

Казалось, я должен был бы радоваться, суетиться, получив в свое распоряжение столько чудесных минут, или, наоборот, неспешно располагаться, зная, что смогу теперь говорить с мамой сколько захочется, но я сел в кресло, и все стало мне безразлично. Мне казалось, что время остановилось и я нахожусь в каком-то странном месте, где дальше вытянутой руки ничего не существует. Есть кресло, есть стена, с которой удивленно смотрит на меня вырезанная из черной бумаги глазастая клякса, и ничего больше. А вот еще появилась мама... Она улыбается, но как-то странно, как будто извиняется, что привела меня в такой ограниченный мир. Только теперь я понял, что мы с ней совершили. Мы не просто ушли без спросу из дома. Мы что-то сломали, и без этого, наверное, нельзя будет жить. Как я буду есть, спать, где гулять? У меня нет больше железной дороги, машинок, МАДИ, Борьки... Есть коробка с мелочами, она лежит в кармане пальто, но зачем открывать ее, если мама сидит рядом? И где теперь бабушка? Ее тоже больше нет?

Я встал с кресла и прижался к маме, чтобы вознаградить себя за все потерянным счастьем, минуты которого не надо теперь считать, и с ужасом почувствовал, что счастья нет тоже. Я убежал от жизни, но она осталась внутри и не давала счастью занять свое место. А прежнего места у счастья уже не было. Невидимые руки хотели обнять маму, чтобы больше не отпускать, хотели успокоиться свершившимся раз и навсегда ожиданием — и не могли, зная, что почему-то не имеют на это пока права. Я тревожно подумал, что надо скорее вернуть все обратно, и понял, что тогда это право вовсе уйдет от них навсегда. Мне стало жарко. Я уткнулся маме в плечо и закрыл глаза. В темноте замелькали красные пятна.

— Да у тебя температура, — сказала мама и, взяв меня на руки, опустила в теплую воду. Я поплыл. По красному небу над моей головой носились черные птицы. Крылья у них были бесформенные, словно тряпки. Я нырнул и стал спускаться вдоль отвесной белой стены...

Мама укрыла меня в кровати одеялом и, притворив дверь, вышла из комнаты, когда в квартиру вошел Толя.

— Я все сделала, как ты сказал,— волнуясь, сообщила ему мама.— Мать в магазин пошла, я его увела.

— Где он?

— Лежит, разболелся совсем. Метель на улице, он и так простужен был... Толя, что я наделала! Мать меня уничтожит!

— Он будет с нами, мы это вчера решили. Скандал будет, и не один, но поддаваться не смей. Хватит ребенка калечить. Ты его мать. Почему он должен с сумасшедшими стариками жить?

— Она опять его отнимет. Она придет, я сдамся. Это мы повод придумывали, что денег у нас нет, что пока не расписаны... А я боюсь ее! Я только сейчас поняла, как боюсь! Забирала его, будто крала что-то. Такое чувство, что это не мой ребенок, а чужая вещь, которую мне и трогать запрещено. Она придет, я с ней не справлюсь. Она все, что захочет, со мной сделает... Толечка, не уходи никуда хотя бы первые дни! Будь рядом!

— Я не только не уйду, я считаю, что и говорить с ними я должен. На тебя они влияют, а я им скажу все, как мы решили. То, что мы расписываемся, им все равно, но теперь я хоть говорить могу. Какие у сожителя права заявлять деду с бабкой, что внук с ними больше не живет?

— А я тоже прав не чувствую! Я будто преступление совершила и кары жду. Они меня опять растопчут! Вырвут его, как тогда, пихнут в грудь — и все. А я и слова против не скажу, пойду только слезы глотать...

— Подумай еще раз и скажи мне одно — ты решила насовсем его взять и отстаивать или думаешь, как получится? Если не решила до конца, лучше вези обратно прямо сейчас.

— Да он болен совсем, как я его повезу?

— Значит, не решила... Тогда и говорить нечего. Отдашь, когда поправится, и все. Но скоро он не только бабушке будет говорить, что маму не любит, но и тебе тоже.

— Как?

— Так. Он вчера почти что это сказал.

Я спускался все глубже и глубже. Гладкая стена тянулась куда хватало глаз, и я боялся, что ничего не найду. Где же это? Должно быть здесь... Нет, опять ничего. Никогда, никогда не найду я теперь ту дверь! Откуда-то сверху донесся звонок. Я поспешил на поверхность, вынырнул под красное небо и услышал его совсем рядом. Но черные птицы шумели крыльями, задевали ими по глазам и мешали понять, что это. Звонок слышался прямо передо мной. Я моргнул. Птицы испуганно разлетелись, красное небо лопнуло, и я увидел дверь. Но это не та дверь... Та должна быть в белой стене, а здесь стена голубая, и на ней черное с остротками пятно. Но я слышу голос мамы... Она сказала, что решилась. А другой голос ответил, что будет тогда говорить. Кто это? Рудик? Звонки прекращаются. Рудик говорит: «Здравствуйте, Нина Антоновна». Видение двери растворяется в красном небе. Снова слетаются черные птицы. «Он останется у нас, это решено»,— доносится из-за шума крыльев голос Рудика, и я опять ныряю на поиски двери, которая мне так нужна...

— Здравствуйте, Семен Михайлович,— говорил Толя по телефону.— Так мы с Олей решили. Не по-хулигански, а потому что иначе нельзя было. А как иначе? И я тоже не знаю. Какие лекарства? Ну, Оля же не знала про них. Гомеопатия? Сейчас прямо? Это необходимо? Хорошо. Всего доброго.

— Куда ты?

— Отец твой просил за гомеопатией приехать. По телефону скандал выслушали, еще один лично, и, надеюсь, все на сегодня. Вообще он был достаточно спокоен. Может, поговорю с ним наедине, объясню все. Саша проснется, предупреди его про меня. А то до сих пор ведь, наверное, думает, что я злодей и за голову его тогда поднял, а не за плечи.

Мама закрыла за Толей дверь, достала из тумбочки банку тигровой мази и стала растирать мне спину.

В розовой, наполненной светом красного неба глубине я шарил по ровной гладкой стене. Вода стала горячее, и плавать было жарко. Я чувствовал, что долго не выдержу. Стена нескончаемо тянулась вдаль, вниз и вверх, и я понимал, что ничего не найду.

«Может быть, дверь откроется в любом месте?» — подумал я и закричал:

— Мама! Открой! Открой! — кричал я, ударяя в стену кулаками и всем телом.— Я хочу с тобой жить! Я только тебя люблю! Только тебя! Открой!

Дверь открылась... Круглый туннель возник передо мной в стене, и я поплыл по нему, петляя многочисленными поворотами. Я повернул еще раз и в ужасе замер. В темно-красных сумерках неподвижно висел огромный черный осьминог. В щупальцах его было зажато по свече, и он медленно кружил ими перед собой, в упор глядя на меня круглыми злыми глазами. Осьминог не нападал, но немое кружение свечей было страшнее нападения. В нем пряталась угроза, от которой нельзя было укрыться, как от колдовства. А может, это и было колдовство? Я развернулся и изо всех сил поплыл назад к двери. Осьминог пустился за мной. Туннель ушел вниз глубоким колодцем, и воск со свечей потек прямо мне на спину. Я выгнулся от нестерпимого жжения, но выплыл из туннеля и, схватив дверь за ручку, потянул на себя, чтобы закрыть. Тут я увидел, что ко мне плывет бабушка. Она сунула руку в карман, и навстречу мне зазмеилось что-то длинное.

— Ну что, предатель, шарфик-то забыл,— сказала бабушка.— Я принесла. Принесла и удавлю им...

Я закричал, бросился обратно в туннель и захлопнул дверь. Бабушка стала звонить.

— Кто там? — спросил кто-то маминым голосом.

— Я, сволочь! — ответила бабушка.

— Что ты хочешь?

— Открой немедленно!

Я бросился прочь обратно по туннелю и неожиданно выплыл на поверхность. Черные птицы носились вокруг меня, и за шумом их крыльев слышался бабушкин голос!

— Такая сука, что выдумала! Увела... О-ой, что сделала с ним! По метели через всю Москву... Насквозь простужен, как поднять его теперь! Саша! Сашенька... Чем ты его намазала?! Чем ты намазала его, сволочь?! Чтоб тебе печень тигровой мазью вымазали! Там салицил, у него же аллергия! Будь ты проклята! Будь ты каждым проклята, кто тебя увидит! Будь ты каждым кустом проклята, каждым камнем! Где пальто его? Отец в машине сидит ждет!

Черные птицы слетелись в плотные стаи и бросились на меня. Я отбивался, но они хватали меня клювами за руки, за шею, переворачивали и говорили бабушкиным голосом:

— Привстань, любонька. Привстань, деда ждет нас. Протяни руку в рукавичк. Помоги, сука, видишь, он шевельнуться не может? Что сделала с ним? Чтоб тебя за это, мразь, дугой выкрутило! Помоги, сказала, что стоишь?!

Черные птицы бросились мне на голову, залепили лицо. Я схватился руками за глаза, разорвал пелену шумящих крыльев и увидел бабушку. Она натягивала на меня вязаный шлем. Мама, плача, застегивала на мне пальто.

— Сашенька, иди можешь, солнышко?— спросила бабушка.— Только вниз спустимся, там деда нас на машинке повезет. Что сделала с тобой курва эта?.. Что ж ты пошел, дурачок, за ней?

Шлем налез мне на глаза, но птицы стащили его и снова закружились надо мной. Я нырнул и решил спрятаться от них в туннеле.

— Поможесть снести его, видишь, он иди не может! — слышал я бабушкин голос, уплывая в глубь жаркой розовой воды.— И больше, сука, не увидишь! Карлик твой прокатится-вернется, плодите с ним уродов себе, а к этому ребенку близко больше не подойдешь! Бери, сволочь, под другую руку, пошли вниз! Что?! Что ты сказала?! Да я с тобой, знаешь, что сделаю...

— Люди, помогите! — прорвался откуда-то мамин крик.

— Боишься?! Правильно боишься! Думала, я только кричать способна? Голову проломлю сейчас лампой этой! Я душевнобольная, меня оправдают. А совесть чиста будет, сама родила, сама и гроб заколочу. Пошла отсюда! Сама донесу. Хватит сил и на мощи его, и на тебя еще, гниду, останется.

Я подплыл к отверстию туннеля и хотел в нем спрятаться, но почувствовал, как что-то обхватило меня под мышками. Я обернулся. Это был осьминог.

— Лифт вызывай, видишь, руки заняты? — сказал осьминог бабушкиным голосом и, обвив меня щупальцами за грудь, потащил прочь от стены. Спротивляться было невозможно. Спасительное отверстие туннеля понеслось от меня, уменьшаясь до размеров точки, и вдруг вспыхнуло ярким красным огнем на серой стене. Стена раздвинулась створками, из-за которых хлынул желтый свет, а вдалеке я увидел себя в пальто и в красном шлеме на руках у бабушки. Зеркало... Лифт...

— Потерпи, кутенька, скоро дома будем,— прошептала бабушка мне на ухо и, повернувшись, сказала:

— И запомни: ни звонить, ни приходить больше не смей. Нет у тебя ребенка! Ты не думай, что, если он пошел за тобой, ты ему нужна. Я-то знаю, как он к тебе относится. Он тебе сам скажет, дай только поправиться... Ты что делаешь, сволочь?! — закричала бабушка вдруг.

Зеркало и желтый свет закрылись створками, и осьминог в темноте стал крутить меня в разные стороны. Красный огонек прыгал перед глазами, но вот он исчез, и я понял, что теперь целиком во власти тянущих меня щупалец.

— Пусти! Пусти, убью! — кричала где-то в темноте бабушка.

— А убивай, мне терять нечего!

Хватка осьминога вдруг ослабла, я почувствовал, что лечу.

— Упал! Упал, Господи! — слышал я далекие крики.— Ты что делаешь? Посмотри, что с ребенком твоим! Психопатка, ты что мать в грудь толкаешь? Ах ты, сволочь! Смотри-ка, сильная! Психопатки все сильные! Ребенок! Ребенок на полу лежит! Ах ты, отродье... Чтоб тебе отсохла рука эта! Справилась, сволочь, со старухой больной? Ну сейчас я отца приведу! Попробуй только дверь не открыть! С милицией выломаем! Ребенка подними, лежит на камнях холодных...

Мама взяла меня на руки и отнесла в квартиру. Она положила меня на кровать, сняла с меня пальто и шлем, укрыла одеялом. Я остался в спокойной темноте и заснул.

— Ну, сволочь, сейчас будет тебе,— говорила бабушка под дверью маминной квартиры.— Отец за топором пошел, сейчас дверь будем ломать. Выломаем, я тебе этим же топором голову раскрою! Открой лучше сама по-хорошему! У отца и в милиции знакомые есть, и в прокуратуре. Карлика твоего в двадцать четыре часа выселят, не думай, что прописать успеешь. По суду ребенка отдашь, если так не хочешь. Отец уже на усыновление подал. А тебя прав родителей лишат. Отец сказал, что и машину свою не пожалеет ради этого, перепишет на кого надо. Что молчишь? Слышишь, что говорю? Открой дверь... Затихла, курва? Я знаю, что слышишь меня. Ну так слушай внимательно. Я в суд не буду обращаться. Я тебе хуже сделаю. Мои проклятия страшные, ничего, кроме несчастий, не увидишь, если прокляну. Бог видел, как ты со мной обошлась, он даст этому свершиться. На коленях потом приползешь прощения молить, поздно будет.— Бабушка прижалась губами к замочной скважине.— Открой дверь, сволочь, или прокляну проклятием страшным. Локти до кости сгрызешь потом за свое упрямство. Открой дверь, или свершится проклятие!

Мама, обхватив голову, сидела на кровати, где я лежал, и не двигалась.

— Открой, Оля, не ссорься со мной. Тебе все равно лечить его, а у меня все анализы, все выписки. Без них за него ни один врач не возьмется. Не буду зла на тебя держать, заберу назад все слова свои, пусть у тебя живет. Но, раз такая обуза на наших плечах, давай вместе тянуть! Денег нет у тебя, а у отца пенсия большая, и работает он. Сейчас еще за концерты получит. Все тебе будет: и деньги, и продукты, и вещи ему любимые. У тебя же, кроме пальто этого, нет ничего, все у меня осталось. Во что ты его одевать будешь? И учебники его у меня, и игрушки. Давай по-хорошему. Будешь человеком, буду тебе помогать, пока ноги ходят. А будешь курвой, сама с ним будешь барахтаться. А чтоб ты и захлебнулась, раз такая сволочь!..

Оля, открой, я только посмотрю, как он. Не буду забирать его, куда его больного везти? И отец уехал, не стал ждать меня. Правда, уехал. Послал к черту, поехал домой. Как всегда... Открой дверь, детка, нельзя же, чтоб ребенок без помощи столько был. Сейчас Галине Сергеевне позвоню, врачу его. Она приедет, банки поставит. Что ты, своему же ребенку погибели хочешь?! Вот сволочь, и ребенка сгноить готова, лишь бы мать не пустить! Что ж тебе, упрямство дороже сына? Открой дверь! Откро... ой! Ой! Ах... Ах-а-ах... — Бабушка сползла по двери на пол.— Довела... Довела, сволочь, голову схватило. А-ах... Не вижу ничего. Так и инсульт шархнет. Где же нитроглицерин мой?.. Нету! Нет нитроглицерина! Ах... Погибаю! Врача... «Скорую» вызови... Инсульт! Ах... Нитроглицерин дай мне... Сволочь, что ж ты мать под дверью подышать оставляешь?.. Не вижу ничего... Врача... Мать погибает, выйди хоть попрощайся с ней...

Вот ведь мразь воспитала, бросила мать под дверью, как собаку. Ну тебе Бог делает за это! Сама в старости к сыну своему приползешь, а он тебя на порог не пустит. Он такой! Он мне говорил, как к тебе относится. Это ты при-

дешь, он тебе на шею виснет, а только ты за порог, так он тебя с любой грязью смешать готов. Пусть у тебя остается, мне такой предатель двуличный даром в доме не нужен. Пусти только, проверю, как он, чтоб совесть чиста была. Что ж я из-за тебя перед Богом вину нести должна?..

Господи, за что ж такая судьба мне? — заплакала бабушка. — За что милосердия мне на троих послал? За что, за милосердие, тобой же посланное, такие муки шлешь? Всю жизнь дочери отдавала! Болела она желтухой, последние вещи снимала с себя, чтоб лимонами ее отпаивать. Платье ей на выпускной надо было, пальто свое продала, две зимы в рубище ходила. Кричала на нее, так ведь от отчаяния! Доченька, сжался над матерью своей, не рви ей душу виной перед ребенком твоим. Вон он кашляет как! А у меня лекарство с собой! Сейчас бы дала ему да поехала домой. И он бы спал спокойно, и я бы уснула с чистой совестью. Уснула, да хоть бы и не проснулась больше...

Пусти, Оленька, что ж я выть должна под дверью? Тебе слезы мои приятны, да? Отплатить мне хочешь? Ну прости меня. Больная мать у тебя, что ж топтать ее за это? Топтать каждый может, а ты прости. Покажи, что величие есть в тебе. Боишься, опять кричать начну? Не буду... Простишь, буду знать, что недостойна голос на тебя повысит. Ноги тебе целовать буду за такое прощение! Грязная дверь у тебя какая... Слезами своими умою ее. Весь порог оботру губами своими, если буду знать, что тут доченька живет, которая матери своей все грехи простила. Открой дверь, докажи, что ты не подстилка, а женщина с величием в душе. Буду спокойна, что ребенок достоин такой матери, уйду с миром. Открой, что ж так дешевкой и останешься?.. Слышишь меня? Ответь хотя бы! Ах, сволочь, ничего слышать не хочешь!

Оля, Оленька... Открой дверь! Нет у меня лекарства никакого, но я хоть рядом буду, руку ему на лобик положу. Пусть он у тебя будет, но рядом-то быть позволь! Что ж ты душу мою заперла от меня?! Открой, сволочь, не убивай! Будь ты проклята! Чтоб ты ничего не видела, кроме горя черного! Чтоб тебя все предали, на всю жизнь оставшуюся одну оставили! Открой дверь!

Пусти к нему... — Бабушка стала колотить в дверь ногами. — Закрыла, чтоб тебя плитой закрыли могильной! Проклинаю тебя! Проклинаю и буду проклинать! Змеей вьюсь, чтоб ты дверь эту открыла, так ты ж ею сердце перещемила мне! Не надо мне прощения твоего, сволочь, но боль мою пойми! Пойми, что лучше б мне в детстве умереть, чем всю жизнь без любви прожить. Всю жизнь другим себя отдавала, заслужить надеялась! Сама любила как иступленная, от меня как от чумной бежали, плевками отплевывались! Что ты, что отец, что твой калека несчастный. Алешенька любил меня, так он крохой из жизни ушел. Какая у крохи любовь? А чтоб так, как тебя, за всю жизнь не было! Думаешь, не вижу, кого он из нас любит? Хоть бы раз взглянул на меня, как на тебя смотрит. Хоть бы раз меня так обнял. Не будет мне такого, не суждено! А как смириться с этим, когда сама его люблю до обморочка! Он скажет «бабонька», у меня внутри так и оборвется что-то слезой горячей радостной. Грудь ему от порошка моего отпустит, он посмотрит с облегчением, а я и рада за любовь принять это. Пусть хоть так, другого все равно не будет. Пойми же, что всей жизни голод за шаг до смерти коркой давлюсь-утоляю! Так ты и этот кусок черствый отбираешь! Будь ты проклята за это! Оля... Оленька! Отдай мне его! Я умру, все равно он к тебе вернется. А пока будешь приходить к нему, сколько хочешь. Кричать буду — внимания не обращай. Проклинать буду — ну потерпи мать сумасшедшую, пока жива. Она сама уйдет, не гони ее в могилу раньше срока. Он последняя любовь моя, задыхаюсь без него. Уродлива я в этой любви, но какая ны есть, а пусть поживу еще. Пусть еще будет воздух мне. Пусть еще взглянет он на меня разок с облегчением, может, «бабонька» еще скажет... Открой мне. Пусти к нему...

Мама стояла у двери. Она взялась за замок и стала открывать.

— Нина Антоновна, что вы нам тут концерты устраиваете? — послышался голос Толи. — Саша остается с нами, это решено, а вас Семен Михайлович дома ждет. Что вы с нами делаете? Меня выманиваете, как мальчишка, его дверь ломать просите. Езжайте-ка домой, вам тут не подмости. Хватит с нас Анны Карениной на сегодня.

— Сговорились! Сговорились с предателем! Знала, что до конца предаст! Чувствовала! Будьте вы прокляты все! Будьте прокляты во веки веков за то, что сделали со мной! Чтоб вам вся любовь, какая в мире есть, досталась и чтоб вы потеряли ее, как у меня отняли! Чтоб вам за этот день вся жизнь из таких дней состояла! Будьте прокляты! Навеки прокляты будьте! Будьте прокля-

ты!..— Продолжая кричать и плакать, бабушка уехала вниз на лифте. Толя вошел в квартиру.

..Я проснулся среди ночи, увидел, что лежу в темной комнате, и почувствовал, как меня гладят по голове. Гладила мама. Я сразу понял это — бабушка не могла гладить так приятно. И еще я понял, что, пока спал, мое ожидание свершилось. Я был уверен, что навсегда остался у мамы и никогда не вернусь больше к бабушке. Неужели теперь я буду засыпать, зная, что мама рядом, и просыпаться, встречая ее рядом вновь? Неужели счастье становится жизнью? Нет, чего-то недостает. Жизнь по-прежнему внутри меня, и счастье не решается занять ее место.

— Мама,— спросил я,— а ты обиделась, когда я сказал, что хочу жить с бабушкой?

— Что ты? Я же понимаю, что ты для меня это сказал, чтоб мы не ругались.

— Я не для тебя сказал. Я сказал, потому что ты бы ушла, а я остался. Но прости меня, знаешь, за что — за то, что я смеялся, когда бабушка облила тебя супом. Мне не смешно было, но я смеялся. Ты простишь меня за это?

И, увидев, что мама простила, я стал просить прощения за все. Я вспоминал, как смеялся над бабушкиными выражениями, как передразнивал моменты их ссор, плакал и просил извинить меня. Я не думал, что очень виноват, понимал, что мама не сердится и даже не понимает, о чем речь, но плакал и просил прощения, потому что только так можно было пустить на место жизни счастье. И оно вошло. Невидимые руки обняли маму раз и навсегда, и я понял, что жизнь у бабушки стала прошлым. Но вдруг теперь, когда счастье стало жизнью, все кончится? Вдруг я не поправлюсь?

Уличный фонарь отбрасывал через окно на потолок бело-голубой отсвет, на котором черным крестом оттенялась оконная рама. Крест! Кладбище!

— Мама! — испуганно прижался я.— Пообещай мне одну вещь. Пообещай, что, если я вдруг умру, ты похоронишь меня дома за плитусом.

— Что?

— Похорони меня за плитусом в своей комнате. Я хочу всегда тебя видеть. Я боюсь кладбища! Ты обещаешь?

Но мама не отвечала и только, прижимая меня к себе, плакала. За окном шел снег.

Снег падал на кресты старого кладбища. Могильщики привычно валили лопатами землю, и было удивительно, как быстро зарастает казавшаяся такой глубокой яма. Плакала мама, плакал дедушка, испуганно жался к маме я — хоронили бабушку.



Два рассказа

КРУГИ

Жизнь Валерия Крюкова складывалась не так, как ему хотелось. Его отец работал по контракту в Китае, а когда вернулся — слег и, три года проболев, умер от рака. За эти три года мать спустила все, что отец привез из-за границы, да и большую часть старого добра. Несмотря на все затраты, он все же умер, оставив на ее шее троих детей. Дети выросли испорченными, некрасивыми. Исключением был как раз Валерий, старший сын. Он-то удался: сложен неплохо, лицо мужественное. У него обнаружились большие способности к музыке.

Мать отдала его в музыкальную школу, но туда, где не было конкурса и нужды в знакомствах: на дому. Эту полулуковицу, на музыкальном жаргоне — «осциллограф», Валерий быстро возненавидел и постарался перейти в более аристократическую категорию, в класс фортепиано. Прodelать это удалось значительно позже, когда он уже поступил в училище, на втором курсе. Но способности его были таковы, что его перевели почти охотно, а он очень скоро выделился и среди новых соучеников, с раннего детства обучавшихся игре на рояле. Однако те же способности, которыми наделила его судьба от рождения, противоречили, как оказалось, ей самой — судьбе. Если это, конечно, не кажущееся противоречие... Обнаружилось, что Валерий уже давно и регулярно пил.

В самой логике событий, укоренивших в нем привычку к питью, противоречий и не заподозрить. При крайней нищете семьи он был обязан зарабатывать на пропитание свое и родственников. Надежда на какой-то заработок связывалась у них только с ним, так как брат его был уже законченным негодяем и вскоре сел, а сестра, одержимая желанием выйти замуж, но не имевшая для того ни внешних, ни внутренних данных, только и делала, что искала женихов, а не работу. Валерий сел за пианино в самый скверный в городе кабак. Его партнерами были люди значительно старше и опытнее. Один из них, полупарализованный аккордеонист, до кабака игравший по поездкам песни беспризорных, и спойл Валерия. А так как он был очень, очень молод и мог много выпить за один раз и официантки любили его, то спился быстро. Когда же это стало очевидно всем, то его так же быстро разлюбили и вскоре из кабака вышибли. Ну и завертело, закружило его, как сухой осенний лист по необъятной и пустынной родине.

Поначалу он устроился в другой кабак, потом в третий. Потом его узнали во всех кабаках города и брать на работу перестали. Из училища он ушел, недоучившись, уехал в Сибирь. Три-четыре года скитался там с мелкими концертными бригадами по самым глухим местам. Там и допился до белой горячки раз, другой... Лежа второй раз в больнице, он вдруг испугался. Бросил Сибирь, вернулся домой. Дома его снова положили в больницу. Обнаружился цирроз, прогрессировала слепота. Ходил он уже плохо, неровно, координация движений была нарушена. Двери он проходил бочком, тщательно в них прицелившись. В свои тридцать он уже был развалиной.

В этой больнице Валерий пролежал три месяца, их вполне хватило для раздумий. Итогом раздумий было решение, что судьба тут ни при чем, виноват он сам. А поэтому — борьба небесполезна, пока он, виновник всего, жив. Еще не поздно собраться с силами, перечеркнуть прошлое и жить спокойно и уютно.

но, как живут многие. Он понимал, что все более блестящие планы на жизнь в его положении смешны.

Выйдя из больницы, Крюков сразу взялся за исполнение решений. Жесткими сроками он себя не ограничивал, прежде всего стал восстанавливать профессиональную форму. На это ушел год. Весь этот год, разыгрывая гаммы и этюды, он боролся с желанием плюнуть на все и выпить. Сделать паузу. Но, преодолевая плохую подвижность пальцев, он одновременно воображал картины недавнего прошлого, все его ужасы, и они помогали победить сумасшедшее желание. Мать покорно подкармливала его чем могла.

Через год Крюков решил, что готов к пробе сил. Он узнал адрес училища поплоче, позатяжней в бездонной русской равнине и выехал в городок под Курском, мало кому известную Суржу. Крюков хотел действовать наверняка. Он боялся, что на вторую попытку его не хватит.

Выйдя на вокзале в Сурже, он огляделся, как человек, не знающий, куда ему идти. Вокзал был сараем, за которым на площади в луже лежали два бора, стоял пивной ларек. Перед ларьком пили пиво из пол-литровых банок две пожилые цыганки. У одной на руках сидел почти грудной ребенок. Другая, у которой банка уже опустела, подошла к Крюкову.

— Красавец, дай ребеночку на пиво! — потребовала она.

— Отстань, — сказал опытный Крюков.

— Ой, красавец, не боишься ты судьбы, — сверкнула глазом цыганка.

— Это точно, — усмехнулся Крюков. — Но все равно — отвали.

— Так пусть тебе оно екнется! — завопила, отпрыгнув, цыганка. — Чтоб оно тебе все поперек стояло, и чтоб рыжая, белая, черная, все тебе изменяли по сто раз, и чтоб ходить тебе вокруг них кругами мутными, темными, без конца и имени...

Всю эту чушь она выкрикивала, пока Крюков шел через площадь, сворачивал за угол... Но и там, за углом, его настигали пронзительные дикие вопли.

Гостиниц в городке не оказалось. Пошатавшись по улицам, Крюков нашел дворничиху, согласившуюся сдать ему угол на пару недель. Деньги она потребовала вперед. Крюков дал и остался с пятнадцатью рублями. Он старался не думать о том, как протянет эти дни. Так, как-нибудь. Дворничиха знала, где находится училище. Крюков пошел туда подавать документы. Хотя трудовая книжка выглядела скверно, опрос он прошел без особых трений. Он не ошибся, выбрав союзником в своей войне против судьбы эту забытую всеми и забытую всех дыру. Сама судьба, быть может, забыла об этой дыре и уже не действовала тут. Первый бой Крюков выиграл. Документы приняли. Пока все складывалось неплохо.

В училищном буфете Крюков съел булку, запил чаем, вернулся к дворничихе и приготовился ночевать за занавеской в углу.

Но спать ему не дали. Явился пьяный сын хозяйки, принес водку. Они с матерью стали пить, потом петь песни, и уже дело дошло до ссоры. Крюков не выдержал всего этого, выбежал на улицу и присел в сквере на скамейку, решив пересидеть скандал тут. Вообще-то было ясно, что оставаться у этой дворничихи нельзя. И особенно ему, Крюкову.

Пока он сидел и раздумывал, в доме разгорелась настоящая драка. Крики донеслись до соседей, давних свидетелей такого рода сцен. Они позвонили в милицию. Милиция приехала почти сразу. Удивленный такой оперативностью, Крюков продолжал сидеть на своей скамейке, наблюдая за тем, как его помятых и поцарапанных хозяев выводят из дворничихой и вталкивают в машину. Как сержант, привлеченный видом незнакомого ему человека, сидящего на скамейке в центре городка, где все должны быть ему известны, направился к нему.

— Ты кто такой? — спросил сержант.

— Я? Я угол тут снимаю, то есть снимал, — сообщил Крюков. — Мне б теперь вещи вернуть, портфель, ноты...

— Я спрашиваю: ты откуда взялся?

— А почему это вы мне тыкаете? — смело спросил, не помня за собой никакой вины, Крюков. Между тем вина была написана на его лице, во всех его узнаваемых складках. Написана предательски однозначными красками.

— Ну что ж, — вздохнул сержант. — Тогда поехали с нами.

— Зачем это? — всполошился Крюков.

— Сопротивляешься? — вкрадчиво поинтересовался сержант.

Крюков уже давно мальчиком в таких ситуациях не был, сообразил все сразу, поднялся и с показным равнодушием пошел к машине. Надо держаться поскромнее, думал он. Вон они какие здесь дикие.

Они быстро добрались до отделения, находившегося тут же, за углом. Лейтенант, сидевший в дежурке за барьером, ни секунды не промедлив, выписал дворничихе с сыном квитанции штрафа и выгнал их вон. Потом он повздыхал и вернулся к Крюкову.

— Что, голубец, крепко нашалил?

— Нет, вообще не шалил, — скромно отвечал Крюков.

— А почему тебя взяли?

— Не знаю, под руку попался.

— Ну, а фамилию-то свою знаешь? Документы есть?

Крюков объяснил, что приехал поступать в училище и сдал все документы в приемную комиссию всего несколько часов назад. Он добавил, что говорит чистую правду, что совершенно трезв, потому что давно бросил пить, и что директор училища ему сказал...

— Постой, не тарахти, — прервал его лейтенант, лениво снимая телефонную трубку и набирая короткий номер. — Погоди маленько... А, товарищ Ряхин! Приветствую. Говорит лейтенант Ивко, городское управление. Нет, ничего страшного. Но вам следует прийти для опознания. Нет, не трупа. Жду.

— Что ж вы делаете? — в панике закричал Крюков. — Что же вы директору-то про меня, почти ночью... Кто ж меня теперь, после вас-то, куда примет!

— Не ори, — сказал лейтенант, аккуратно кладя трубку на место. — Все устроится как полагается.

Директор Ряхин появился очень скоро, минут через пять. Вскользь глянув на Крюкова, он мрачно спросил:

— Что, уже успел-таки?

— Да нет еще... — как-то уклончиво ответил Ивко. — Спасибо. Извините за беспокойство, товарищ Ряхин.

Директор, многообещающе сверкнув глазом в сторону Крюкова, ушел. Сердце Валерия сжалось.

— Иди и ты, — кивнул Ивко.

Говорить о чем-нибудь было бесполезно. Да и о чем? Крюков вышел на улицу и побрел по кирпичному тротуару куда ноги несли. Улица была мертва. Крюков твердо решил продолжать сопротивление. Чему? А всему, сказал себе он. Всему этому. Он помнил, на вторую попытку его вряд ли хватит. До утра оставалось совсем ничего — одна только ночь. Сам он как будто жив, значит, потеряно не все. Последняя мысль даже приободрила его. Деньги? Эх, тех денег, которые он уплатил дворничихе, не вернешь. А на оставшиеся долго не протянешь. И нужно искать новый ночлег. Придется звонить матери, просить, пусть нароет, сколько сможет, и пусть пришлет... «Так!» — вдруг вырвалось у Крюкова, и он обнаружил, что стоит перед телеграфным отделением почты.

Это было маленькое помещение с одной лишь деревянной телефонной будкой. За деревянной же стойкой сидела девушка. Крюков подошел к барьеру.

— Уже закрываюсь, — сообщила девушка. — Что надо?

— Я хочу заказать разговор с Запорожьем, но только за счет вызываемого, — побыстрее проговорил Крюков и подчеркнул: — За счет вызываемого. Можно? Номер — три двойки семь шесть.

Девушка уже повторила его заказ в микрофон коммутатора.

— Может, и пробьется, — сказала она. — Если нет — придется до завтра отложить.

Крюков внутренне напрягся, словно помогал кому-то пробиться. Коммутатор щелкнул.

— Говорите, — сказала девушка, указывая на кабину.

Крюков бросился туда, схватил трубку и, захлебываясь, стал объяснять, просить, требовать, а потом благодарить и прощаться. Довольный удачей, он положил трубку, сказал девушке: «Спасибо» — и направился к выходу.

— Вы куда? — спросила девушка. — А деньги?

— То есть... какие деньги? — растерялся Крюков.

— За ваш треп, — язвительно сказала девушка. — За то, что я в нерабочее время ваш заказ приняла.

— Да ведь я просил за счет вызываемого, а вы согласились, я дважды переспрашивал...

— Не знаю, — сказала девушка. — Ни с чем я не соглашалась. Я передала ваш номер правильно, вы слышали сами. Связь дали. А с кем вы говорили, кого вызывали — это мне неизвестно. И какие у вас с ними счета — тоже. Может, они потом и вернут вам деньги. Мне все равно. Вы поговорили? Платите, мне домой пора.

— Не буду, — покраснел Крюков. — Надо слушать, что говорит заказчик.

— Заказчик, — зловеще повторила девушка, несколько раз нажав кнопку на коммутаторе. Тот коротко прогудел. — Оно и видно... Толя! Это ты? Зайди-ка ко мне. Тут какой-то тип, говорит — заказчик... Нет, не из дома. Ну да, из-за него тут и застряла. Вот как муж и разберись, понял?

Крюков почувал неладное и забормотал:

— Да вы послушайте, девушка, давайте мы разберемся...

— Сейчас вот придут — и разбирайтесь.

Пока Крюков решал, не уйти ли ему попросту отсюда да и все на том, девушка собирала сумочку. А когда он уже было решил уйти, дверь открылась и с улицы вошел давешний лейтенант Ивко. Крюков так и сел на лавку.

— Ага, — сказал Ивко, ничуть не удивившись. — Знакомый. Ну и пройдем. Он сделал приглашающий жест.

— Но давайте разберемся! — Крюков с мольбой посмотрел и на девушку. Та уже шла к выходу, позвякивая ключами.

— Конечно, — поморщился Ивко, уныло глядя ей в спину. — Пойдем разбираться. На то мы с тобой и есть: ночами разбираться. А женщину давай отпустим спать. Нет?

— Да, — сказал Крюков и вышел за лейтенантом в неподвижную тьму затхлого городка. За спиной у него загремел замок.

Когда они пришли в отделение, Ивко приказал:

— Все из карманов на стол.

Крюков вынул свое небогатое имущество.

— Погостишь у меня немножко. Это все?

— Был еще портфель, но он у дворничихи остался.

— Мало ли что где остается... Бог дал, Бог взял.

Ивко сгреб крюковское имущество, среди него остатки денег, в ящик стола. Затем отвел гостя в камеру и запер.

— Утром свидимся, — сказал он на прощание.

Крюков немного поспал на холодном полу. А утром его выпустили и даже отпустили, посоветовав больше не попадаться. Крюков отправился в училище, и уже на лестнице его встретил, по всей видимости, ожидавший его Ряхин. Директор поманил Крюкова пальцем за собой. Тот поплелся, куда его позвали. В приемной комиссии Ряхин взял Крюкова за рукав и приказал секретарше:

— Документы выдать, экзаменационный лист уничтожить, и чтоб ни слуху, ни духу. Будет упираться, документы не возьмет — выслать почтой на домашний адрес. Все.

Он дернул ущемленный крюковский рукав и ушел. Крюков упираться не стал, документы принял. Ему все равно был нужен паспорт — получить присланные матерью деньги. Он надеялся, что они уже здесь. Деньги он получил и сразу, как молнией пораженный, не успев ничего и подумать, купил в ларьке две бутылки вина. Потом зашел в скверик, сел на скамейку и выпил одну бутылку не отрываясь. Он чувствовал, что сломался.

Когда он открыл вторую бутылку, перед скамейкой остановился мотоцикл. Сидевший за рулем вчерашний сержант укоризненно сказал ему:

— А говорил — бросил пить. А я вижу — пьешь. И как? Открыто. И где? В общественном месте, с особенным цинизмом, как говорится в двести шестой. Садись ко мне. Поехали.

Крюков сел к нему в коляску, и они поехали — за угол, в отделение.

— Хм, — без особого удивления произнес Ивко, увидев Крюкова. — Наука впрок не пошла. Придется еще поучить маленько.

Он мигнул сержанту. Тот подтолкнул Крюкова в угол и там сильно и жестоко ударил его два раза под ребро. Крюков выпучил глаза и стал беззвучно открывать и закрывать рот.

— Ну-ну, не психуй,— строго возразил сержант.— Я ж легонько.

— Глянь-ка,— встрепенулся Ивко,— оружия при нем нет?

— Нет,— порывшись у Крюкова в карманах, ответил сержант.— Ничего вообще нет. Только деньги и документы.

— Откуда ж у него деньги? Вроде не должно быть... Ну давай их сюда, в ящик. Может, от кого заявление поступит.

Ивко бросил деньги в ящик стола.

— А его самого куда? — спросил сержант.

— Его — вон. Не содержать же нам его на государственный счет. Или ты возьмешь его на содержание, а, сержант?

— Мне своих на шее хватает,— сказал сержант, выталкивая Крюкова на улицу.

Чуть придя в себя, Крюков понял, что ему нужно уносить ноги. И не только подальше от этого, похоже, единственного в их жалкой, но крепко сработанной дыре отделения, а и вообще из Суржи. Но денег на билет уже не было. Ехать зайцем, умолять проводниц за небольшую мзду пустить в поезд? Все равно надо иметь хоть немного да и в придачу к этому немногому совсем другой, более подходящий вид. Крюков мучительно думал, где бы раздобыть денег. И решил продать свой свитер. Ничего более ценного, без чего можно было бы обойтись, на нем не было. Долго он бродил по улицам Суржи, вдоль глухих заборов, подслеповатых домишек, стучался в двери... Его отовсюду гнали, обещая вызвать милицию, осыпали ругательствами, собирались сами бить. Но в конце концов ему повезло.

Открылась очередная дверь, и Крюков увидел перед собой на двуступенчатом крыльчке цыганку, осыпавшую его проклятиями в ту первую минуту, когда он только ступил на землю этого опасного городка. Цыганка окинула его цепким взглядом и тоже узнала.

— А, красавец! Или не говорила тебе, что кругами темными катиться станешь? А дал бы пацанчику на пиво, и не было бы этого. Ну, теперь будешь знать.

— Купи свитер,— прохрипел Крюков.

— Докатился, значит... Ну-ка, дай глянуть.

Крюков тут же снял свитер. Она покрутила его в руках.

— Сколько просишь?

— Двадцать.

— Десять, больше не дам.

— Давай.

Крюкову и этого хватило бы на билет. Цыганка достала из-за пазухи деньги и подала Крюкову. Он взял.

— Спасибо,— добавил он зачем-то и покраснел.

Цыганка осмотрела пятна этой краски с пониманием. Профессионалу всегда понятна их немая речь.

— А хочешь,— подмигнула она,— хочешь, красавец, я тебе скажу, что дальше будет? Бесплатно, не бойся.

— Ну, скажи,— согласился Крюков, помня результаты своего первого несогласия.

— Положи деньги на свою ладонь. Да не бойся, не возьму,— профессионально затарахтела цыганка.— Теперь повторяй за мной: когда придут...

— Когда придут,— механически повторил Крюков.

— Когда возьмут...

— Когда возьмут...

— Когда дадут...

— Когда дадут...

— Запомнил? Сегодня ночью в двенадцать, когда придешь на кладбище, все это повторись.

— Запомнил, сегодня ночью, когда... Тьфу! — опомнился Крюков.— Ты что, старая, издеваешься?

— А, так вот ты как! — рассвирепела цыганка, и произошло невероятное, непоправимое. Она дунула на крюковскую ладонь, потом туда же плюнула, и деньги с ладони исчезли. Одновременно исчез и свитер, который вот только что был в ее руках, перед самым носом Крюкова. Он оторопел. А когда оторопь прошла — закричал:

— А-а, стерва! Отдай, убью!

— Грабят, режут! — завопила и цыганка, сталкивая Крюкова с крыльца. — Эй, муженек, жену убивают!

Из-за ее спины выскочил, и не из глубины дома появился — а будто вмиг вырос из-под порога, где только и делал, что ждал этой okazji, и подхватил Крюкова знакомый сержант, заломил ему локти за спину, оторвал от тротуара и потащил в сторону, обратную той, куда так страстно желал отправиться Крюков.

— Говорю тебе, ходить не переходить тебе кругами мутными, понял? — визжала позади цыганка. — Никогда никто не сжалится, не явится, чтоб с кругов вывести, помни! И сдохнуть никто не даст, не подаст, как ты не подал, так и знай.

Дальше Крюков не слушал: он уже вполне спокойно лежал на плече несущего его сержанта. Сержант мчался по гигантским, уходящим вверх концентрическим кругам, все ускоряя и ускоряя бег, все чаще перескакивая на следующую, еще более широкую и удаленную от центра орбиту. И показалось разинувшему рот случайному прохожему на окраине Суржи, что пронесся над ним некто со свистом, с горящими глазами, дымящимися рогами и косматым хвостом, со свисающим с плеча измятым плащом или украденным, свернутым в трубку ковриком, и скрылся, пропал у подходящего к городку облака, неизвестно — куда, непонятно — как, так, будто никого и не было вовсе...

Из надвигавшегося облака слетел на землю короткий грим. Прохожий, очень известный в городском собесе персональный пенсионер местного значения, закрыл рот и, похвалив себя за предусмотрительность, раскрыл зонтик. «Так, дрянь изделие», — с удовлетворением сказал он, сплюнув. В зонтике зияла, очевидно, подлая дыра.

РАКОХОД

В здании бывшей гимназии было пусто. Разместившийся в нем после семнадцатого года пединститут гулял каникулы. Было жарко, все двери и окна аудиторий распахнуты настежь, штукатурка на сквозняке просыхала быстрее. В особенно сырых после ремонта коридорах на паркет оседала белесая пыль. Еще в прошлом году она считалась радиоактивной из-за аварии атомной электростанции на Припяти, и о ремонтах каких-то зданий мог думать только сумасшедший. А в этом году все уже привыкли к аварийному фону и жизнь пошла обычным чередом. Ремонт в пединституте сделали капитальнейший, компенсируя упущенный год, — с двойным размахом. Поэтому в его коридорах не было ни души, хотя уже наступила последняя декада августа. Только в прохладном подвале, где располагался когда-то гимназический, а теперь институтский архив, на фанерном ящике сидела одна одинокая душа, молодой архивист Петя Кур. Он получил сюда распределение и приступил к работе на прошлой неделе.

В руках он сжимал бумажный лист, и в его взгляде, устремленном на эту бумагу, отражалось крайнее изумление. Вполне понятное изумление, если знать то, что уже знал Кур: что в руках он держал автограф, подлинное письмо Антона Павловича Чехова бывшему директору бывшей гимназии, в здании которой расположился пединститут, куда абсолютно случайно распределили молодого архивиста. Шалея от безделья и скуки в чужом провинциальном городке, архивист всю неделю рылся в старых подшивках, пыльных ящиках и между прочим бумажным хламом отыскал вот это письмо.

Оно было подлинное, никаких сомнений. Известная всем подпись, пожелтевшая старинная бумага, выцветшие чернила, знакомые специалисту особенности текста, почерк... Мягко-насмешливый тон... Чехов отвечал на просьбу директора гимназии дать оценку его, директора, литературным упражнениям.

Оправившись от изумления, Кур направил свои мысли самым естественным путем, или они сами туда направились, как вода течет. Действительно, в руках его находилось средство не только вырваться из этого дрянного городишка, но и найти хорошее место работы в большом городе, может быть, и в столице. Нет, не жалкой архивной мышью сидеть в подвалах, а получить известность, защитить диссертацию, пробежать с необычайной скоростью всю ту лестницу, к которой он и приступить не знал как, о которой только тайком мечтал. О чем конкретно? Да вот об этой иной, прекрасной и полной радостных даров жизни, об этом веселящем сердце шампанском. Бывают ли более точные конкретности?

Теперь же на место робких мечтаний заступили практические размышления. И Кур обнаружил, что они с мечтами совпадают не во всем. А ведь он еще не начал действовать. Только обозревая в уме первые необходимые шаги на возможном новом поприще, Кур уже ощутил неуверенность в успехе предприятия. В самом деле, с чего начать? Послать это письмо своему профессору, дипломному руководителю? Так на почте его непременно украдут. Отвезти самому? Так профессор может оказаться хуже всякой почты. Редакции, музеи? Там, кроме спасибо, ничего не получить. Разве что пинок под зад. В любом случае: прости-прощай, лестница. Черт возьми, подумал Кур, да что же это, мне нельзя карьеры сделать? Или, может, нет никакой такой карьеры, а есть обман, мыльные пузыри шампанского, сон юного сердца и ума? И, конечно, после него похмелье.

Он быстро скатился с вершины лестницы, где только что удобно расположился, хотя и в воображении. И теперь снова сидел на неудобном ящике в институтском подвале. Нет, думал он, прочь, опасные заоблачные мечты. Из облаков больно падать. Надо взять в руки простую синицу. Что такое эта синица? Деньги, что ж еще. Письмо надо просто продать. Взять деньги и забыть. Где, кому продать в незнакомом городе? Время терпит, найдется и покупатель. Для начала следует сходить на черный книжный рынок. Там и коллекционеры бывают. Не с первого раза, а кто-нибудь да подвернется...

В субботу утром Кур подъехал на берег протекавшей через центр города речушки. Там, на вытопанной между кустами площадке, и собирался книжный рынок. На площадке стояли, тихо переговаривались и показывали друг другу свои сокровища люди. Кур переходил от группы к группе, прислушиваясь к разговорам. Около одной из них он задержался, плотный мужчина как раз заканчивал свою реплику с большим пафосом:

— ...и вот лезу я к дуре-бабке в сундук и достаю оттуда почтовую карточку, одну, но какую! — Мужчина выдержал паузу. — Порт-Артур, пушки, дым, русский накальвает косоглазого на штык, и надпись: «У япощки слабы ножки, поддержу-ка я япощку». И печать военной цензуры: шлеп.

Мужчина шлепнул ладонью о ладонь. Слушатели с оттенком зависти, но одобрительно загудели. Кур тихонько тронул локоть мужчины. Тот оглянулся, понял и отошел с Куром в сторонку от своей группы.

— Меняешь? — спросил он.

— Продаю, — ответил Кур.

— Ну, показывай, — равнодушно предложил мужчина.

Кур показал. Мужчина небрежно глянул.

— Ну, и что?

— Как — что? Это подлинный автограф Чехова, Антона Павловича, вот что.

— А кто такой Антон Павлович, папа мой? Да и краденая вещь, уж вижу. Не боисься?

— Не хотите брать — не надо, — заволновался Кур.

— Не спешите, — остановил его мужчина. — Дай еще поглядеть... Хм. Краденого не скупаю, а вот меняться — давай меняться, я тебе тоже автограф дам. Хочешь — записку Берии, строго секретное распоряжение. Хочешь...

— Я не меняю, — отрезал Кур, — я продаю. Я не коллекционер.

— Оно и видно, — подтвердил мужчина. — Ты б хоть глянул на мои вещицы...

Мужчина вынул из кармана конверт. Кур невольно поглядел на него и да же протянул руку. Мужчина воспользовался тем, что Кур на миг отвлекся от

своего дела, выхватил из другой его руки письмо Чехова и сунул себе за пазуху. А свой конверт продолжал держать на виду и даже тыкал им в грудь Кура: мол, что, берешь?

Кур оштолбенел. Мужчина тем временем сделал несколько шагов назад и оказался в окружении своей группы. Кур кинулся за ним. Но тот уже продолжил разговор со своими, будто и не отходил никуда. Кур вцепился ему в воротник, закричал: «Подлец, отдай немедленно!» Мужчина с большим недоумением на лице отрывал от себя его руки и приговаривал: «Братцы, братцы, что ж такое делается, грабят!» Братцы окружили Кура, повалили на землю и стали бить ногами, стараясь попасть по голове. Кур, впервые попавший в такой умельый оцеп, только стонал и вскрикивал. Потом кто-то крикнул: «Атас!» И все кончилось. Когда Кур поднял голову — рядом уже никого не было. Метрах в ста от него проридался сквозь кусты последний, отставший от других братец.

К Куру подбежали сочувствующие из других групп, подняли, отряхнули, и, приговаривая: «Вот варвары... в двадцатом веке... прогресс, атом, космос, олимпиада-восемьдесят, что иностранцы скажут... такая дикость», — подтолкнули его вслед за сбежавшими. Нелепо приподняв поврежденное плечо, Кур послушно двинулся в указанном направлении. Дойдя до остановки, он сел в трамвай и уехал от проклятого места. Уехал насовсем, чтобы надолго осесть в своем прохладном подвале среди фанерных ящиков, никому не нужных бумаг и прочего хлама. Осесть — и прочно забыть случившееся, будто его и не было...

Укравший у него письмо Чехова мужчина был очень доволен удачным гешефтом. Довольство распирало его, ему хотелось поделиться с другими если не своей удачей, то настроением, хотелось без задних мыслей весело поболтать. Он тоже ехал в трамвае и выбирал себе собеседника, насмешливо оглядывая пассажиров. Выбор его пал на девушку, вошедшую на следующей остановке.

— Какая симпатичная! — схватил мужчина девушку за локоть.

— Оставь меня, — сказала девушка.

— Откуда я вас знаю? — продолжил мужчина.

— Пусти!

— А если не пушу?

— Пустишь! — с угрозой пообещала девушка. — Предъявите ваш билет.

— Это какой билет? — изумился мужчина. — Мы ж не в кино поедем.

— Билет, с которым ездят.

— Э... я не успел еще взять... — несколько растерялся мужчина.

— Тогда платите штраф.

— Да ты кто такая, пигалица? — опомнился мужчина. — По какому праву, удостоверение!

Девушка показала удостоверение контролера:

— Штраф.

— У меня... денег нет, — опять смутился мужчина. — Прошу прощения, я сейчас возьму два билета и три, клянусь.

Девушка отрицательно качнула головой и нажала кнопку над дверью. Трамвай остановился.

— На выход! — сказала девушка.

Мужчина покорно вышел, контролерша за ним. Как только трамвай тронулся, мужчина кинулся бежать через улицу. Девушка вынула свисток, и на пронзительный звук наперерез мужчине из-за угла выскочил милиционер. После этого они вдвоем повели мужчину в отделение. Там они посадили его на скамью и доложили о происшествии дежурному лейтенанту.

— Почему ехал без билета? — хмуро спросил тот.

— Я потерял, — нагло соврал мужчина.

Этим он разозлил всех.

— А вот мы поищем, — сказал лейтенант.

Мужчину обыскали. Найденные в его карманах предметы сложили кучкой на столе дежурного: расческу, двадцать пять рублей с мелочью, шариковую авторучку, письмо Чехова и распоряжение Берии. Последнее подействовало особо. Обнаружившиеся деньги, которых не должно было, по утверждению мужчины, быть, стали сразу неинтересны.

— Где стырил? — спросил лейтенант, постукивая пальцем по распоряжению.

Мужчина понял, что пропал, и только пожал плечами.

— Кого ограбил? — повысил голос лейтенант.

— Мне подарили, — совсем уж глупо пробормотал мужчина.

— Понимаю, Никита Сергеевич Хрущев подарил, — ехидно сказал лейтенант. — После вчерашнего доклада. Вышел в фойе, оглянулся... А где, говорит, мой дорогой друг... как тебя?

— Табаков, Леонид Степанович.

— ...мой любезный кореш Леня Табаков! А ну, подать его сюда! Я для него презент приготовил. Так? Ну, хватит. В камеру его.

Мужчину заперли.

А лейтенант, отпустив остальных, быстро завел новое дело и подшил к нему Берюю. Что касается письма Чехова, то оно не имело актуального политического оттенка, могло потерпеть. Как просто любопытную штучку лейтенант отнес его домой показать жене. Но жена в этот день явилась поздно, к полуночи, и они поссорились. А на следующий день стало не до чих-то там писем: умер Сталин.

Март был холодный, что-то гадкое сыпалось с небес не переставая. Настроение было у всех не из лучших, хотя все ожидали перемен. Действительно, появлялись новые, хорошо уже забытые имена. Иногда появлялось и солнце. Вместе с майскими ветрами прилетели наконец известия о долгожданной победе. Длинная, мучительная война кончилась. Этим вечером пушечный дым и разноцветные огни носились над Москвой. Наутро после салюта сильно пахло гарью. Прибывший в Москву для повышения квалификации лейтенант уже привык к столице. Привык он и думать, что останется тут навсегда. Судьба решила иначе.

После бурной, мощной весны пришло, как никогда, жаркое лето. Страну потрясло новое известие: гитлеровские войска перешли границу без объявления, и потому не сразу стало понятно, что началась война. К осени людские резервы снабжения фронта были почти исчерпаны. В октябре сняли с постов городских милиционеров, присоединили к курсантам, проходящим повышение квалификации, и отправили всех в окопы. Среди других был и лейтенант, в своей поношенной форме, со своими ручкой и блокнотом, в который некогда было вложено письмо Чехова и там забыто.

Шли жесточайшие бои, силы сторон находились в шатком равновесии. Но признаки новых перемен уже были налицо: на фронте появлялись свежие части, уставшие бойцы отводились в тыл. Слухи активизировались самые разные. С вражеской стороны стали часто перебегать дезертиры. Однажды ночью, находясь в выдвинутом перед линией обороны секретном окопчике, лейтенант тоже принял такого перебежчика.

Едва отдышавшись, дезертир сказал на ломаном русском:

— Товарищ, я коммунист. Я имею важно говорить. Меня нужно главный начальник! Самый первый!

Лейтенант рассмеялся:

— Я тут самый первый, не видишь? Сижу один-одинешенек, самый первый, впереди всех! Говори, я слушаю.

— Это очень важно, — зашептал немец, — Гитлер готовит нападение на Советский Союз.

Лейтенант так и покатился с хохоту.

— Ты что, зачем смеешься? — заволокнулся немец. — Товарищи погибли за эту информацию. Я бежал, спешил, а ты смеешься!

— Да как же не смеяться, — едва выговорил лейтенант, — да как же...

Он представил себе, как идет по начальству с таким докладом.

— Ты ответишь, — высокомерно сказал немец. — Ты... кто ты такой?

Лейтенант только еще пуце захохотал.

— Ты враг, — понял немец. — Ты переодетый фашист, шпион! У тебя и форма ненастоящая...

Он понял, что попал туда, откуда бежал: к врагам. Он выхватил из-за голенища нож и всадил его в лейтенанта. Он переоделся в странную лейтенантову форму и двинулся на восток. Вскоре он сдался первому встречному офицеру в знакомой по газетам настоящей красноармейской форме.

Допрашивали его долго. Потом долго пересылали с места на место. Везде, где он заявлял об угрозе с Запада, над ним смеялись. Рискнуть и объявить его сумасшедшим не решились, отослали в один из сибирских лагерей. Он прожил там до конца жизни.

В его карманах оставались принадлежавшие убитому лейтенанту вещи, в том числе и письмо Чехова. Интеллигентные люди в лагере объяснили ему, что это за письмо. Он обратился к начальнику, надеясь, что за сделанную находку ему сократят срок. Письмо было отправлено наверх, но срок не сокращен. Следующей зимой немец умер.

Затрепанное и облинявшее, этой же зимой письмо очутилось на столе наркома Луначарского. Тот приказал отправить его в организуемый музей имени Чехова. Но до музея письмо не дошло. Хотя уже кончилась гражданская война, по Украине еще гуляли банды. Шедший в Ялту с грузом для Дома Чехова обоз был ими разграблен. Все ценные вещи бандиты разделили между собой, а всякую дрянь, бумажки и прочее, разбросали по степи. Письмо Чехова подобрал сельский учитель, интересующийся скифскими курганами, один из которых, под Гуляйполем, он даже разрыл. Он долго носил письмо при себе.

Учитель был неудачник, несколько раз пытался поступить в университет, и каждый раз проваливался. Вскоре он снова поехал делать очередную попытку и прихватил с собой письмо Чехова, рассчитывая вернуть его пославшему, так как адрес получателя уже давно с конверта стерся. Учитель знал, кто такой Чехов. И надеялся на его помощь в своем деле.

В Москве он узнал, что до экзаменов в университет его не допустили. Кураторы сочли, что все его неудачи были связаны с его чрезмерным интересом к политике. Чего на самом деле не было. Учитель, вконец отчаявшись, решил обратиться за помощью к автору письма, известному всей России своим гуманизмом и отзывчивостью. После долгих изысканий учитель узнал, что Чехова в России нет, что он лечится от тяжелой болезни в Германии.

В письме, таким образом, не было уже никакого толку. Но совестливый учитель не мог его просто выбросить и забыть о нем. Учителям, считающим себя интеллигентными, следует всегда доставлять чужие письма по адресу. Учитель отправился на вокзал. Там он нашел человека, уезжавшего в Германию и согласившегося передать письмо. Человек этот не был знаком с Чеховым лично. Но у него был фальшивый паспорт на чужое имя, а денег не было, он нелегально ехал в эмиграцию и обрадовался оказии подкормиться у богатого гуманного писателя. Надежды его почти сбылись.

Гостиничный слуга-немец, открывший ему дверь чеховского номера, предупредил:

— Говорите потише, господин очень плох.

Приезжего провели в спальную комнату. Чехов лежал на высоко поднятых подушках. Лицо его уже не было лицом живого человека. В глазах, направленных на вошедшего, не было и тени вопроса.

— Господин Чехов, я привез вам письмо от... То есть письмо, собственно, от вас, кому-то в России. Но я привез его снова вам, это ваше письмо, потому что кому оно — неизвестно.

Чехов молчал.

— Я привез вам письмо... из России, господин Чехов!

— Из России, — вдруг проговорил Чехов. Ни тени интонации не было в его словах. — Не стоило. Еще шампанья. Ich sterbe.

И умер.



Владимир КОШКИН

Инстинкт веры, или Чего жаждут боги

Неудержимое движение наций к самоидентификации. Не только на пространствах бывшего СССР. Ирландия, Канада, фламандцы в Бельгии, баски на Пиренеях. И это сейчас, на исходе XX века, когда население Земли смешано. Не только в смысле проживания людей разных национальностей на одной территории, но смешано и в генном смысле.

Всеобщая — всемирная! — эпидемия религий. Что это — возврат к средневековью? Деградация или новое прозрение человечества?

Я хочу обсудить эти явления и попытаться показать, что происходящие процессы дробления нашей, человеческой популяции на основе объединения по тому или иному признаку — явления естественные, подчиняющиеся законам Природы, что эти процессы нельзя (и уже поэтому не следует) остановить — они сами исчерпают себя. Чтобы затем вновь вернуться.

Это покажется, вероятно, уж очень претенциозным проявлением гордыни, но я намерен прежде всего проанализировать Природу Бога. Я, впрочем, не одинок; таким анализом занимались практически все философы. Но более всего укрепляют меня в моем намерении две статьи двух блестящих естествоиспытателей: работа крупнейшего генетика Владимира Эфроимсона — двадцатипятилетней давности¹ и статья Нобелевского лауреата по физике Брайана Джозефсона — совсем недавняя². И хотя первый не мог знать о втором в силу того, что второй еще не существовал на научном небосклоне, а второй не ведал о первом в силу скорее всего языкового барьера, соображения в этих двух работах удивительно созвучны. Я хочу сделать попытку продвинуться еще на шаг — в том же направлении. Этот анализ, надеюсь, ни малейшим образом не заденет Веры каждого. Но каждый волен рассказать другим, если они захотят послушать, разумеется, о своем понимании Бога — величайшего создания всего человечества в интимнейших конструкциях каждого. Послушайте же и голос атеиста во всеобщем хоре сегодняшних религиозных песнопений.

Природа Бога. Кажется, нет более нелогичного сочетания слов. Уж если Бог существует (или присутствует), то Природа — его творение. Я попытаюсь показать, что Природа — первична, а Бог — ее создание. В сущности, я намереваюсь предложить некую, разумеется, качественную модель происхождения Веры и ее символа. Я попробую также применить эту модель к анализу нынешних движений в человеческом обществе, измельчив столь глобальную идею до обсуждения политических дрызг.

Затрудняюсь определить жанр сочинения, которое перед вами. Это и не теология и не наука. Это размышления на вечную тему. В надежде на то, что какие-то силлогизмы покажутся одновременно и новыми, и правильными. Но как бы ни был

Владимир Моисеевич Кошкин, доктор физико-математических наук, профессор, зав. кафедрой Харьковского политехнического университета. Автор теоретических и экспериментальных исследований по физике, химии, биологии, статистическому литературоведению.

¹ В. М. Эфроимсон. Родословная альтруизма. Новый мир. 1971, № 10, с. 193—214.

² В. D. Josephson. Religion in genes / Nature. 1993, V. 362, p. 583.

квалифицирован жанр этого трактата, мне хочется, чтобы легкость тона изложения не показала читателю несовместимой с серьезностью моих намерений.

Просто я всегда стремился — в меру сил своих — следовать совету великого Нильса Бора: серьезные вещи нужно рассказывать с улыбкой. А уж что получилось — посмотрите.

Естественный отбор и диалектика инстинктов

Природа «заботится» о сохранении вида во времени через выживание и воспроизводство его представителей, но единицей естественного отбора является именно популяция, а не индивид в ней. Это показал Н. В. Тимофеев-Ресовский вместе со своими учениками, которые теперь тоже знамениты. В контексте сохранения популяции «задача» каждого индивидуума состоит в том, чтобы оставить потомство. Эволюция с помощью естественного отбора выработала механизм выполнения этой индивидуальной задачи — инстинкты, управляющие поведением особей.

Введем определение того, что мы в дальнейшем будем называть инстинктом. Проявление инстинкта — очень простые или чрезвычайно сложные действия, совсем не обязательно являющиеся генетическим стереотипом поведения. Инстинкт — это совокупность действий организма, направленных на достижение цели, значимость которой настолько велика, что зафиксирована естественным отбором на уровне генетики. Врожденной является преследуемая цель. Классификация инстинктов — это классификация генетически определенных целей каждого индивида в популяции.

Проследим те из инстинктов, которые прямо связаны с динамикой ее численности.

Инстинкт № 1 — инстинкт самосохранения индивидуума. Не одну цель особи мы будем, конечно, подразумевать: утоление голода и жажды, устранение реальной или предполагаемой опасности «личному» существованию (бегством ли, борьбой). Выживут те особи, которые способны наиболее эффективно удовлетворить свой инстинкт № 1, в этом смысле — сильнейшие. Борьба за индивидуальное выживание предполагает борьбу и с внешними обстоятельствами, и с конкурентами из собственной популяции. Вряд ли индивидум, кусающий своих соплеменников или расталкивающий их локтями, чтобы ухватить лучший кусок, сознает, что это его эгоистическое поведение на самом деле способствует процветанию популяции. Ей, этой безликой популяции, действительно необходимо, чтобы в борьбе у кормушки, например, победил именно сильнейший. Тогда именно он и получит шанс «векам свой отгиск передать», оставить потомство с этими признаками, особей, которые тоже будут способны отстоять себя в жестокой борьбе за самосохранение.

Инстинкт № 1 исключительно силен, он возник раньше всех других и у всех организмов — от простейших до человека. Этот инстинкт неустраним.

Что может быть ответной реакцией окружающих на «нахальное» поведение их собрата, действующего по инстинкту № 1? Адекватный ответ — борьба за себя, против указанного собрата. Проявление эгоистического инстинкта самосохранения вызывает у окружающих в той же популяции ответный эгоистический инстинкт самосохранения. Инстинкт № 1 и ответный ему — тождественны: противодействие.

Инстинкт № 2 — инстинкт сохранения собственного генома (или генома самопродолжения особи), действующий, конечно, только при условии удовлетворения инстинкта № 1. Двойной отбор: лучшие по половой привлекательности из лучших по обеспечению собственного благоденствия. Инстинкт половой любви — тоже эгоистический, выражающийся в жесткой конкурентной борьбе у двуполых животных. Но по сравнению с инстинктом № 1 инстинкт № 2 имеет очень важную особенность. Для удовлетворения своего основного инстинкта № 2, как показывает опыт, нужно возбудить ответный инстинкт будущего партнера. И именно не противодействие, а содействие! Это предполагает, что по крайней мере в продолжение некоего периода времени «влюбленный» индивид демонстрирует черты брачного поведения, соблюдая воледеленного партнера теми удовольствиями, которыми именно он (она), претендент, одарит, если партнер отдаст ему (ей) свою благосклонность. Особо изощренная трель соловья или немисливо стройная дамская ножка, тончайший аромат духов или павлиний хвост, роскошь виллы или стихи в бедной мансарде... Так или иначе, но индивидуум демонстрирует заботу об удовлетворении другого индивида, а не только о своем собственном. Действие инстинкта № 2, таким образом, предполагает наличие неких элементов альтруистического поведения (А-поведение) наряду, конечно, с эгоистическим (Е-поведением).

В ответном инстинкте самки на проявление инстинкта № 2 самца содержится ожидание не только естественного удовольствия, но и естественного патронажа с его стороны, т. е. ожидание альтруистических элементов поведения.

Двуполость — начало социальности, предполагающей не только соперничество, но и партнерство.

Еще более сложен инстинкт № 3 — инстинкт сохранения собственного потомства, материнский (родительский) инстинкт. Он сформировался в естественном отборе только у высших организмов: более длительный период созревания плода, длительное постнатальное развитие, не столь многочисленное потомство... Материнский инстинкт № 3 — прямое продолжение инстинкта № 2 половой любви.

Отощавший волк в голодную зиму приносит волчице с волчатами лучший кусок добычи. Раненая куропатка уводит за собой собаку подальше от гнезда с птенцами. Сохранение своего потомства ценой собственной жизни. Нет ничего более ценного для особи, чем жизнь. Но с точки зрения филогенеза — жертва необходимая, выгодная для выживания популяции в целом. Явно альтруистическая модель поведения. Вне логики Е-поведения. В инстинкте № 3 исключительно сильно проявляется А-тип поведения. Хотя это еще и не любовь к ближнему, а только жертвенная любовь особи к собственным генам. Потомство есть будущее ее генов. Будущее собственных генов, их выживание оказываются для особи важнее собственного, личного выживания. (Будущее важнее настоящего — жажда бессмертия? Жажда «остаться» после смерти?) Действие инстинкта № 3 порой отрицает действие инстинкта № 1. И тем не менее все три перечисленных действуют для выживания популяции. Диалектика! О соотношении А- и Е-поведения в человеческом обществе и их эволюционном смысле писал профессор Д. К. Беляев. Профессор П. В. Симонов высказал также ряд важных идей по этой проблеме. К ним мы еще вернемся.

И еще одно, исключительно важное. Есть и **ответный инстинкт** — инстинкт ребенка. Ребенок ожидает и ищет спасения у матери. Альтруистического. Безоговорочного. Это ожидание записано в его генах.

Итак, мы с вами проследили основные инстинкты и выяснили, что как эгоистическое, так и альтруистическое поведение, казалось бы, несовместимые, действуют в целях сохранения и развития популяции. Мы ввели понятие **ответного инстинкта** — пассивного — и показали, что в случаях № 2 и № 3 он содержит ожидание со стороны другого индивидуума помощи, поддержки, наконец, спасения.

Инстинкт № 4 и «родословная альтруизма»

В 1971 году я прочитал в «Новом мире» гениальную, на мой взгляд, статью профессора Владимира Павловича Эфроимсона. Я кратко воспроизведу по этой статье пример из жизни шимпанзе, который лучше любых общих слов прояснит идею Эфроимсона.

В джунглях есть только один опасный для шимпанзе враг — это леопард. Тактика его нападения такова. Он таится на дереве возле тропы и бросается на спину жертвы. Сзади. Редко какая из шимпанзе остается в живых после такой схватки. Когда семья шимпанзе (20—30 особей) движется по леопардо-опасной территории, походное построение строго определено. Впереди — глава семьи, старый и сильный самец, первый номер в иерархии. За ним — самки с малыми детенышами, дальше — самцы постарше. Замыкает колонну второй номер в иерархии — зрелый и сильный самец. Если леопард нападает, он бросится на спину именно того, кто идет последним. И это место занимает сильный самец, который по рангу в иерархии и при Е-поведении мог бы обеспечить себе совершенно безопасное место. Но инстинкт № 4, инстинкт сохранения племени — уже не только собственных генов, как в инстинкте № 3 (материнском), но родственных генов — оказывается сильнее в каких-то обстоятельствах (парадоксально!) инстинкта № 1, инстинкта самосохранения.

Инстинкт № 4 — тоже продолжение инстинкта № 3, «понятого» популяцией шире. Торжество альтруистического начала.

Мысли В. П. Эфроимсона из статьи «Родословная альтруизма» стали для меня, тогда еще достаточно молодого человека, неким символом веры в человечество как среду, имеющую в качестве компонента «предусмотренную» Природой социальную мораль. Читая позднее Тинбергена и Лоренца, Домбровского и Шовена, Крушинского и Фабра, я стал с энтузиазмом — средним между спортивным и религиозным — коллекционировать проявления подобного поведения. Вот несколько примеров. Наблюдения за рыбами (не помню уже научного их названия) из каких-то морей в высоких южных широтах. Эти рыбки живут парами и, отложив икру, защищают свое гнездо от возможных посягательств. Сторожит самка, а самец доставляет пи-

щу. Но неожиданно самка исчезает (в описываемых наблюдениях ее просто вылавливал исследователь и, конечно же, оставлял ей жизнь). Тогда самец неотлучно находится на страже, пока не появляются мальки (неизвестно, как он выживает при этом без пищи). Я бы отнес все это к проявлениям инстинкта № 3 — материнского.

Но вот суровый экспериментатор (жизнь!) вылавливает и самца семейства. И что же? Если мимо проплывает другой самец — этого же вида, разумеется, — он забывает свои «личные интересы» и остается на страже чужой — чужой! — икры. По-моему, это инстинкт № 4.

А дельфины, помогающие раненым или обессиленным собратьям выбраться к поверхности моря, чтобы подышать?

Ястреб гонится за ласточкой. У нее никаких шансов. И вдруг в воздух взмывают сотни ласточек (они живут колониями, обычно в обрывистых берегах рек). Нет, они не нападают на хищника, но ястреб тем не менее оказывается без добычи — с носом (ястребиным, конечно): у него «разбегаются глаза». (Как Буриданов осел с двумя охапками сена. Этот же принцип применяют военные летчики, подпуская множество ложных целей для следащего радара.) Каждая из ласточек, отправляясь на сближение с ястребом, рискует собственной жизнью. Инстинкт № 4 — инстинкт сохранения своего племени! А-поведение. Необъяснимо с точки зрения борьбы за собственное выживание.

Разве не стремлением удовлетворить свои А-инстинкты объясняется то, что даже кровавые преступники иногда оставляют жизнь детям. Разве это не А-инстинкт поддержки слабого, распространенный уже даже не на свой биологический вид, когда дельфины спасают в море тонущих людей, а некоторые из нас посвящают свою жизнь защите животных? Муций Сцевола, Альберт Швейцер, Андрей Сахаров — разные по мотивам, но одинаковые по смыслу примеры А-поведения, когда человек жертвует жизнью или благополучием, защищая не связанные с ним генетически группы людей. И вершина А-типа поведения: Он пошел на муки, на распятие, на смерть за все человечество, предоставляя любому из оставшихся жить надежду на спасение.

Итак, двуполом высшим организмам генетически свойственен наряду с Е-типом также и А-тип поведения.

Мне представляется логичным предположить, что у этих животных существует не только вероятность проявить А-поведение по отношению к более слабым особям, но соответствующий **ответный инстинкт** — генетически заложенное **ожидание** не только Е-, но и А-поведения со стороны более сильных особей. Это инстинкт ребенка, только социализованный (от слова «социум», а не «социализм»). Разумеется, эти ожидания подкрепляются патронажем слабых со стороны более сильных. Когда особь попадает в критическую ситуацию, опасную для ее существования, и когда стереотипы ее собственного Е-поведения по инстинкту № 1 оказываются неэффективными и не оставляют надежды, индивид — тоже инстинктивно — ожидает (просит) помощи, спасения. **Он ожидает спасителя.** Возможность этого ожидания, как мы видели, заложена эволюцией в генах. Вероятность для слабого получить спасение от сильных особей не равна нулю: возможность А-поведения по отношению к слабым заложена в генах.

Вера как социальный инстинкт ожидания Спасителя

В определенном и, вероятно, главном аспекте религия есть надежда на спасение, когда своими силами оно недостижимо.

Спаситель. Вера в него дает Надежду — положительный прогноз собственного будущего. Надежда инициирует действия (остается их цель) и, как известно, умирает последней. Нет, все-таки предпоследней. После нее умирает тот, кто надежду потерял. Человек без надежды не выживает. Вера в спасителя — основание для Надежды в безнадежной для индивидуума ситуации.

Кто же спаситель? Для ребенка — инстинктивно — мать. Из А-побуждений по инстинкту № 3. Для взрослой особи — кто-то сильный из своего племени. Из А-побуждений по инстинкту № 4.

Кто?

Если племя невелико, то это вполне определенная особь. Вожак семьи шимпанзе, который прогонит опасного врага. Или шаман, который излечит от лихорадки. Это конкретный спаситель (один, два, несколько возможных в небольшом изолированном клане). Этот персонафицированный — из крови и плоти — спаситель — не бог! Его знают в лицо. Он конкретен. Могуц, но не всемогущ.

Но вот популяция разрослась. Множественные, изменяющиеся и уже непрослеживаемые постоянно каждым отношения с другими особями. Нет изолирован-

ных кланов. Совершенно новые и разнородные проблемы выживания. И вот человек оказывается в жизненно опасной ситуации. Все собственные усилия тщетны. Сначала он кричит: «Мама!» — это самый сильный инстинкт спасения, подкрепленный с детства одновременно с инстинктом № 1 (ответный инстинкт № 3 по нашей с вами классификации). Но нет помощи!

И тогда срабатывает **ответный инстинкт № 4 — в надежде на альтруистический инстинкт № 4 племени**. К кому конкретно зовет страждущий?

Нет, не существует такого человека.

Но кто-то же должен быть! Ведь так записала эволюция вполне отчетливыми генами на скрижалях хромосом!

И страждущий зовет ко всему племени — и ни к кому персонально. Это зов о помощи в неопределенную и непостижимую бесконечность. Этот отчаянный зов — к Спасителю. Абстрактному. Неперсонифицированному. Всемогущему. К Абсолютному Альтруисту. Это уже Бог. Пока еще личный Бог, но, как мы видели, он произошел из социального, общественного инстинкта № 4 — инстинкта сохранения племени.

Помощь и в самом деле приходит — иногда, ведь А-тип поведения у людей достаточно вероятен. Стало плохо на улице, и обычно найдется милосердная самаритянка, которая вызовет «скорую помощь». Заболел ребенок, и найдутся те, кто соберет по рублю на его лечение. Просто А-поведение популяции. Но если оно проявилось после зова к Богу, то, разумеется, вызвавший сочтет это Божиим промыслом. Забывая о том, что в десяти других молитвах помощь не последовала. Впрочем, у него есть и интерпретация: плохо выполнял законы Божьи. Но об этом позднее.

Это пока только личная вера в личного спасителя, но еще не религия.

Религия — это вера в Спасителя — общего, одного и того же для большой группы людей. Как могла возникнуть такая общая идея при сугубо личном переживании? Пожалуй, здесь уже нет ничего таинственного. Зов к спасителю вербализовался — у человека! — и мог быть сопоставлен у разных индивидуумов (чему способствовала позднее письменность). Определились общие черты представлений каждого о невидимом спасителе в момент экзотически отчаянного зова. При всей индивидуальности того, что представляет себе страждущий, зывая к своему богу в минуту отчаяния, можно установить общие — нет, не черты, а свойства — всех личных богов: неограниченные возможности (всемогущество) и неограниченный альтруизм (всемильность).

Бог есть общественно-усредненный символ инстинктивной Веры каждого в Спасителя. Этот символ мог возникнуть (или не мог не возникнуть!) именно у популяций двуполовых организмов, практикующих племенной стадный — коллективный — образ жизни и создавших способы обмениваться информацией в своих эмоциях.

Бог — творение Природы. Бог — творение человеческого социума.

Как мы проследили, **Бог — мифологизированный символ ответного инстинкта № 4**, выработавшегося у популяции как результат естественного отбора. Разумеется, этот инстинкт закреплен в генах. В этом смысле прав профессор Б. Джозефсон, полагая, что «религия — в генах». Следует, однако, уточнить этот афористический тезис. **Не религия — в генах. В генах — ответный инстинкт № 4 — обобщенный инстинкт ребенка**, который надеется на Спасителя. Еще З. Фрейд и Э. Фромм, анализируя происхождение религии, поняли, что религия — взрослое повторение детского опыта, поиска защиты у родителей (по Фрейду — у отца, наделенного в представлении ребенка высшей мудростью и неограниченной силой). Кажется, в терминах инстинктов и ответных инстинктов, которые мы с вами используем, это удается выразить, основываясь не столько на экзистенциальном опыте детства каждого, сколько на альтруистическом инстинкте всех, инстинкте, выработанном эволюцией для сохранения популяции и закрепленного в генах всех ее представителей. Воспитание в семье, этой школе альтруизма, и собственный экзистенциальный опыт личности делают человека верующим либо в Бога, либо в альтруистический инстинкт № 4 — помочь слабому. На самом деле, это тождественно. Это есть апелляция к альтруистическому инстинкту в сообществе. Зывая к Богу, мы на самом деле зываем к социуму, к его заложенному Природой в генах общественному фонду А-поведения.

Бог-Создатель

Мы проследили происхождение — генетическое, врожденное — ожидания Бога-Спасителя — мифологизированного символа «ответного инстинкта» № 4. Между тем Бог обладает двумя абсолютными функциями: не только Спасителя — но и Создателя.

Я хотел бы не отклониться уж очень сильно от генеральной линии — анализа коллективного поведения человеческих сообществ, но, уж отважившись, как Иаков, поднять голову к Небу, я обязан высказать все! Здесь это будет очень коротко, только для демонстрации полноты «модели», в равной степени как и полноты погружения ее автора в бездну безбожия. На самом деле, этот аспект столь же неисчерпаем, как и первый. И должен сказать, что лично мне как профессиональному физическому он всегда казался более животрепещущим. Уже не знаю, что случилось с нами, но всех потянуло к общению с миром людей. Кто-то из бывших ученых окунулся в отрезвляюще холодную — и признаться, зловонную — купель политики, намереваясь по завету Маркса (в интерпретации Энгельса) изменить мир. Другие, сохранив профессионально свойственную научным работникам брезгливость и априорную склонность к анализу, ограничились попытками только обьяснить мир людей. Но все обратились к человечеству. Таково уж наше экстравертивное время!

Итак, о Боге-Создателе. С настойчивостью утверждаю, что и это — обозначение инстинкта, заложенного генетически в каждом из нас.

Что ж это за инстинкт — еще один? Это так называемый инстинкт исследовательский. Не подумайте, пожалуйста, что это профессиональный инстинкт ученого-естествоиспытателя. Он в равной мере выражен и у столь близких нам приматов, и у столь любимых мною дельфинов, и (в лабораторных, конечно, условиях) у крыс... Действие этого инстинкта вы наблюдали сотни раз. Вспомните, что делают ваши кошка или собака, попадая в незнакомую им квартиру: они энергично обследуют помещение. И только после этого успокаиваются. Такое поведение свойственно всем животным — каждому индивидууму необходимо знать все важное об окружающей обстановке: нет ли опасностей, есть ли пища etc. Вот как замечательно продемонстрировал роль этого инстинкта для особи П. Кроукрофт, описав это в книжке «Артур, Билл и другие»³. Большую часть примеров из жизни крыс я почерпнул именно из этого блестящего исследования. Экспериментаторы помещали в один бокс двух не знакомых ранее друг с другом вполне здоровых самцов. У крыс иерархические взаимоотношения устанавливаются очень быстро и совершенно бескровно. Но сразу выясняется, кто боится. Сильнейший — его назвали Артур — безоговорочно доминировал. И вот иерархически подчиненного Билла пересадили в другой бокс, столь же комфортабельный. Разумеется, первое, что он сделал, это тщательно обследовал новую территорию и, конечно, известным способом «застолбил» свое право на нее. И вот, дождавшись, когда Билл случайно зажил на своей новой родине, коварный экспериментатор подселил к нему иерарха, знакомого по прошлой жизни Артура. И тут оказалось, что Билл теперь главный! Позднее, впрочем, прежние иерархические отношения могут и восстановиться, но чаще они сохраняются уже в новом виде. Что же произошло? На самом деле, очень важное: Билл удовлетворил свой врожденный исследовательский инстинкт. В отличие от Артура Билл **знает** окружающее. И именно это **знание** сделало его сильнее соперника. Вот, оказывается, какова цена и цель приобретаемой информации. Вот где, оказывается, корни великого афоризма Френсиса Бэкона о том, что **знание — сила**. И вот что за преимущества дает особи наличие у нее врожденного, зафиксированного в генах исследовательского инстинкта.

Несомненно, этот инстинкт входит в комплекс инстинкта № 1 — инстинкта самосохранения, но именно его развитие и привело **животное к человеческому облику**. К культуре, к наукам, к колесу и компьютеру — материализованным результатам исследовательского инстинкта. Где же в этой схеме потребовалось сотворение Создателя? Кажется, здесь хватает «классической» логики «воинствующего материализма». В самом деле, стремление удовлетворить свой жизненно важный, как мы видели, исследовательский инстинкт определяется тем, что индивид получает возможность прогнозировать события и строить свое поведение в соответствии с этим прогнозом (на самом деле, это и есть начало науки). Больше знаний, более мощный аппарат для их обработки — и вероятность правильно выбрать поведение повышается. Индивид сумеет выжить, если сможет провести достаточно глубокий анализ и на его основе синтезировать адекватную линию поведения. Но вот беда: знаний недостаточно, аппарат слаб — глубокие причины явлений остаются непостижимыми для нашего homo sapiens, как и для его недавних предков, хотя и в несколько меньшей степени. Вот он и предсказывает нечто, а «коварная» Природа опровергает прогноз, построенный на неверных посылах. И снова, когда возможности собственного прогноза оказываются драматически несостоятельными, с необходимостью возникает внелогичная, из другого измерения сила — из теоремы Геделя. Все необъяснимое — от Нее. И все сразу — прозрачно ясно. От молнии и грома до странных скачков в эволюции животных. Все, что не могу понять и объяснить, — от Него. Это — Создатель.

³ П. Кроукрофт. Артур, Билл и другие (все о мышах). М., Мир, 1970, с. 158.

Вообще говоря, функции Спасителя и Создателя практически не пересекаются, и в языческих религиях каждый бог специализировался только по своему департаменту. Не станем сейчас обсуждать, по каким причинам Великие религии оказались монотеистическими и как именно произошло это великое объединение в одном Боге. Одна, но бесконечная мощь принципиально привлекательнее и сильнее суммы огромных, но конечных мощностей нескольких разных богов. **Спаситель должен быть и Создателем. Создатель должен быть и Спасителем.** Нет необходимости оставлять две различные силы, две разные сущности, иначе каждая из них не является все-могущей.

Кто был тот мыслитель, который соединил Спасителя и Создателя в одном Боге? Именно этот человек создал современную цивилизацию.

Поразителен по устойчивости алгоритм описания свойств Бога из Ветхого Завета. Поразительно глубина постижения евангелистами свойств человеческой психологии, которая только сейчас, благодаря прозрениям Нильса Бора⁴, быть может, приобретет черты количественной — предсказывающей — науки. Но это отдельная тема для обсуждения. Цель же этого короткого раздела только в том, чтобы показать, что с точки зрения предлагаемой автором модели генезиса величайшего символа человечества — его собственные инстинкты. Бог — Создатель и Спаситель — в одной сущности есть символ беспомощности человека и символ его Надежды. И вернемся к нашим *homo sapiens*.

Бог и Люцифер в контексте поведения личности и общества

Странный, казалось бы, персонаж — Люцифер. Откуда он и, главное, зачем? Бог — символ абсолютного альтруизма. Его противоположность — символ абсолютного эгоизма. Будем называть его Люцифером, выбрав из множества имен (Дьявол, Демон, Сатана, Черт, Мефистофель...) именно это как наименее скомпрометированное, кажется.

Противники ли они — Бог и Люцифер?

Проанализируем личность человека в контексте альтернативных А- и Е-моделей поведения. Условием А-поведения индивидуума является возможность его проявить и, следовательно по меньшей мере выжить и преуспеть в чем-либо, чтобы было чем облагодетельствовать страждущих. Но преуспеть в жизненных делах — значит собрать нечто сверх того, чем располагает страждущий, не имущий этого нечто. Кажется чуть ли не очевидным, что преуспевший эгоистически отобрал его у тех самых ныне страждущих. В самом ли деле — отобрал? Конечно, это могло быть и буквально так, если речь идет о грабителе или мошеннике. Но оставим их в стороне. Неизмеримо чаще преуспевший действовал совершенно лояльно по отношению к остальной части популяции, ни прямо, ни косвенно не отбирая ничего у других. Просто он был наделен большими способностями, энергией, фантазией, трудолюбием и т. п., чем его собратья (последние очень неохотно соглашались это признать, замечательный пример — библейский Иосиф), и, используя эти качества в своих личных, эгоистических целях, накопил то, что не сумели, не захотели, не были способны (или были ленивы) заработать (в широком смысле, включая не только достаток, но, например, и престиж) его соплеменники. Как бы ни были сложны «трофические» пути каждого успеха, это действия, направленные на удовлетворение собственного, личного благополучия, комфорта (тоже в очень широком понимании). И поэтому установка личности — это поведение по инстинкту № 1. Даже тогда, когда это, например, самоотречение, его побудительным мотивом тоже может быть личный комфорт — например, удовлетворенное честолюбие. Так следует ли осуждать Е-тип поведения, если все, что создано человечеством (и даже далеко не только материальное), это результат выраженного Е-поведения людей — эгоистического поведения⁵.

⁴ Н. Бор. Атомная физика и человеческое познание. М., ИЛ., 1961, с. 152. Н. J. Folse. The philosophy of Niels Bohr. North-Holland Personal Library, Amsterdam-Oxford-N.-Y.-Tokio. 1985, p. 236.

⁵ В христианстве движение реформаторства привело к смягчению категорического осуждения Е-поведения. Я склонен видеть в этом героническом акте изменения религиозной догмы реакцию сообщества на эволюционные изменения, произошедшие за несколько десятков веков с социумом. На заре ветхозаветной цивилизации было особенно важно максимально противостоять сугубо эгоистическому инстинкту № 1. С развитием информационных и технических возможностей человечества жесткое осуждение действий по инстинкту № 1 стало тормозом развития. Протестантство существенно ослабило это ставшее архаичным требование.

И вот теперь-то преуспевший индивид может дать волю своим инстинктам № 2, № 3 и № 4 — ему есть, что предложить своему потенциальному супругу, чем поддержать своих детей и что пожертвовать на организацию столовой и больницы для бедных, на премии для ученых, на меценатскую поддержку музея. Наконец, на строительство храма во славу именно А-типа поведения человечества и его символа — Бога. Храм, воздвигнутый эгоистами во славу альтруизма.

Принципиально невозможно существование индивида только с А-типом поведения. Он не мог бы выжить. Даже Иешуа, хоть и сын Бога, но человек — согласно легендам пил вино и закусывал сыром и маслинами, когда, вероятно, знал, что где-то вблизи или вдали умирал от голода его соплеменник. Существует нижний предел альтруизма, который обеспечивает возможность выжить в реальной биологической и социальной действительности. Так что среди живых существ чистые альтруисты, свободные от «скверны» эгоизма, отсутствуют принципиально.

Не выживает и человек со стопроцентным Е-типом поведения. Ведь он использует только инстинкт № 1, ответным которому является противодействие окружающих. У самых отъявленных преступников обнаруживаются черты и А-поведения — с подругами (инстинкт № 2), с детьми (инстинкт № 3), с соратниками из своей среды (инстинкт № 4). Иначе — незамедлительный ответ окружения в том же ключе — главным образом, гаечном.

Реальному человеку присущи черты обоих типов поведения. В одних ситуациях он демонстрирует Е-тип, в другом А-тип. Только большая совокупность поступков дает статистическое основание судить о мере альтруизма и мере эгоизма в каждом из нас. И это измеримо в собственном смысле слова «измерить». Именно так и действуют современные психологи (Айзенк, Осгуд, Гилфорд, Кеттел), оценивая количественно с помощью полярных шкал разные психологические черты личности (интроверт — экстраверт, оптимист — пессимист и т. д.) или убеждения человека (патриот — космополит, конформист — нонконформист и проч.) и проводя затем статистическую обработку этих оценок. Получаются значимые и устойчивые характеристики личности. Точно так же социологи получают достоверные сведения о психологии общества.

Возвращаясь к нашим более абстрактным рассуждениям, мы станем утверждать, что какой-то человек — эгоист (или альтруист), если в статистике оценок множества его поступков преобладает Е-тип поведения (А-тип) по сравнению со средним статистическим весом такого поведения в популяции в целом. И это совсем не означает, что этот человек совершает только Е- или только А-поступки. Я много писал об этом в связи с количественным исследованием черт психологии поэтов по ее проявлениям в творчестве⁶. Не стану подробно разъяснять сейчас детали таких построений. Мету альтруизма личности или популяции можно определить вполне количественно. Ну например, как предлагал когда-то остроумнейший человек профессор А. И. Китайгородский. Постоять у входа в метро и подсчитать, какая доля прошедших людей придержит дружинную дверь, чтобы она не хлопнула по лбу следующего позади. Неплохая мера человеколюбия! Или (это посложнее) определить, какую часть своих доходов обеспеченный человек отдает на благотворительные нужды... Уверяю вас, все мыслимые тесты покажут несто процентную долю эгоизма, так же, как и альтруизма. И у личности, и у популяции.

И Бог, и Люцифер живут в каждом из нас одновременно. Они — два полюса, два крайних, предельных проявления. Бог, всемилостивый и всеальтруистичный (он требует стопроцентного А-поведения) и Люцифер — самоковарнейший и всеэгоистичный (он рекомендует стопроцентное Е-поведение).

Оба они бескорыстны. Ни Богу, ни Люциферу не нужно ровно ничего для себя. Им не нужно обеспечивать свое выживание. Поэтому они «недоступны звону злата». Как и Бог, Люцифер лишен черт эгоистического поведения. Они не-существа, они символы двух начал, двух типов поведения человека. Как мы видели, ни человек, ни человечество не могли бы выжить, если бы отсутствовало любое из этих начал.

Так враги ли они — Бог и Люцифер?

Скорее они партнеры в джентльменской игре в теннис. (Простите мне прозрачные параллели — не нашел более подходящего образа. Он не содержит иронической окраски: просто теннис — действительно уникальная игра.) Бог играет за

⁶ В. Кошкин. Жизнь духа как объект количественных исследований. Сучасність (Современность). Киев 1995, № 6, с. 158—162; В. Кошкин, Л. Фришман. Исчисления души или коллективный анализ как метод литературоведения. Вопросы литературы, 1995, № 4, с. 91—103; Вероятностный мир психологии и статистики лирики. Сб. «Кентавр» под ред. Д. С. Данина. М., Маджистерим, 1996 (в печати); Быть поэтом. Опыт статистической литературометрии. Человек. М., Наука, 1991, с. 79—82.

цвета популяции в целом, Люцифер отстаивает интересы индивидуума в ней — в этом и состоит интрига вечного матча. Как только перевес Люцифера становится значительным, тут же усиливается давление социума на свободные проявления личного Е-поведения, подача переходит к Богу. Сокрушительный удар — смэш, и Люцифер посрамлен. А-поведение усиливается. Религия крепчает. Преступность искореняется. Искусства выхолощаются. Все, что производится, делится более или менее поровну. Свобода проявлений личности подавляется. Инициатива индивидуумов падает, и хиреет производство. Общественный фонд А-поведения скудеет совсем уж материально. Народ снова неудовлетворен. Тут уж подача переходит к Люциферу. Инстинкт № 1 начинает действовать посильнее. Надо выжить! Уже каждому в отдельности — ничего не поделаешь! Хитрая «подрезка» мяча, подача по линии — на грани нарушения Правил! Инициатива личности процветает, промышленный подъем, мошенничество, рабочие места, гомосексуализм, изобилие, гангстеры, расцвет искусств, коррупция — словом, все цветы индивидуальной свободы Е-поведения. Но когда каждый борется сам за себя и слишком сильно нарушается равновесие Е- и А-поведений, общество поляризуется, градиенты достатка растут — возрастает социальное напряжение. И тут-то (путем ли выборов, путем ли революций) популяция снова передает подачу Богу. Потенциал производства наработан, на какое-то время хватит. Время заняться уравнительным перераспределением. И маятник снова качнулся к преобладанию А-поведения. От либерализма к тоталитаризму. А потом назад — от клерикализма к безбожию. А потом снова — от частной инициативы к государственной монополии.

Я сознательно смешал экономические, религиозные и политические термины, поскольку, как мы увидим, их колебания имеют одну природу.

Салонными соображениями о политическом маятнике мы все уже пресыщены. На самом деле все это проявления действия так называемой отрицательной обратной связи. Динамическая устойчивость — это поддержание системы вблизи точки равновесия, а не в самой этой точке, где все процессы прекращаются. Когда динамически устойчивая система отклоняется от точки равновесия, возникают силы, стремящиеся вернуть ее назад, и она начинает двигаться к равновесной точке. Но система инерционна и, набрав скорость, проскакивает эту точку и отклоняется в противоположную сторону. И так далее. И организм, и популяция — такие динамические системы. Стационарное их состояние — это процесс колебаний вокруг равновесной точки. Жизнь — это процесс. И сохрани Бог (или Люцифер поberi), чтобы система остановилась в точке равновесия. Это и есть смерть. Организма, популяции, социума. И в символическом, и в прямом смысле слова.

Вот несколько объективных, количественных закономерностей, которые представляют собой нечто более существенное, чем привычные наши разглагольствования на кухне.

Специалистам хорошо известны так называемые «длинные волны в экономике», обнаруженные Н. Д. Кондратьевым (само собою разумеется, во времена триумфа всеобщей любви — А-модели поведения в нашем обществе — Кондратьев был расстрелян: уж больно талантливым был, слишком отличался от вождя деленного среднего). Кондратьев успел все-таки показать, что экономический статус колеблется с периодом около 50 лет. Эти периодические подъемы и спады в экономике свойственны всем странам, независимо ни от этнических особенностей народов, ни от преобладающего способа ведения хозяйства. Известный математик С. Ю. Маслов сделал открытие, на мой взгляд, не меньшей важности. Анализируя архитектурные стили за несколько веков, он в результате статистической обработки экспертных оценок обнаружил, что классический стиль и романтический чередуются на протяжении столетий. То преобладает классицизм, то барокко. В. М. Петров и О. И. Данилова обнаружили такие же колебания стиля в музыкальной композиции. Оказалось, что эти колебания имеют период около 50 лет, и Маслов показал, что они почти синхронны с колебаниями экономического индекса страны. В наших статистических исследованиях (см. сноску б) удалось обнаружить 50-летние циклы изменения фундаментальной психологической характеристики личности — доли интровертности (обращенности к себе, к внутренним переживаниям) и экстравертности (обращенности к окружающему миру) в усреднении по социуму. С. Ю. Маслов обнаружил, что «архитектурные» волны несколько опережают экономические, а мы показали, что психологические волны по крайней мере не запаздывают по отношению к экономическим. Маслов был склонен видеть в этой поразительной синхронности проявление смены парадигм в обществе. И хотя можно предложить с десятком достаточно непротиворечивых нелинейных моделей (в духе И. Пригожина), которые, впрочем, вряд ли удастся сейчас количественно проверить, я склонен согласиться с идеей С. Ю. Маслова.

Парадигма общества в контексте нашей статьи — это преобладание А или Е-модели поведения по отношению к некоему среднему, равновесному. А изменение психологической парадигмы запускает механизмы экономических изменений.

Первична общественная психология, общественное производство — вторично!

Вот так и качается А — Е-маятник, определяющий экономику общества и его психологические предпочтения. Бог и Люцифер соединены нерушимой отрицательной обратной связью («отрицательный» здесь не означает «плохой»). Вот так и играют в теннис два предвечных и неразлучных соперника. И никто из них никогда не выигрывает матч.

Инь — янь, инь — янь, инь — янь... Смэш! Переход подачи.

Божественно умная стратегия и чертовски хитрая тактика

Бог и Люцифер играют инстинктами все-таки через посредство каждой личности. Каковы же приемы, которые они используют? Мы видели, что все перечисленные инстинкты так или иначе работают в пользу выигрыша популяции, но всегда инстинкт № 1 и отчасти № 2 совпадают с интересами индивидуума, а инстинкты № 3 и № 4 действуют именно для популяции и, в общем, противодействуют эгоистическому выигрышу данной особи. Богу, играющему за популяцию в целом, а на самом деле так называемому «общественному сознанию» популяции необходимо было выработать такие приемы, чтобы исполнение альтруистических инстинктов казалось эгоистически выгодным каждому индивидууму. И это было сделано коллективным гением человечества.

Что может быть предложено в качестве пряника и кнута — оружия управления, если речь идет о всемогущей силе Спасителя, проявления которой эфемерны и промысел которой никогда не бывал доказательным? Ведь никакая религия не в силах объяснить такую несправедливость, когда отпетый мерзавец наслаждается дарами жизни, а признанный праведник испытывает несчастья. Бог обещает счастье рая только после смерти и тем только, кто выполняет коллективный договор с ним, подписанный Моисеем от имени человечества. Тем же, кто не выполняет, предстает вечный ад. То же посмертно. Эксплуатация абсолютно непроверяемого — качества загробной жизни, т. е. эксплуатация страха живого перед небытием.

И непознаваемому Богу человечество в целях своего самосохранения присвоило именное оружие, такое же принципиально непознаваемое, как Он сам: суд после смерти. Смерть — единственный абсолютный страх живого. Скорее всего это страх неведомого — исследовательский инстинкт не может быть удовлетворен. Религия дает **непроверяемую картину неведомого будущего**. Это есть единственный, но невероятной силы стратегический прием, которым располагает Бог в его соревновании с Люцифером.

Мы видели, что заповеди Моисеевы есть вербализованная и мифологизированная запись инстинктов, заложенных Природой. Бога действительно следовало выдумать! Законы Моисеевы — это договор каждого человека с человечеством. И, если хотите, договор человека с самим собой. Под угрозой смерти (или лучше сказать, под угрозой вечного ада). Преступление перед законами Цесаря можно скрыть и не быть наказанным. Преступление перед законами Бога не может быть сокрыто. Он видит все — по определению. И действительно, не может быть сокрыто, ибо в каждом из нас есть А-инстинкты. Неустрашимые, пока мы живем. Наши А-инстинкты ревностно следят за Е-инстинктами (как и наоборот, впрочем!). И поэтому каждый сам себе согладатай. И уж от себя не скроешь! Это говорят в нас А-инстинкты, голос которых **мы называем совестью** — ответственностью перед окружающими и в той же степени перед самими собой.

Итак, эксплуатация страха перед неизвестным загробным существованием — вот сокрушительный удар Бога в соревновании за души.

Что же Люцифер? Ведь он непрост, если Бог от начала веков сражается с ним, но не побеждает. Инстинкт № 1 — первичный, самый основной из основных. На самом деле тактика Люцифера чертовски проста и потому тоже гениальна. «А вы видели загробную жизнь? Да нет ее вовсе! (Здесь я склонен с грустью поверить Искушителю.) А потому наслаждайся жизнью, круши все подряд, если тебе это доставляет удовольствие или пользу! Е-поведение — вот смысл жизни. Живи для себя, пусть другие позаботятся о себе сами!»

Хитрый прием, не правда ли? Инстинкту борьбы с собственной смертью (инстинкт № 1) можно противопоставить только почти равный ему по силе инстинкт страха перед тем, что будет после смерти (как ни парадоксально, что-то вроде ин-

стинкта самосохранения после смерти!). Бог предлагает блаженство — но в неведомом будущем, но вечное, но ценой лишений в этой жизни. Люцифер тоже предлагает блаженство — но краткое, но сейчас и здесь, но ценой страданий и ненависти окружающих. Религия — это свод правил поведения индивидуума в социуме. Бог — это запрет, Бог — это несвобода. Люцифер — это полное отсутствие запретов. Люцифер — это ничем не ограниченная свобода для удовлетворения желаний индивидуума, жизнь только для себя.

Отец Сергей последовал первому совету, Фауст в подобных обстоятельствах послушался второго. Оба, как я понимаю, несчастны. Лично мне более симпатично решение пана Твардовского из поэмы Адама Мицкевича. Если помните, гуляка Твардовский продал душу черту за какие-то услуги. А когда пришло время отдавать долг, наш герой, имевший в запасе исполнение еще одного своего желания, потребовал от черта вполне невинного:

...покуда год прилежно
Послужу я Сатане,
Послужи ты пани нежно,
Мужем будь моей жене.

Разумеется, черт испугался такой перспективы и был посрамлен.

Как мог появиться в изумительно стройной и действительно непротиворечивой логике учений, происшедших от Ветхого Завета, столь явный «поддавок»? Как мог Всевышний отдать Люциферу почти в полную эксплуатацию любовь мужчины и женщины? Запрет на любовь, на двуполое размножение (партеногенез, что ли?) отменил бы все проявления А-поведения, не было бы ни наук, ни искусств, ни техники... Бога бы не было! Ведь Он, как мы видели, порождение А-инстинктов именно двуполой популяции.

Зачем вообще было оперировать бедного Адама, зачем было сооружать гениталии и делать соответствующий грех столь сладостным? Разве Люцифер, а не Бог искушал, провоцировал соблазн?... Это был первый сет, выигранный Люцифером.

Но я не склонен квалифицировать это как ошибку его партнера. Бог просто подарил Люциферу ракетку, чтобы эта игра — жизнь — вообще состоялась.

Но, выпустив Люцифера из бутылки, справиться с ним уже нелегко. Сами знаете!

Инстинкт № 5 и синдром Сатурна

Мы видели, что инстинкт самосохранения (№ 1) — чисто эгоистический (оружие Люцифера). В половой любви (инстинкте № 2) уже содержится некая доля А-поведения. В родительском инстинкте (№ 3) А-доля уже велика. Коллективный, социальный инстинкт № 4 уже чисто альтруистический — гегелевское отрицание инстинкта № 1. Но диалектика мудра, как Бог, и коварна, как Люцифер. В недрах коллективного поведения возникает еще один инстинкт, противодействующий симпатичному инстинкту № 4, — инстинкт прореживания популяции. Присвоив этому опасному инстинкту № 5. Проследим, как он появляется и проявляется в человеестве, к сожалению, уже сейчас достаточно сильно. Но начнем с животных.

Известно, что даже в жестоких сражениях полового отбора самец-победитель ни у оленей, ни у волков, ни у птиц не уничтожает соперника. «Ворон ворону глаз не выклюет». «Не убий!» — эта заповедь уже существовала в мире животных инстинктов и была только вербализована Моисеем. Достаточно знака покорности побежденного — и никакой жестокости со стороны победителя сверх той, что была необходима для победы. Разумеется, тоже элементы А-поведения. И весьма оправданные популяционно: слабейшие могут оказаться исключительно важной частью популяции и быть единственной перспективой сохранения вида при резко изменяющихся условиях существования⁷.

Но вот что происходит с этим умиляющим альтруизмом, когда численность популяции на единице площади увеличивается. Эксперименты с крысами. Корма много, хватает всем. Площадь экспериментального бокса большая. Крысиное сообщество самоуправляется. Раздел и разметка территории: сильным побольше, слабым поменьше. Иногда небольшие стычки, но ни одного трупа, даже крови. Но вот плотность крысиного населения растет: за счет ли естественного приплода, или экспериментаторы добавляют в бокс особей. И начинается нечто совсем другое, хотя

⁷ В. М. Кошкин, Ю. Р. Забродский. Этологический механизм естественного отбора. Журнал общей биологии. 1980, т. 11, № 1, с. 377—384.

пищи по-прежнему вдоволь всем. Первая кровь. Первые трупы убиенных. Поедание крысят. Сообщество крыс меняет психологию. Меняется даже физиология: аменорея и выкидыши у самок. Популяция «хочет, но неумолимые законы развития популяции требуют именно этого. Выживание популяции требует самопрореживания и антиальтруистического поведения каждой особи в этих условиях.

Массовый суицид крохотных грызунов — леммингов в Северной Европе. Массовые самоубийства гигантов-китов... Я не знаю причин, этих массовых движений, но во всех случаях одно и то же: популяция сокращается в результате действия особей, ее составляющих. Почему-то это выгодно по ее (популяции) собственным законам, а индивидуальная особь «лично» отработывает эти законы (разумеется, их не сознавая), умерщвляя ближних, умерщвляя потомство, умерщвляя себя.

А теперь посмотрим на наше с вами человеческое сообщество. Транспортные аварии. Экологические — техногенные бедствия. Сознательное умерщвление себе подобных приобретает перманентный и массовый характер. Рост числа суицидов, в том числе коллективных. Браки без детей — по физиологическим ли, по социальным ли причинам. Об умерщвлении собственных детей все чаще сообщают газеты. Количество абортот растет. Нерепродуктивный гомосексуализм захватывает сексуально активных граждан. Новые болезни. СПИД, делающий опасным инстинкт № 2 — продолжение рода. Противозачаточные средства пропагандируются правительствами. Планирование рождаемости в Китае предполагает не только премии за малолетность и санкции за превышение нормы сокращенного воспроизводства, но поощряет и стерилизацию.

Не кажется ли все это поразительно сходным с тем, что происходит в популяциях животных? Механизмы саморегуляции численности различны, но одинаков конечный результат.

Популяция находит пути не только для расширенного воспроизводства себя, чему способствуют инстинкты № 1, № 2, № 3 и № 4, но и для уменьшения своей численности. Апокалиптический инстинкт № 5, инстинкт самопрореживания популяции тоже, конечно, коллективного, общественного происхождения.

Что за пусковой механизм этого инстинкта? Не мальтузианская ли это идея о преобладании роста населения над ростом массы продуктов питания и недостатке еды? Мне кажется, дело по крайней мере не только в этом. Крысы были сыты, когда начали убивать друг друга. Рождаемость сокращается в сытых странах. Вакханалия массового убийства, этнического, религиозного, бытового, на мой взгляд, все это — естественное порождение цивилизации, а не голода.

Кроме общего роста численности человечества, происходит то, что и является предметом и смыслом цивилизации, — накопление информации и ускоряющийся темп ее поступления к каждому.

По-видимому, человек не смог (пока?) адаптировать себя к информационным потокам такой мощности. Индивидууму — даже подсознательно — эта излишняя информация мешает, он чувствует себя дискомфортно в этом потоке автомобилей и лиц, телевизионных мельканий и призывной рекламы. Отсюда дистресс (именно патогенный дистресс, а не благотворный стресс, как показал Г. Селье), депрессии, психические расстройства, стимулирующие, как известно, затем и соматические. Именно этот переизбыток информации изменяет характеристики психики людей, делая ее в целом, усредненно по нашей общей больнице, более агрессивной по отношению к окружению. Это и есть адаптация общества к самому себе.

И у крыс все так же. Слишком много усов и хвостов в поле зрения каждой, вполне миролюбивой исходно мышки. И на каждый хвост инстинктивно, рефлексивно даже — какая-нибудь реакция. К этому избыточному информационному потоку крысы при большом их скоплении на малой площади адаптируются изменением психики. На агрессивную.

Эмоционально дискомфортен не только дефицит информации об окружении, но и ее избыток. Это непосредственно следует из теории эмоций П. В. Симонова. Каждый индивидуум стремится минимизировать (или оптимизировать?) поток информации, которую ему надлежит переработать. Есть необходимость, скорее всего тоже на уровне инстинктов, в информационном покое — «праздность вольная, подруга размышления». Для волков и крыс это достигается разметкой территории, через границу которой не должен переступать чужой. Пока популяция не очень многочисленна, необходимый информационный покой обеспечивается, а если нет, то возникает тот самый общий агрессивный синдром.

У людей ферромонная разметка территорий, насколько я осведомлен, уже не практикуется. Состоятельные люди в Бостоне и Нагое, Канберре и Москве стремятся жить подалее от многолюдья крупного города. И дело не только в экологии, дело в защите от дистресса избыточной информации. Но у человека в отличие от волков и крыс нет возможности уйти от информационного избытка: расстояния пе-

рестали разделять. Не спасают ни изолированная комната в коммуналке, ни собственный коттедж — сигналы распространяются со скоростью света и вторгаются в жизнь каждого через любые стены. Свой дом перестал быть крепостью — дистанционное проникновение информации.

Не столько количество человеческих особей на единицу площади обитаемой суши — плотность популяции — **определяет этот дистресс, сколько плотность информационных потоков на одну изнемогающую душу.** Когда информация стала массовой, тиражированной, сравнительно немногие источники создают избыточные информационные потоки для каждого из всех.

Не думаю, чтобы это можно было устранить. Цивилизация характеризуется именно своими информационными и энергетическими возможностями (на мой взгляд, это могло бы быть чуть ли не определением цивилизации). И как бы это ни было скорбно (или радостно?), но технические возможности, достигнутые человечеством, оно уже не сможет не использовать, не откажется от них никогда. Поэтому благородная борьба против распространения атомных электростанций, например, — это именно борьба с ветряными мельницами. Действительно благородная⁸...

И вот цивилизация, развиваясь, подчеркиваю, неудержимо развиваясь, в отношении технической мощности, пользуется все еще инстинктами №№ 1—4, но именно это развитие столь же неуклонно создает предпосылки для самопрореживания: возбуждает инстинкт № 5 и **синдром Сатурна, пожирающего собственных детей.**

Оказывается, древние предвидели такое развитие событий!

Похоже, действительно высшее благо популяции в этих обстоятельствах — сократить. Уменьшение темпа размножения (физиологическое отрицание инстинкта № 2), поедание собственных детенышей (психологическое отрицание инстинкта № 3) и уж, конечно, никакой поддержки слабым: наша, как и крысиная, любовь к ближним исчезает (тоже психологическое — отрицание инстинкта № 4). Диалектика не дремлет!

Падение ценности человеческой жизни в современном обществе — результат действия инстинкта № 5, который так же заложен Природой, как и четыре перечисленных ранее.

Похоже, Люцифер нашел-таки возможность усилить свою игру!

Боги жаждут крови, или Воинствующий альтруизм

Происходящее вызывает смятение личности. Сначала все, у кого остается все меньше надежды на себя самого, тянутся к Вере — к общественному фонду надежды, фонду А-поведения. Это еще не богоискательство. Это пока богозаискивание. Всемиловитый же помогает все реже и реже: А-инстинкты притупляются, выступают инстинкты № 1 и № 5.

Чем же отвечает религия на изменение психологии общества? Религия по-прежнему, как и в средние века, запрещает аборты и борется с контрацепцией. Когда догматы формировались, это действительно было полезно для человеческой популяции в целом: она имела свободные информационные емкости для развития и роста, но теперь, несомненно, наносит ей вред. По-моему, это безнадежная попытка противопоставить догмы велению Природы, распорядившейся уменьшить популяцию. Эта «инерция стиля» опасна.

Так Люцифер, не дай Бог, и победит. Будет очень плохо, если церкви лишатся прихожан, которые просто не имеют возможности, даже желая этого, поступать согласно устаревшим правилам. Ведь выполнение их ставит каждого в ситуацию, заведомо чреватую преступлением против поощряемых церковью А-инстинктов № 2 и № 3, не говоря уже об инстинкте № 4, который быстрее других А-мотивов устра-

⁸ Я совсем не дальтоник, а зеленый цвет мне глубоко симпатичен. Ну, разумеется, нужно стремиться ослаблять вредные следствия цивилизации. Ну, конечно, это гуманно. Но я не могу удержаться, чтобы не напомнить, может быть, в излишне наукоподобной форме о том, что существует строгое неравенство Клаузиуса-Бриллюэна, повествующее о том, что выработка информации и полезной энергии непременно сопровождается ростом энтропии, хаотичности, если хотите, вредных последствий в окружающей среде, которые принципиально не могут быть компенсированы с использованием тех же самых источников полезной энергии и информации, против которых как раз и борются малахитно-изумрудные движения. Это даже не кафтан бессмертного Трифона. В обсуждаемой ситуации каждая новая латка на ткани Природы расходуется не только ее же клочок, вырезанный в другом месте, но расходует и часть ткани вокруг дырки, которую мы вознамерились залатать.

няется из общественного поведения. Догматы религии вступают в противоречие не только с практикой жизни, но и друг с другом и подрывают корни религии.

Верующие в инстинкт № 4 и не получающие подкрепления ему в реальной жизни ищут нового Бога или модификацию предписаний того, кого продолжают считать символом А-поведения общества. А-инстинкты, в частности, те, которые мы назвали ответными, принципиально, по определению, апеллируют к сообществу. Слабому необходимо ощущать себя частью большого сообщества, которое имеет свой общественный А-фонд поведения. Поэтому ищущий нового бога, нового Спасителя на самом деле ищет единомышленников (или лучше сказать «единочувствующих», поскольку поиски утраченной или новой веры — более дело чувств, инстинктов, чем мыслей).

Обездоленные и обезнадёженные собираются вокруг какой-либо сильно или слабо модифицированной веры и наиболее талантливых ее пропагандистов. Так возникают секты в старых религиях или новые малые боги и их пророки на земле. Дробление верований — знамение конца этого тысячелетия и предвестник новой реформации. Это реакция на усиление поведения № 5.

Каждый принявший новую веру объединился в незримом сообществе с единоверцами, надеясь на их А-поведение по отношению к себе.

Оттого, что какие-то единоверцы объединились в одной конфессии, а другие в другой, общая возросшая, как мы видели, в силу естественных причин агрессивность популяции в целом не уменьшается.

Но каждый теперь ожидает агрессивного по отношению к себе поведения, главным образом, со стороны иноверцев. Так возникает вражда конфессий. Уровень Е- и даже Е-сатурнианского поведения не снижается, конечно, от введения еще одного символа. Ослабляются Е-разборки внутри конфессии, но множатся межконфессиональные конфликты. «Мой бог не запрещает убить его врага!» Вера нетерпима к иноверцам. «Враг моего бога — мой враг!» Количество убиенных не сокращается. Наоборот, растет. Ведь при массовых конфликтах используются массовые средства убийства. Все материальные достижения цивилизации — на службе умерщвления.

Антигуманное поведение именем Бога? Казалось бы, абсурдно. Но альтруизм, оказывается, избирателен. Общественный фонд альтруизма только для своих. Для «наших». «Кто не с нами, тот против нас!» А мы соответственно против него.

Это — **воинствующий альтруизм**, как ни парадоксально это словосочетание.

Помните замечательную формулу советских коммунистов о классовом смысле гуманизма? Пролетарский гуманизм («Не убий!», например) — для своих. И неприимная борьба с буржуазией, в том числе с проявлениями неклассового и, следовательно, «слоняно-интеллигентского» общечеловеческого альтруизма.

Не подумайте, что я отклонился от обсуждения противостояния конфессий. Классовое объединение, на мой взгляд, сродни профессиональному. Когда пролетариев всех стран призывают к объединению, то это не экономическая акция, поскольку у пролетариев разных стран задачи этого сорта различны. Что же касается именно коммунизма, то это действительно религия. Коммунистические заповеди мало отличаются от заповедей Моисеевых. Об этом писал, например, лауреат Ленинской премии мира епископ Кентерберийский преподобный Хьюлетт Джонсон в книге «Христианство и коммунизм». И был прав! Вспомните замечательно альтруистичный моральный кодекс строителя коммунизма.

Как выяснилось, однако, эта религия недолговечна⁹. Коммунизм несостоятелен как вера. Пообещав прижизненный рай для «нынешнего поколения советских людей», коммунизм сделал надежду проверяемой в отличие от устойчивых религий, которые сулят рай непроверяемый, посмертный. Материализация рая потребовала материализации бога, т. е. создания Идола¹⁰, того, кто берет на себя ответственность за выполнение обещаний этой религии. Имя этого идола человечество запомнило навсегда. Коммунизм — неизбежно религия с персонифицированным богом. Поэтому как клерикально-политическая система коммунизм принципиально сводится к тоталитаризму. Что это такое, человечество тоже помнит, но я далеко не уверен, что замечательные, абсолютно нереальные на самом деле идеи всеобщего

⁹ Не стану обсуждать безнадежность экономической доктрины коммунизма, которая в идеале устраняет Е-поведение и сохраняет только А-тип его. Мы уже убедились на практике, что этот способ добывать пропитание сообществу неэффективен принципиально. Не следует бороться с Природой, она все равно победит.

¹⁰ «Не сотвори себе кумира...» Этот запрет обеспечивает нетленность Бога и дает ту необходимую неопределенность, которая в Боровском смысле дополнительности обеспечивает достаточную точность вероятностных прогнозов. Но об этом когда-нибудь отдельно, если Бог и социум оставят такую возможность.

альтруизма не овладеют массами вновь в условиях распространяющегося синдрома инстинкта № 5, чтобы стать новой разрушительной материальной силой.

Не сравнить по масштабам межконфессиональную резню Варфоломеевской ночи с трагедией Ольстера и Боснии, с классовой (читай — межконфессиональной) резней буржуев и пролетариев времен гражданской войны в России. Нет, не сравнить масштабы: две сотни еретиков, безжалостно сожженных церковниками Европы за несколько столетий действия инквизиции, и 30-миллионные жертвы 30-летней «зачистки» на «освобожденной» от буржуев территории России или многомиллионные жертвы «культурной революции» в Китае.

Образование массовой агрессивной общности, конечно, не есть только прерогатива религий. Межнациональная неприязнь, пожалуй, не менее устойчива, чем межконфессиональная, а военные конфликты между странами не менее смертоносны, чем межрелигиозные столкновения. Я хочу сказать, что природа этого одна — та, которую мы обсуждали выше. Я думаю, что национальные объединения — это не отголоски веры в давних деревянных или каменных богах разрозненных племен — до укрупнения, глобализации религий. Общность ожидания А-поведения легче достигается при единстве языка, особенностей темперамента, традиций, личного набора культурных ценностей, как бы скуден он ни был. Легче понять друг друга при прочих равных условиях. Наконец, просто привычность облика, похожесть «экстерьера» обеспечивают a priori более высокую вероятность объединения в надежде на А-поведение собеседника¹¹. Все непохожее инстинктивно, и у животных тоже, вызывает, по крайней мере, реакцию осторожности, иногда страха, иногда агрессии. Для инородца более высока вероятность быть отторгнутым или не быть кооптированным в эту общность. И так далее (см. выше) — объединение на этнической идее для того, чтобы создать свой, не религиозный, а национальный фонд А-поведения. В одном случае **мифологизированный символ Бога**, в другом — **фетишизированный символ Нации**. Символы Спасителя индивидуума, надеющегося на общественный инстинкт № 4 внутри сообщества, особенно в условиях сатурнизации окружающей жизни. Символ общего Спасителя столь же силен, как символ общего врага. И обладает столь же грандиозной объединяющей силой. Эти символы дополнительные и уж никак не противоречат друг другу. И какая-то нация — «ube alles», и «Gott mit uns...», и Освенцим. Это была Германия. Может оказаться любая другая страна.

Боясь, что масштабы самоуничтожения будут расти и дальше. Сатурнизация общества будет усиливаться. Человечество как система действует, чтобы выжить, уничтожая себя. Эти действия антигуманны по отношению к каждому индивидууму. **И как бы это ни было чудовищно и страшно, это нужно осознать.**

Повторяю, дело не в возросших технических возможностях уничтожения людей, дело в значительно более глубоком — неизбежном развитии синдрома Сатурна инстинкта № 5. А технические возможности просто соответствуют той потребности, которую она (популяция) ощущает сегодня.

Родословная оптимизма

Если анализ, который мы с вами провели, в какой-то степени верен, то разрушительное действие инстинкта № 5 неустранимо и будет возрастать. Это Природа. Для каждого из нас, воспитанных на основе инстинктов № 2, № 3 и № 4, наблюдать и ощущать на себе сатурнианскую агрессивность окружения — это крушение веры и нередко судьбы. Но, как я старался показать, бороться с Природой — это плевать против ветра, это бороться с ветряными мельницами.

¹¹ Я знаю, как замечательно играют киевское «Динамо» и московский «Спартак». Я видел феноменальный «Милан», блистательную «Барсу», божественный «Аякс». Но с молодых ногтей и до сегодняшней лысины я болезненно болею за свою бездарную, родную команду харьковского «Металлиста». Не так ли возникает то, что сегодня почтительно именуют национальным менталитетом? Но не до шуток! Помните футбольную войну между двумя латиноамериканскими странами в шестидесятых? А войну по футбольным же причинам между двумя африканскими странами, по-моему, в 1994-м? Регулярные войска, армии с пушками и танками, с ранеными и убитыми в праведной войне за поруганную национальную идею. Анекдотично? Страшно! Очень легко возбудить национальный, так же как и религиозный, фанатизм, от футбольных фанов до религиозных или националистических фанатиков не длинная дорога. И двинутся навстречу смертельной схватке два дунсинанских холма... Лично я торжественно обещаю, что никогда не подниму меча (мяча?) ни против болельщиков «Динамо» (Киев), ни против болельщиков «Спартака» (Москва)! Тиффози всех стран, соединяйтесь! Вполне доброкачественная дебютная идея, не правда ли?

Так что же, человечество утонет в собственных экскрементах, устроив перед кончиной роскошные каннибальские пиршества?

Думаю, что этого не случится. Ветряные мельницы бесстрастной Природы вращают жернова своих законов, перемалывая и личные судьбы, и инстинкты популяций. Так же как цивилизация XX века ввела в действие антигуманный инстинкт № 5 как способ адаптации к условиям, созданным самим человечеством, так непременно те же Гегелевы механизмы отрицательной обратной связи системы вскроют, создадут, обнаружат некий незамеченный, непроявлявшийся ранее инстинкт, противоположный инстинкту № 5, действующий теперь уже снова в пользу А-поведения особи и популяции. Не обладая способностями Нострадамуса, я не могу предсказать даты и сроки, когда имеющее место сейчас усиление сатурнианских инстинктов прекратится и маятник снова качнется в А-сторону. Не исключено, что снова сыграет роль какая-то новая религия, объединяющая разные конфессии, как бахаизм, например.

Но при всем моем бездуховном материализме я сохраняю веру. Это вера в Природу и всемогущество отрицательных обратных связей саморегулирующихся систем. (Все-таки это скорее логика, чем вера. Это скорее соображения, чем эмоции.)

Вот то, на чем основан мой уверенный оптимизм в отношении выживания человечества в целом, так же как совершенно определенный пессимизм в отношении возможностей радикально изменить ход и последовательность глобальных процессов какими-то политическими или экономическими, культурными или экологическими мерами. Более того, не исключено, что попытки уж очень большой мощности повлиять на эти процессы приведут, конечно, тоже только на некоторое время, но к результатам, противоположным тем, на которые рассчитывали, предпринимая попытки.

Сегодняшняя Россия. Героическая попытка Горбачева и Гайдара перевести ее с рельсов беспросветной распределительной А-доктрины на путь сбалансированной Е-А-экономики (эгоистический капитализм с альтруистическим лицом). И что же? Всего-то четыре года потребовалось для того, чтобы народ снова призвал к власти коммунистов. Теперь-то, задним числом, все понимают, что нужно было, вероятно, делать что-то побыстрее, земельную реформу, например, что-то очень важное по-медленнее, в частности, компенсируя социальную сферу, тяжелую промышленность — инерционные компоненты системы и т. д. И вот в результате мощного и резкого вмешательства в естественные процессы эволюции социума, его Природа с помощью все той же отрицательной обратной связи потянула систему назад, в исходное (безысходное) состояние. Моя Украина — те же процессы.

Как мы видели, это не только у нас: делали как лучше, а уж что получилось... (Успокаивает ли это?) Всякое реальное регулирование, саморегулирование или под действием внешних стимулов, процесс колебательный. Но в большинстве современных стран с устоявшейся уже капиталистической Е—А-доктриной управляющие усилия невелики, они пропорционально отрабатывают сравнительно малые отклонения системы от оптимума, легонько сглаживая природные процессы. Можно проследить, скажем, усиление Е-тенденций при президентстве Рейгана и, наоборот, увеличение А-фондов при Клинтоне. Наше же регулирование близко к так называемому изодромному типу. Идеальный пример — регулировка сливного бачка, извините. Набрался полный до предела — отключился, нажали рычаг — вся водичка вылилась до предела. Вот так и развивается политическая жизнь в наших странах — от одного предельного состояния к другому, тоже предельному. Предельному потому, что дальше просто некуда. Либо чистое А, либо чистое Е в политике. Состояние же общества характеризуется буквой, постоянно находящейся посередине между А и Е. Счастливая же страна — это страна со смешанной в оптимальной пропорции А—Е-политикой с легкими корректировками в ту и другую сторону.

Может быть, мы тоже научимся? Вот тут лично у меня полный пессимизм. Уж если интеллигенция России, впрочем, так же, как интеллигенция Украины, лучшие умы и альтруистичнейшие гуманисты нации, понимающие реальные цели и реальные опасности, не сумели сплотиться перед лицом реставрации коммунизма, то надежд действительно нет.

Это не А-поведение (атрофирован инстинкт № 4 — забыли о благе народа). Это и не Е-поведение (забыли инстинкт № 1 — инстинкт личного самосохранения). По-моему, это следует квалифицировать уже не в терминах психологии, но в терминах психиатрии. Нет Спасителя в нашем Отечестве!

Все равно мы придем когда-нибудь к социальному миру, преодолев сатурнианство. Природа свое возьмет. Только наш путь к миру будет сопряжен с более тяжелыми потерями. Сохраним же **природный оптимизм** и в очередной раз посрамам Люцифера!

Все-таки она вертится и, даст Бог, будет вертеться.

*Магистрал*¹²

Что же я наговорил, Господи!

Спаситель и Искуситель — создания человеческой Природы, разыгрывающие вечный теннисный матч при ее, Природы, судействе. Вера — только инстинкт. Религии и нации чреватые массовой агрессивностью. А дух впереди паровоза, т. е. психологические движения общества опережают его экономику. Альтруизм, оказывается, может быть кровавым, а эгоизм — созидательным. В человечестве усиливается синдром Сатурна, а боги жаждут крови. И нет другого выхода, кроме как удовлетворить их желания. А коммунизм не годится даже как религия, и, в свою очередь, интеллигенты не способны что-либо ему противопоставить...

Что же я наговорил, Господи!

Верующий может посчитать кощунством мои рассуждения о природе Бога. Искренний коммунист будет оскорблен моим неприятием этого учения. Профессиональный материалист будет раздражен заявлением о первородстве психологии по отношению к экономике. А высоколобый мыслитель, непосредственно общающийся о горными сферами, возмутится моими потугами низвести высоты Духа до проявлений инстинктов. Даже собратьев-интеллигентов и тех лягнул!

Пролетарии всех стран! Интеллигенты всех конфессий! Извините меня. Если что не так. Я совсем не хотел бы разделить судьбу Яна Гуса или Салмана Рушди...

Я не хотел задеть ничьей Веры и ничьих убеждений. Бог каждого действительно пишется с заглавной буквы. Но у каждого свой Бог. Я уважаю честную Веру и искренние убеждения в любом исполнении, если они не содержат агрессивного начала.

Но больше всего я доверяю альтруистичным эгоистам, тем, кто берет из общего котла меньше, чем кладет в него. Это определение джентльмена. По Бернарду Шоу. Так вот, джентльмены, все тезисы и все филиппики, провозглашенные мною выше, не содержали никакой позитивной программы. Но если бы вы позволили мне произнести последние слова перед тем, как вынести свой приговор, то вот они:

Будьте терпимы!

Это единственное, что зависит только от каждого из нас без различия пола, возраста, конфессии, национальности etc. И это единственное, что может ослабить, демпфировать усиливающиеся колебания почвы у нас под ногами.

Я счастливый человек: у меня много друзей едва ли не во всех странах и, уж точно, на всех континентах. С чашкой ли кофе, со стаканом ли водки, в байдарке или после партии в теннис, в интермедиях ли дискуссий по физике или биологии, мы всю нашу — долгую уже — жизнь обсуждаем вопрос о ее смысле. Это и есть главный вопрос для каждого — вопрос о его Боге. И я благодарен богам моих друзей за то, что наши боги сохранили нашу дружбу. Очень многих я должен поблагодарить за обсуждение той модели Бога, которую я решил сейчас обнародовать. Но среди них я обязан выделить два имени — Юрий Степановский и Игорь Папиров. Их оппонентные или пропонентные соображения были особенно стимулирующими. Спасибо за терпимость.



¹² На всякий случай: магистралом называется заключительный пятнадцатый сонет в венке сонетов. Магистрал строится так, что его четырнадцать строк есть первые строки сонетов, составляющих венок.

Хирургия повседневных катастроф

Справа был город, блеклое с золотом немецкое небо, слева — пригород, некое пустошное место, глухая кирпичная стена, увитая плющом. Вечерело. На темном четко возник вертикальный силуэт застройки — крутые черепичные (готические) крыши — между прочим, Гитлер терпеть не мог плоских крыш, он их отменил как противоречащую истинно арийскому вкусу выдумку жидовствующих архитекторов — далеко видна была старинная кирха с зазеленелым медным куполом, пожарная каланча, музейно сохраняемая с прошлого века, летела вверх тонкая бетонная игла телевизионной башни и терялась где-то в облаках. До меня доносились звуки, запахи сытой жизни. Набирал скорость трамвай. Разбежавшись, он тормозил, точно спотыкался, ружейно погромыхивая у остановки, где под легким навесом — алюминий и армированное стекло — дисциплинированно сучали пассажиры. Пронесли машины, за ними — ветры, пахнущие вечерним городом — жареным мясом, бензином, похотью, сосисками, пивом, парикмахерской... Мягко покачиваясь, солидно прокрадывались в уличной толчее в габаритных огнях вечерние автобусы. В той стороне был порт, пролегали шумные торговые улицы с шикарными, насквозь светящимися этажами, где тихо покачивались тесно развешенные пиджаки.

Выходили на работу проститутки — здесь на любой вкус («Все для человека, все во имя человека»). Были среди них тоненькие гимназистки с цветными рюкзаками через плечо, гордые светские львицы с ухоженными борзыми собаками на поводке; откровенные портовые шлюхи в коротеньких юбчонках с ярко намалеванными бесстыжими ртами стояли, вывалив напоказ тугие, жирные ляжки, покачивались на высоких, подламывающихся каблуках. В широком зеркальном окне, круглым коленом вперед, сидела задумчивая гражданка лет двадцати трех в чем-то таком розовом, невесомом, едва ее прикрывающем, читала Спинозу, грустя о несовершенстве мира. За ее спиной простиралась широко расстеленная кровать пружинная, на поролоне. Я еще подумал: на поролоне жарко. Запомнился красиво откинутый угол пододеяльника, на тумбочке — красный огонек ночника. Наши взгляды встретились. Она взглянула на меня и не то чтобы смутилась, но как-то так неуловимо, очень по-бабски беззащитно повела плечом. Нас было двое в чужом городе. Я почувствовал свое одиночество и подумал, что не иначе этот ее жест предусматривается по меню. Я подумал о том, как просто меня купить, то есть обмануть, притом что я сам «обманываться рад». И еще притом, что мне ведь нужна искренность. Я ведь советский. Я не могу так вот за деньги. О чем вы? Все это пронеслось вихрем и как-то устаканилось, тем более что все было без обмана, привычно, в порядке вещей. Матросу нужна плоть — на, бери плоть, штурман хочет Спинозу, бери Спинозу, скиталец морей.

Привычно тусовалась вечерняя толпа — немцы, арабы, индус в фиолетовой чалме с большой сверкающей брошкой на лбу, похожей на мильницу и на елочную игрушку. Он двигался из центра в сторону порта, куда днем и ночью, в любое время суток прибывали суда со всех концов света. Экипажи сходили на берег. Офицеры отдельно, матросы отдельно. Порт довлел над городом. В проемах между домами то и дело возникали тонкие паутинки его такалажа, его белые надстройки, его закопченные трубы с эмблемами мировых судоходных компаний, цветные плоскости его контейнеров на грузовых терминалах — синие, красные, голубые...

А слева, с другой стороны, вдоль глухой кирпичной стены, увитой плющом с такими жесткими, неживыми листьями, точно вырезанными из воцеленной, плотной бумаги, тянулась аккуратная брусчатая дорожка с канавкой для дождевой воды и постриженными кустами жасмина.

Я шел вдоль стены, когда передо мной неожиданно открылся глубокий прямоугольник окна. Я еще удивился толщине стены, заглянул внутрь, увидел немецкого доктора в белом туго накрахмаленном халате, ведущего прием, увидел чистый кафельный пол, чередование желтых и коричневых плиток, письменный стол с очень симпатичными пузырьками, медицинскими баночками, скляночками, коробочками, белый телефон «Панасоник». Доктор двумя пальцами задумчиво почесывал лоб, соображая, как можно помочь скромному господину с тревожно-кислым лицом, который сидел напротив, почтительно тарачился на доктора. Его руки лежали на коленях.

Еще в кабинете была сестра, эдакая немецкая сестричка, вся такая чистенькая стервочка, новенькая, в халатике с модными перламутровыми пуговками, сидела за низким стеклянном столиком, на котором лежали какие-то инструменты, и по первому зову готова была сорваться с места, лететь, куда ей будет велено, жертвовать собой, отсасывать через трубочку дифтеритные пленки, заражаться трупным ядом, но не срывалась, не летела — ничего, ибо этого и не требовалось. Все было бескрыло, но капитально, мне это понравилось. Мне доктор Дымов как пример для подражания — «Оська Дымов, Оська Дымов, что ты наделал! Ай-ай, Боже мой!» — уже давно наскучил, а нигилист Базаров, неостроумно шутивший насчет роскошного тела, которому самое подходящее место в анатомическом театре, вызывал стойкую антипатию с восьмого класса. В общем, как говорит моя дочь, «классики подточили наше здорovie».

Немецкий доктор вел обычный прием. Под высоким сводчатым потолком горел матовый белый плафон, свет его успокаивал нервную систему. Мне пальцы доктора запомнились, его руки, и то, как он не спеша поднялся из своего очень современного полужесткого крутящегося кресла на рессорах. Он встал, расправил плечи, и вдруг я со всей очевидностью понял, что мне на роду было написано быть доктором. У меня все задатки для этого. Я не брезглив, сострадателен, люблю детей — от них так вкусно пахнет! — меня не раздражают старики, я им сочувствую. Я должен был идти в доктора, честное слово! Просто в какой-то момент замкнуло не тот контур, моя жизнь в силу случайных обстоятельств — тем более от меня ничего не зависело, теперь я это понимаю — покатила не по той колее, а там все пошло наперекосяк. На самом деле я должен был стоять в операционной, делать сложные операции, материть своих сестер, не совсем ласково называть их мырами, кидать на пол неправильно поданные инструменты — ну что тут поделаешь, натура у меня такая, великий хирург, золотые руки, — а потом сидеть у себя в кабинете в полном одиночестве, вспоминать, все ли я правильно сделал, думать о вечности, о цене жизни, о роли случайности.

«Желание Ваше быть писателем очень дурно, — писал Лев Николаевич Толстой в город Вильно мальчику Сереже Ермолинскому, будущему писателю и главному редактору, который отправил ему в Ясную Поляну свои сочинения, — желать быть писателем значит желать славы людской. Это дурное чувство тщеславия». Все так. Дурное чувство. Но человек должен реализоваться, и не принимаем ли мы за тщеславие естественное и даже необходимое желание быть самим собой? Тщеславие доктора оно с каким знаком? С плюсом, с минусом? Ведь речь идет не о листе чистой бумаги. Там ты написал, не написал — твое дело, хотя есть и другое мнение: если бы Ньютон не сформулировал трех своих законов классической механики, это бы за него сделал кто-то другой, Гюйгенс, допустим, а если бы Лев Николаевич не написал «Войны и мира», то этого за него не написал бы никто! — но если ты доктор, надо сделать то, что ты умеешь (должен уметь), а потом пройти, как на казнь, мимо родных, скорбно сидящих в коридоре, выдержать их растерянные взгляды, и, если ты что-то сделал не так, где-то там напортачил, где гарантия, что однажды бессонной ночью в старости, или я не знаю когда, подводят последние итоги, не возникнут перед тобой лица этих обманутых людей, смотревших на тебя как на Господа Бога. Веривших в тебя.

Я наблюдал за немецким доктором, и, куда бы в какие сферы завели меня мои фантазии, не известно, если б не всплыл передо мной, как из небытия, давнишний сюжет, эдакий сюжетец, когда-то занимавший меня.

Город Гусь-Хрустальный, грузовая станция второго класса, одноэтажное общепанное здание вокзала. Справа зал ожидания, где стоят деревянные скамейки, которые называются диванами, а слева билетные кассы. На моей памяти они были постоянно закрыты, билеты на все направления продавались в окошечке у выхода на перрон, где за щербатой фанеркой с неровным вырезом, как очко в станционном туалете, сидела надменная кассирша по прозвищу Королева. Если ей пассажир не нравился, она ему не продавала билета, а если нравился — продавала. Иногда возникали шумные выяснения: «А ему почему?» — «Бронь! — огрызалась она. — Бронь, хер собачий!»

Дежурный в черной форменной фуражке с еловым зеленым кантом скучает на лавочке. Солнце падает в леса. Рядом, на заплыванном перроне, на узлах расположилось семейство местного доктора, все вместе, тесно, ветер гонит по привокзальной площади скомканные бумажки, окурки, пахнет жареными пирожками, креозотом, которым пропитывают шпалы, сам доктор в шляпе по поводу отъезда (не каждый день уезжаешь), мадам докторша, необхватная тетенька с низко расположенным центром тяжести, в новом сатиновом платье, двое детишек, тоже принаряженных по случаю. Ждут поезда на Туму, которую в Гусе величают поросычей столицей. Тума со времен Ивана третьего (шутка) славится своими поросятами. Кто чем. Гусь — хрусталем, Тума — поросятами. «Климат у них такой, что ли?» — вслух размышляет дежурный.

В Гусе доктора два года муржили с квартирой. Он шастал по частному сектору, хозяева рвали с него будь здоров, никакого просвета не предвиделось, а там обещают жилплощадь сразу по приезду. Доктор подумал, подумал, без сожаления взял расчет, со всеми поругался. Никто его не провожает. Продам огород, десять соток у него было, хорошая земля, картошки хватало на всю зиму плюс своя свекла — «санитар желудка», — грунтовые огурчики, пупырчатые бывали, душистые, с болгарскими не сравнить, кабачки, лук, все это надо учитывать: на две докторские ставки не проживешь. Разве это деньги? Смешно сказать... Последний год держали кабанчика. «Хозяйство», — со вздохом произносит дежурный, поглядывая на жену доктора с лукавым вождением, словно прикидывает, с какой стороны к ней подступиться и на сколько она потянет, на центнер или сразу на полтора.

К слову, жена доктора тоже медицинский работник, она фельдшер. Два медработника в одной семье! «Разве это государственный подход — отпускать нужных специалистов на все четыре стороны? — с тяжелой усмешкой явно риторически спрашивает доктор, чтобы самому себе ответить: — Карусель, енашь...»

Между тем поезда нет как нет. Жена дремлет, тяжелые бусы поднимаются и опускаются у нее на груди. Младшая дочка прыгает по шпалам. «Ты посикай, посикай», — ласково говорит доктор, всматриваясь в пыльную даль, откуда из-за кирпичных привокзальных построек вот-вот должен появиться поезд. У доктора темное, обветренное лицо сельского механизатора и руки, привыкшие к тяжелой работе на земле.

Как-то не по себе мне становится от этих беглых воспоминаний, я начинаю выяснять, почему продолжительность жизни у нас как в Индии и как в Египте. Чудес не бывает. Этот немецкий доктор, который возник передо мной во всем своем повседневном великолепии, не копает картошку, нет у него, у бедолаги, своего огорода на десяти сотках и грунтовых огурцов. Он не думает о том, что осенью надо закинуть на свой участок «мерседес» навоза, а весной посадить смородину. Негогда ему. Он занят своим докторским делом, читает медицинские журналы, ездит по симпозиумам за границу, вечерами беседует с коллегами, такими же рассудительными докторами. У них там своя компания. Так стоит ли удивляться, что, по данным Госкомстата, продолжительность жизни русского мужика упала до 59 лет? Я читал, что в 1993 году в стране умерло на 360 тысяч человек больше, чем в 1992-м. Эта разница превышает число боевых потерь США во второй мировой войне! По мнению экономиста Юдит Шапиро (Школа математических наук при Лондонском университете) «в истории человечества трудно найти прецедент столь резкого падения продолжительности жизни, не связанного с войнами или массовым голодом». За что боролись, на то напоролись. Вот такие дела притом, что я не мог быть доктором. Кто шел в медицинский в мое время?

Шли по семейной линии, как папа, как мама. Шли отчаянные оптимисты, верившие, что скоро все изменится к лучшему и следующая пятилетка будет объявлена пятилеткой здоровья. Они здорово ошибались. Шли чокнутые — в любом деле есть такие, кому не нужны ни слава, ни деньги, что вслух не декларируется, а хранится в себе, — шли ребята, кто не мог пройти в другой вуз по анкетным данным, в МГИМО, например, на факультет журналистики, тогда очень модный, в высшие военные училища, в академии. Интеллектуальная элита рвалась в Физтех, уже овеянный легендами, в МИФИ, в Энергетический, в Бауманский с его мрачными секретными факультетами, где стипендия первокурсника равнялась зарплате взрослому практикующему врачу. Так или иначе молодому, энергичному человеку на каждом шагу держава давала понять, что медицина не та сфера, не ядерная физика, не спектральный анализ, надо будет — займемся вплотную, а пока пусть будет так, как есть. Правда, в медицинском учились красивые девушки, но из-за этого калечить жизнь не имело смысла.

В моем строительном институте стипендии мне не платили: я был из обеспеченной семьи, а тогда шла очередная кампания по упорядочению финансовых трат. Моя стипендия должна была как-то помочь государству свести концы с концами. Я это понимал, а чтоб всецело не зависеть от родителей, в поисках побочных заработ-

ков начал писать на эстраду для Николая Павловича Смирнова-Сокольского, господина в высшей степени амбициозного, много про себя понимающего, знаменитого собирателя уникальных книг. У него был не очень хороший вкус, он боялся, что об этом кто-нибудь догадается, надувался, важничал, говорил: «Мда...» Или так же бархатно: «Пожалуй...» Парикмахер Центрального дома литераторов Моисей Маргулис, писавший книгу «50 лет работы над головой писателя», хвастался: «Я стриг Льва Толстого.— И добавлял: — В гробу». Когда Николай Павлович наконец приняли в Союз писателей, Моргулис изрек: «Обмелел Каспий!» Но при всем притом Николай Павлович был творческим человеком.

Он выходил на сцену в темном балахонистом пиджаке с белым козымапрутковским шелковым бантом, подводил итоги: «Вот уже тридцать пять лет я выступаю здесь перед вами... За это время рядовые стали генералами, студенты — профессорами, рабочие — инженерами, пионеры — комсомольцами, комсомольцы — членами партии...— Здесь он сбивал ритм, чтоб дотянуть совершенно убойную по тем временам репризу: — ...а некоторые из партийцев — снова беспартийными». Это был тонкий (за тоныше можно было крепко поплатиться) намек на только что разоблаченную антипартийную группу Молотова — Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова. Так работала думающая эстрада. Утром в газете, вечером в куплете! Зал оживлялся, зритель понимал: правильно! никакие они не партийцы! жулики они все! Ленина на них нет и Дзержинского. Зритель начинал наглеть и награждал Николая Павловича бурными продолжительными аплодисментами за смелость. Мне всегда было непонятно, с какой стати он выдавал это все от себя экспромтом. Вышел, сказал. Вот такой юмор. Работать с ним было трудно. Мне больше нравилось писать для моих друзей Лившица и Левенбука, только что закончивших 1-й Московский орден Ленина медицинский институт и шагнувших на профессиональную эстраду со своей блистательно-остроумной «Мухой-Цокотухой». У них здорово получалось!

Николай Павлович ревновал меня к моим друзьям. У него была собака, кажется, такса, ее звали Бертой. «Берточка, голубушка,— говорил он барственно-роко-чущим, ленивым баритоном,— скажи-ка молодому человеку: рази я антисемит? Так ить нет. А то, что делают твои врачи, может любой еврей, но стесняется...» При этом он кланялся почтенной публике, то что называется у цирковых, делал ей комплимент для своих лет весьма ловко.

Саша Лившиц пришел из институтской самодеятельности. Это был обстоятельный, уже лысеющий терапевт, сам строивший свою судьбу. Ему на роду было написано быть банкиром, коммерсантом, но тех и других у нас давно отменили, а служить участковым врачом он почему-то не хотел. Он наперед знал, как и что сложится у него в жизни. Он должен был жениться на сироте. И женился: он не хотел делить жену с тещей. Он знал, что у него родится девочка. И у него родилась девочка. Он называл ее Самопиской. Они жили на даче по Казанской железной дороге в благодатных местах за Малаховкой. Клубника, красная смородина вдоль забора, жена стирает в тазу пеленки... Еще был брат, который мне очень нравился, тихий такой, застенчивый, он собирал матрешек. Они должны были подорожать, потому что ручная работа.

Я слегка простудился, и Саша решил меня послушать.

— У тебя в детстве был порок сердца? — спросил он, освобождая одно ухо.

— Нет,— сказал я.

Тогда он призвал жену, молодого специалиста из районной поликлиники. Сирота вытерла мокрые руки, послушала меня и сказала, что никакого порока не было. Чтоб сделать ей приятное, я сказал, что мне тоже надо было идти в доктора.

— Ну и правильно, что не пошел! — отрезала она.— Всю жизнь был бы нищим.

Алик Левенбук наверняка мог бы стать хорошим врачом, но он был ушибленный театром. Он поступал в ГИТИС, прошел два тура, его срезали на третьем. За фамилию, надо понимать. Один там в президиуме сказал с гнусной усмешечкой,— я это отлично представляю,— эдакий гнида и бездарь: «В русский театр вас не возьмут. Из афиши будете выпадать». Наверное, это обидно. Ну да ладно, Алик поступил в медицинский. У него старшая сестра к тому времени была уже довольно известным патологоанатомом, она ему, желторотому, как могла, и разъяснила, что медицина не хуже театра. Тоже интересное дело. Даже больше того, если серьезно. И он шагнул в Первый медицинский на Пироговку — была не была. А сестра чуть позже уехала в Америку, и там, насколько я знаю, совсем не бедствует, так что все как-то обошлось.

Алик окончил институт с отличием, он был вьедливым парнем, он получил красный диплом, потому что любое дело привык делать капитально, но врачом работать не стал, и правильно, раз душа не лежит. Я его понимал. Я тоже не стал инженером, отработав пять лет после своего института.

Алик мечтал быть режиссером, ставить Шекспира, читать по радио рассказы Нагибина, стихи Евтушенко; нам этот феномен павлиньего славолюбия — на каждой свадьбе женихом, на каждых похоронах покойником — тогда еще был совершенно не понятен; Евгений Александрович покорял нас отчаянной смелостью, хотя, по сути, это была все та же **думающая эстрада**, критикующая **некоторых партийцев**. Правда, тут все было много талантливей, чем у Николая Павловича.

Мы восхищались северными рассказами Юрия Казакова, он укачивал нас своей прозой, мы восхищались его описаниями облаков, рыб, запотелых ночных фонарей, а еще — запахов ржаного хлеба, осенних пожухлых листьев, схваченных первым морозом, это ж с ума можно было сойти от счастья!

Казаков жил где-то на Арбате. Я достал его телефон. Трубку иногда поднимала какая-то женщина и говорила ровным, усталым голосом:

— Юрия Павловича в Москве нет.

— А когда он будет?

— Кто ж это знает...

Мы собирались у Алика на Чистых прудах в Телеграфном переулке. В то лето у него болел папа и был очень плох. Он выработал свой ресурс, сколько там ему полагалось от природы, но до последнего ни о чем не догадывался, рвался из больницы домой. Телевизор ему надо было чинить, срочно вешать какую-то полку на кухне. В одной палате с ним лежали тяжелые больные, про одного из которых папа сообщил, глядя в сторону, чтоб, не дай Бог, никто не услышал, тихо и вкрадчиво: «Не жалец...», будто ему самому не грозило стать следующим в этом печальном списке. Будто у него в Зазеркалье была неколебимая договоренность с начальством о жизни вечной. Пока не надоест. Пока сам не выдернешь шнур. Алика эта уверенность потрясла. Нет, он не хотел быть врачом. Просто так получилось в силу каких-то обстоятельств. Знания умножают скорбь, лучше ничего не знать, жить себе тихо, смиренно, верить в чудеса и свое бессмертие.

Мы говорили о Бунине, о его «Скарабеех», о том, как он стоял во дворе Каирского музея — так нам все это рисовалось, — а в телеге (в арбе?) мимо него везли мумию еще одного царственного покойника, сердце которого тоже до последнего цепко верило в свое бессмертие. Жара, скрипят колеса, пахнет горячей пылью, в звенящей тишине разливается полуденный зной... Не оттуда ли — «Легкой жизни я просил у Бога, надо б легкой смерти попросить»? По молодости всей глубины и ужаса этой отчаянной просьбы мы еще не можем понять, для нас все впереди, очень и очень нескоро — верно ведь? — и на наших юных лицах приличествующее моменту выражение сострадания к чужой боли, которую на самом деле мы не чувствуем. Нас все это никак не касается. Нас это не колышет.

Теперь все это смешалось у меня — мои друзья, музыка моей молодости, Телеграфный переулок, песенная какофония тех дней, Эдди Рознер и Ниночка Дорда с ее «На луну па-пумба-пумба, на луну па-пумба-пумба, первым рейсом непременно полечу...». Она опускала руки на колени, это было очаровательно, шутили: «Так певица Нина Дорда обольстила Генри Форда». Он как раз в то лето приезжал в Москву, на ВДНХ сел в новый правительственный «ЗиМ», его спросили: «Как вы себя чувствуете?», он сказал: «На двадцать лет моложе!» Помню Смирнова-Сокольского с белым шелковым бантом, парикмахера Моргулиса, стихи Бунина, думаю о том, что Чехов был доктором, Вересаев, Булгаков Михаил Афанасьевич...

Я гляжу в окно, где немецкий доктор неторопливо, обстоятельно ведет прием, вот он поднимается из своего делового, подрессоренного кресла, вынимает из нагрудного кармана обалденный черный с никелем стетоскоп, постукивает мембранной по распахнутой ладони, точно настраивает некий музыкальный инструмент. Сестра помогает больному снять пиджак. Дядечка похож на борова. Сердце у него небось! Пусть похудеет сначала. Она, приподнявшись на цыпочках, развязывает ему галстук. Я чувствую на горле нежное прикосновение ее душистых пальцев, мне жалко себя, своей неприкаянной, заброшенной жизни. Доктор кивает, подходит к больному вплотную, обследывает его, тыкает пальцами, заглядывает в глаза, потом мотает головой, то хмурясь, то светлея лицом, затем укладывает мужика на кушетку и мнет ему брюхо, слегка поросшее рыжей щетиной. Сестра стоит рядом, ждет. При этом из коридора никто не заглядывает, не стучит, не торопит, а на окно опускается оранжевая занавеска, и все для меня гаснет. Спектакль кончился, я его не досмотрел, но отошел с уверенностью, что этот доктор не сменил бы профессию, чтоб отчебучивать «Цокотуху». Разве что на досуге, на каком-нибудь там пикнике на природе, чтоб повеселить друзей. Вы о чем? На доктора очень долго учатся, доктору много платят, престижность его профессии много выше, чем у эстрадного актера. Что-то у нас не так, мы не ценим квалификацию и не думаем о своем здоровье, жизнь такая, а потому число смертей в России увеличивается по своим категориям.

Я тут обложился специальной литературой и вычитал, что широкое распространение получили инфекционные болезни, в первом квартале прошлого года зарегистрировано 6036 случаев дифтерии. Много это или мало, не знаю, вообще с некоторых пор цифрам не верю, я их не ощущаю, когда счет идет на тысячи, но признаю, что мое поколение, выросшее в послевоенные годы, чувствует себя слишком старым, чтоб приспособиться к жизни в новой России, и слишком молодым, чтоб уйти в тираж. Я читаю отчет гарвардского демографа Эберстада, где он предупреждает, что самой быстро растущей причиной смерти остаются в России сердечно-сосудистые заболевания: слишком много стрессов, у нас много пьют, много курят, алкоголь низкого качества, табак еще хуже, у нас потребляют пищу, богатую жирами, и не занимаются спортом. Людей пугают стрельба на улицах, катастрофы на транспорте, войны в Чечне и в Таджикистане, в общем, живем мы в беспокойной обстановке, а тут еще оказывается, что нашему врачу гораздо проще зафиксировать инфаркт в качестве причины смерти (ИБС — и весь разговор), чем писать объяснения, как оно было, почему, отчего, какие меры были приняты. (Это еще раз от отчетности и вере в цифирь.)

Вот-вот ожидается дальнейшее ухудшение ситуации со злокачественными новообразованиями, которые могут быть вызваны воздействием токсических отходов бесконтрольного производства в стране, где все продается, где взятки на всех уровнях — норма жизни. Давай-те уж в лицо правде глядеть. Говорят, нет денег, где взять, стариков много, дети хилые. Нет денег на всех. А почему нет в богатейшей стране? Не потому ли, что у нас не знают, что сколько стоит и прежде всего — сколько стоит сама человеческая жизнь. Сколько, если врачу традиционно платят копейки. О чем вы, господа...

В любой цивилизованной стране проблемы здоровья интересуют всех. Есть медицинское лобби в парламенте, есть телевизионные златоусты и целые программы, занятые популяризацией медицинских знаний, есть медицинская общественность, повседневно обсуждающая состояние медицинских дел и в какой клинике лучше лечиться.

А у нас? У нас, если даже с завтрашнего дня показатель смертности по щучьему велению вдруг начнет снижаться, приближаясь нет, не к Западной Европе, пока к новым индустриальным «тиграм» Востока: Южной Корее, Гонконгу, Сингапuru... — потребуется четверть века (25 лет!), чтоб достичь тамошней продолжительности жизни. Значит, опять стоит задача догнать и перегнать. Опять ДИП! Причем без особо радужных перспектив, ведь они на месте стоять не будут, вчерашние рикши и кули на своих азиатских задворках.

Сергей Петрович Боткин стал знаменитым доктором, когда поставил клинический диагноз редко встречаемой и чрезвычайно трудной для определения болезни — закупорки воротной вены, блистательно оправдавшейся вскрытием умершего больного. Его друг доктор Николай Андреевич Белоголовый, лечивший Тургенева и Некрасова, вспоминал, что после этого «прилив пациентов к нему на дом стал до того расти, что в том же 1863 году в его небольшой гостиной набивалось до 50 человек и он, употребляя на прием около 4 часов, вскоре был не в состоянии осмотреть всех, чаявших его совета».

Случалось, что в дни приемов — а они у него были пять раз в неделю — он едва мог протиснуться через густую толпу, наполнявшую парадную лестницу, которая вела на третий этаж к дверям его квартиры у Пяти Углов. Наскоро пообедав и выкурив сигару, Боткин тотчас же начинал прием и не кончал его ранее одиннадцати, но все равно принять всех не успевал. Помимо этого, почти каждый день было у него пять-шесть городских визитов, среди которых встречались **даровые**, то есть безгонорарные — ну, не было у людей денег, а верили только Боткину, просили в долг или уж я не знаю как там, Белоголовый не уточняет, только пишет, что Боткин работал за деньги, потому что деньги ему были необходимы «для поддержания и воспитания многочисленной семьи». Умер же он, не скопив значительного состояния, а ведь мог «при своем колоссальном труде и огромной практической деятельности». Сергей Петрович оставил жене и дочерям состояние, едва обеспечивающее скромное их существование, сокрушенно вспоминал его друг.

Теперь о гонорарах. Почему жестянщику в автосервисе надо платить; вынь и положь, иначе не поедешь? Почему сантехник как должное требует за свой труд **троячок**, плотник заранее договаривается о цене, шахтер голодает в забое, на своем рабочем месте, так он протестует, а врачу платить не надо? Он не забастует и голодовку не объявит. Да и кто это будет делать, то есть платить, само государство или сам пациент из рук в руки, хотя, конечно, это дело эстетики, главное — сколько платить и что взять за масштаб. Бутылку? Две... Канистру бензина? Кило колбасы?

Бесплатной медицины не бывает и не было никогда. Весь вопрос — за чей счет она вроде бы бесплатная и с кого сколько брали. Ведь были нищие районные боль-

ницы с прогнившими полами и было 4-е Главное управление, а вместе с ним целая система привилегий не для всех, а для тех только, кто заслужил, притом, что список заслуживших в лифте не вывешивали, и непонятно: как же так, почему величайшее завоевание революции не делили на всех поровну?

В те далекие времена, когда каждый сам платил за свое здоровье, среди врачей были богатые люди, а были и не очень — вроде Боткина. Не все выбивались в домовладельцы, пайщики железнодорожных компаний, не все, обсыпаясь голубым пеплом, курили в ординаторской душистые манильские сигары, не все были генералами в шинелях на красной подкладке, как Бехтерев или Павлов, не каждого приглашали в лейб-медики высочайшего двора, что надо было рассматривать как большое доверие, точно в Кремлевку на Мичуринском, пожалуй, даже большее, хотя, кажется, куда уж там! Платили как министру плюс квартирные, казенный выезд, дрова в натуре, генеральское звание и выслуга.

Не всех любило московское именитое купечество, как Захарьина или даже Остроухова, о гонорарах которого ходили легенды. Или вот Пирогову за консультацию великий князь Михаил Палыч, шеф российской артиллерии, родной брат государя, доставал из лопатника две тысячи рублёв. По тому-то курсу! Кажется, мог бы на халяву: великий князь, — ан нет... Доставал из кармана, отсчитывал твердыми пальцами. Сделайте милость. А я представить не могу нашего министра какого-нибудь, любого на выбор, или даже депутата Думы, слугу народа, плоть от плоти, который сам, пусть фигурально, но из своего кармана платит за себя. Да и как можно представить такое в стране, где не ценят квалификации, где любой начальник выше любого самого высокого просто специалиста, где, нещадно эксплуатируя мастера, оскорбляют его этой нещадностью и подстрекают лодыря и неумёху, которым платят ничуть не меньше, впредь так же вот бить баклуши. О чем я...

Не все русские врачи были богаты, но все были профессионалами. Их здорово учили. Само звание предполагало высокий уровень. К слову, русский диплом принимался во всех странах, не то что ныне. И были свой круг, свой мир, своя незыблемая этика. «Какой такой дурак прописал вам это лекарство?» — спросить у больного русский врач не мог. Это из лексикона советского полуграмотного хама в белом халате.

Мне рассказывали про одного московского хирурга-проктолога, ученика знаменитого профессора Рыжих, который подался в Америку, потому что верил в свою квалификацию, но подтвердить докторский диплом не сумел. Его подвергли экзамену, он его не сдал и устроился в госпиталь на должность хирургической сестры. И вот он трудится, получает приличную зарплату, но врачи его в свою компанию не принимают, там у них демократия, но существуют свои правила, и он страшно мучается. Все-таки специалист. И вот приходит его час. Во время сложной операции американский хирург зашился, чего-то там у него не получилось, паника началась. Наш товарищ взял все на себя, растолкал всех и показал класс. Американские хирурги оценили его работу, собрались все вместе и написали куда следует, что надо выдать доктору из России американский диплом, потому что достоин при такой квалификации.

Все прекрасно. А далее происходит случай, на который у нас и внимания бы не обратили. Осматривая больного, он спросил:

— Кто вам операцию делал?

— Доктор Смит.

— Никакой он не доктор, он коновал, ваш Смит! — в сердцах роняет наш бывший соотечественник, а дальше все происходит как по нотам. Американец подает в суд на доктора Смита, поскольку тот раскурочил ему задницу, экспертиза признает, что да, операция была неудачная, Смит платит неустойку в размере нескольких миллионов — американцы свое здоровье ценят, — а представителю московской проктологической школы приходится распрощаться с медицинской карьерой — притом, что так удачно все началось, он нарушил незыблемые законы корпоративной этики.

— Вся трагедия начинается с того, что наш больной бесправен, — говорит мне профессор Мусалатов, заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии, а теперь — хирургии катастроф. Сама жизнь внесла такую поправку. — Он уже пришел к нам надломленный. Он пришел просить, врач нисходит к нему, ничего не объясняет. «А что, мне будет лучше?» — он спрашивает. «Хуже не будет», — ему отвечают. А ведь больной до принятия решения должен знать, что у него за заболевание, как его будут лечить, почему предложен именно этот метод. Он ведь свою судьбу вручает. Как же так?.. Мой забывенный учитель, дай Бог ему здоровья, Георгий Степанович всегда именно так и говорил: «Хуже не будет», и меня, мальчишку, всего, бывало, передергивало. Это не к тому, что вот какой я умный был, время менялось, что-то как-то уже не соответствовало. У каждого времени

свой подход и свои решения задачи. А то ведь больной говорит: «Мне что в больницу, что в тюрьму». Реплика из жизни. Предлагаю задуматься.

«Что в больницу, что в тюрьму» — я этого не слышал. Я знаю другую историю. Одна дама из научных кругов поехала в Санкт-Петербург к институтской своей подруге, написала письмо: может, уже не встретимся, Клава, хочу приехать. И приехала. Они побродили по дорожкам своей юности, заплакали, что жизнь так быстро прошла, съездили в Царское Село, в Гатчину, где она «топтала торцы площадей ослепительной ножкой своей», а в воскресенье петербургская подруга увезла московскую на свой огородный участок, где та переделалась, вскапывала грядки, носила воду. Они ходили в лес, собирали грибы, потом их жарили. Вечером нашей москвичке стало плохо, ее повезли в Питер и сдали в первую попавшуюся больницу.

Утром дежурный врач, молодой такой человек с пальцами, испачканными чернилами, подошел к ней, взглянул в ее серое лицо, в один промельк вместил ее сбившиеся седые кудельки, стоптанные кеды, грязные ногти на руках, спросил (это врач!):

— Ну что, просралась, матушка?

Та униженно закивала, сразу став дура душой.

— Все сделала, что вы сказали.

— Ты сама-то откуда?

— Из Москвы. У подруги вчера на даче...

— Обожралась. — Это шутка. Ладно. — Сама-то кем работаешь?

— Членом-корреспондентом Российской Академии наук...

Я не о том, что куртуазная дама попала в такой переплет, на койку в палату, где лежали еще пятеро старушек. Все хорошо кончилось. Я о том, что отношения доктора с больным должны все-таки строиться иначе, чем между продавцом и покупателем или там между водителем и сотрудником ГАИ, когда он величественно подходит к тебе с жезлом, свободно висящим на его запястье, а ты, сжавшись в комок, гадаешь, в какой форме тебе будет продемонстрировано, что ты говно. Прежние российские доктора жили в иной исторической обстановке. А потом тот петербургский ординатор полагал, что имеет дело с уборщицей. Ну, что с него требовать!

— Это наша боль, — кивает Мусалатов.

А когда я вспоминаю немецкого доктора в чистом окне, увитом плющом — сдался мне этот немец! — вспоминает, как сержантом служил в Германии, в Потсдаме, после медицинского техникума, как с ребятами играл в волейбол, как работал в операционной, и посылает меня к профессору Силину, у которого интересные мысли как раз на эту тему.

— Леонил Леонидович у нас златоуст. Вы с ним поговорите.

И я еду в 67-ую городскую больницу, это рядом с кинотеатром «Патриот». Серый весенний день. В травматологии на четвертом этаже идет ремонт. Все заляпано краской — полы, стены, окна. Стучат молотки. Рядом с кабинетом Силина в коридоре идут занятия по хирургии катастроф, студентки в мятых халатах сидят на ногу с раскрытыми тетрадками на коленях. Им читают об организации медицинского обеспечения во время Великой Отечественной войны. Надсадно гудит сварочный трансформатор, варят трубы отопления.

Профессор Силин, плотный человек с короткой, шишковатой трубкой, которая, по-моему, очень ему к лицу, сидит в кабинете, где, опять же из-за ремонта, пыль на подоконниках, пыль на столах, кругом полный беспорядок.

— Делать великую медицину в ничтожном, деградирующем обществе нельзя! — режет Силин, посасывая трубку. — Я знал одного прибалта уже давно, он работал на обувной фабрике. Я его спросил: почему вы не делаете хороших ботинок? Он сказал: мы можем, но нельзя. Нельзя, чтобы человек в хороших ботинках шел по плохому асфальту и садился в плохой автомобиль. Невозможно. Все завязано.

Это я его спровоцировал рассказом о немецком докторе. Я ему сказал, что возрождение России начнется с медицины. Я так считаю, и вот почему. В России не сложилось гражданского общества, может быть, именно в этом и надо искать первопричину многих бед. В России всегда презирали богатство, искренне или делали вид, это можно поспорить, но презирали. От трудов праведных не построишь палат каменных. Или даже нет, не презирали, а относились с недоверием к тому, кто разбогател. Накопление первоначального капитала никак не могло быть занятием честным. Гражданское же общество — это общество собственников, построивших материальное благополучие на своей квалификации. Оно поздно начало складываться, это общество, из докторов, инженеров-путейцев, строителей мостов и тоннелей, правоведов — «И правовед опять садится в сани, широко жестом запахнув шинель», — это оттуда, из тех безвозвратно канувших метельных лет. В то общество высоких профессионалов доктора входили, прежде всего занимая первое место в силу массовости профессии и еще того бесспорного факта, что хорошим доктором

может стать только глубоко интеллигентный человек. Доктора были тем локомотивом, который вытягивал уровень общества, не просто культурный, хотя, конечно, в первую очередь именно культурный. Они меценатствовали художникам, определяли направление литературных журналов, тираж газет, обеспечивали театральный успех общедоступного Художественного театра... В это сообщество тогдашних **новых русских** нельзя было попасть ни по благу, ни по наследству, только своим трудом, способностями своими, целеустремленностью, и иногда мне кажется, что возрождение России как великой интеллектуальной силы должно начаться с врачей. А тут еще замкнулся я на немецком докторе...

— Вы говорите, что вам его окно врезалось в память, этот доктор в своем, немецком окне. Наш доктор тоже будет вписываться, но в свое окошко, вот оно: фрамуга веревкой подвязана, иначе рухнет, ни один шпингалет не действует, гвозди торчат. С медицины ничего не начнется. Медицина всегда вторична.

— А первично что?

— Уровень развития общества. Уровень! Вот у нас сейчас лежат старушки, которым мы можем помочь. Для этого им нужно поставить протез, искусственный сустав. Раньше мы эти протезы получали, они стоили девяносто рублей, теперь один протез — сто пятьдесят тысяч. Раньше мы закупали протезы, а сегодня каждая старушка должна сама купить себе протез, купить кровь и все остальное, и тогда мы будем ее оперировать. Это что, гуманно? Это гадко! Я был в Германии, где операция эндопротезирования стоит неизмеримых денег в сравнении с нашими. Тридцать пять тысяч марок только за саму операцию. И там на эту операцию ложились бедные люди. Бедные, я вам говорю! За это у них платит государство. Страховая медицина. Возрождение не начнется с медицины, так же как оно не начнется с искусства. Всюду катастрофы, нет лекарств, люди приходят в больницу со своей простыней. Но самое страшное — это то, что мы теряем кадры. У меня был ученик, очень талантливый мальчик, это, несомненно, должна была быть будущая звезда. Теперь работает в страховой компании. Все связано. И когда говорят, дедовщина в армии, она не в армии, она в обществе, надо шире глядеть. Когда говорят, что красота спасет мир — это наивно. Это благое пожелание, не больше того. Чувство юмора — это скорей спасет, хотя тоже не панацея, но временами не дает погибнуть.

Мы спускаемся в приемное отделение. Накануне было — две массовые автотрагедии, падение с этажа (двое), огнестрельное ранение черепа... За сутки прошло пятьдесят пострадавших.

В коридоре на носилках лежит окровавленный мужчина с закрытыми глазами. Его привез на своей машине сосед. Стоит рядом, рассказывает тихим голосом:

— У метро «Текстильщики» его... Часов в десять вечера. Сняли крестик серебряный, часы, деньги... Ногами били без разбора. Беспощадный народ. Все-таки взрослый человек. Мальчишки. Он им выговаривать начал.

Студентки стоят в сторонке, жмутся к стене. На лицах испуг.

— Сотрясение мозга. А может, и похлеще что, — говорит дежурный врач.

Там же, в коридоре, куда почти не проникает дневной свет, или на улице так пасмурно, не могу понять, качается женщина с синим заплывшим лицом. Вместо глаз две прорези.

— Крысина, — говорит ей сестра, — стойте спокойно. Я вас сейчас перевяжу, Крысина.

— Ей бы сейчас пива стакан, — говорит нейрохирург Александр Владимирович Алешин. — Это ее дружок так отделал. Бутылкой бил по голове. Она вагоны дальнего следования убирает на Казанском вокзале. Сидели с одним бомжем, выпивали в пустом купе.

— А за что бил?

— Спросите чего-нибудь полегче. За что? За то, что жизнь не сложилась, за то, что денег на водку не хватает, я знаю, за что... Ее не первый раз бьют. Доля женская. Она сама нарывается. Не может без этого.

Крысина стоит на холодном полу в одних чулках, туфли она где-то потеряла, стоит высокая, прямая, мнет в руках газовую косыночку черного цвета, сестры потом ее выстирают, она окажется розовой, безмятежной.

— Ложитесь, Крысина, — говорит Алешин и накладывает шов на ее разбитый лоб. Там у нее рваная рана, кровь густо стекает по лицу. Крысина терпит. — Как называется шов? — спрашивает Алешин. — Ну, третий курс, вспомните! — Студентки молчат. — А-да-птирующий...

Дверь приоткрывается, в перевязочную заглядывает женщина с окровавленной головой, кровью залиты глаза, рот. Одна из студенток базарным голосом кричит с перепугу:

— Женщина, вам не туда!

Пострадавшая исчезает. В коридоре переговариваются сестры.

— Я сама под него не подстелюсь, а белья у нас нет,— говорит та, которая старше.

— Я в ванной видела два матраса.

— Мужчина-то приличный? Где мне белье взять? Засыхи нас совсем вывели. Ладно, если алконавт какой-нибудь — убью!

У стены на железной каталке, накрытая тонким солдатским одеялком, безнадежно так лежит сухонькая, невесомая старушка. На лице полное равнодушие к судьбе. 93 года. Ждут родственников.

Разговор в коридоре:

— Таких больных без родственников не выходить. Уход нужен. Утром звонили: «Да, да». И час назад звонили, опять «да, да», но не едут и не едут.

— Мой дед этого как раз больше всего боялся. Боялся, бросят...

Становится невыносимо горько. Я подхожу к старушке, смотрю на ее безучастное лицо, и слезы наворачиваются у меня на глазах, потому что я думаю о своей старости и о том, что ко мне тоже никто не придет. На стене плакат: «За несданные деньги, ценности, вещи администрация больницы ответственности не несет».

А большие все прибывают и прибывают. На новеньком с иглочки реанимобиле привозят молодого парня с Кольцевой дороги. Лобовое столкновение, пожар. Пульса нет, лицо серое, ноги обожжены, кажется, даже обуглены. Его подобрали у поворота на Рублевское шоссе, я там тысячу раз проезжал! Пахнет бензином. Сразу поднимают в реанимацию, чуть позже слышу:

— Отдуплился.

— Как воронье, налетели...

И со вздохом:

— Когда приходит ее величество...

Не все понял. Через некоторое время узнаю, что в подобных случаях, сразу, как только будет зафиксирована смерть, забирают органы для пересадки — сердце, почки, печень... Тут ни минуты нельзя мешкать. И не по себе делается. Ведь надо же согласие получить. Могу ли я считаться владельцем своего тела или это тоже не мое? Как это у Мандельштама: «Дано мне тело, что делать с ним, таким единым, таким моим...» Оказывается, только до поры моим. И сюжетец какой-то кинематографический, до жути криминальный, рисуется с похищением органов, с массовой продажей из нашей нищей больницы, в богатое зарубежье, с явками, паролями, шикарными женщинами, при том, что вся закрутка начинается с этого облезлого коридора, где лежит безучастная бабушка, к которой все едут и едут родственники и никак не могут приехать. «И хоть бесчувственному телу равно повсюду истлевать», я бы не хотел, чтобы меня так бесцеремонно делили на части. Мне страшно. Пахнет мочой, беспросветной бедностью, многодневным перегаром, грязным, давно не мытым телом, борщом. Это сестры в комнате с зарешеченными окнами на плитке разогревают свой обед, чистенькую скатерку постелили на углу письменного стола, порезали хлеб, моют руки, садятся на продавленный диван.

— Мы живем в стране победившего сюрреализма,— заявляет Алешин.

Идем с ним в спецтравму, где у запертых дверей с внутренней стороны скучает вооруженный милиционер при кобуре и позвякивающих наручниках. Тесно, одна к другой лежат низкие койки, застеленные холодной рыжей клеенкой. Запах псины. Пациентов двое, оба, небритые, лежат калачиком, подтянув голые колени к груди. Подобраны на улице избитые, в состоянии сильного опьянения. За что били? Кто бил? Неизвестно. Диагноз? Какой диагноз?! Общий испуг организма с множественными ссадинами тел, так это называется. В окне панельная улица Салям Адия. Кто такой, чем заслужил такую награду? Деятель международного коммунистического движения, боролся за мир во всем мире, вот и решено было назвать улицу в Москве его именем.

Алешин дежурит сутки. Тяжело? Да нет, привык. У него и сын Вовка учится в медицинском. Всегда хотел, но все-таки он ему испытание устроил перед институтом. Знаешь, сказал, попробуй месяца три поработай санитаром.

— И поработал?

— Разумеется.

— И как вы поняли, что он может быть врачом?

Алешин многозначительно улыбается, рассказывает, как его Вовка, уже будучи санитаром, вез по подземному переходу девочку с переломом позвоночника. Девочка плакала. Вовка поймал в подвале котенка. Маленького такого. И положил девочке на грудь. Негигиенично, наверное, но порыв надо ценить. Сострадание к чужой боли. Готовность кинуться, помочь.

Из этой истории делаю вывод, что Александр Владимирович Алешин человек sentimentalный. Значит, в перечне необходимых качеств для того, чтобы быть врачом, у меня есть еще одно.

Ближе к вечеру привозят пострадавшего автомобилиста. Этого — с переломом черепа. Он спокойно себе возвращался с дачи по Волоколамскому шоссе, со своих шести соток. Сам за рулем, рядом жена, дочка — сзади. Возле Красногорска необдуманно обогнал новенький «мерседес», в котором ехали ребята, упакованные в мягкую, хрустящую кожу. Обогнал, тут же поток машин, возвращающихся в город, подхватил его, а тем ребятам обидно стало, что какой-то там «жигуленок» оскорбляет. Они вырвались вперед, встали поперек движения, вышли вчетвером из своего сверкающего «мерседеса», выволокли нашего автолюбителя на асфальт, начали избивать ногами на глазах у жены и дочери. И ведь что интересно, затормозивший поток никак на это не реагирует. У человека свои трудности.

Никто не поспешил на помощь. Никто не закричал. Милиции поблизости не оказалось, граждане в машинах глазели на происходящее во все глаза, считая за благо не вмешиваться. Ну, бьют мужика, ну, женщины визжат, первый раз, что ли...

Били ногами по голове, по чему придется, потом, решив, что хватит, тяжело дыша, с чувством сделанного дела уселись в «мерседес» и отчалили.

Пострадавший поднялся, поток двинулся, жена помогла стереть кровь, он сам довел машину до дома и всю дорогу всхлипывал, жена вытирала его слезы, а дочка сидела себе сзади, со стороны могло показаться, что она смотрит в окно.

Меня еще никогда не били при моем ребенке, подумал я, значит, все еще впереди.

Он сам поставил машину во дворе, сходил в травмпункт, там ему зашили губу. Думал, все обойдется, но что-то странное с ним происходило. Боли не было. Кружилась голова, и точно далекий звон доносился, и какие-то голубые с белым тени возникали перед глазами. Сам кое-как дошел до больницы. Было шесть часов. Смеркалось. Его осмотрели и тут же стали готовить операционную. В 8.30 вечера началась операция по трепанации черепа с удалением эпидуральной гематомы.

Я вошел в операционную, когда хирург Юра Кушель, щеголеватый молодой человек, только что закончивший институт и как отличник ездивший по обмену в Колумбийский университет, готовился начать. Все было по местам — ассистент, анестезиолог, хирургические сестры... Пришел заведующий отделением реанимации, стоял в сторонке, весь в зеленом, мрачно скрестив руки на груди. Суеты не наблюдалось. Пострадавший, выбритый наголо, уже спал, я мог видеть только его череп, бугристый, густо замазанный йодонатом и потому казавшийся оранжево-желтым, как у буддийского монаха. Я обвел взглядом операционную, всю эту холодную кухню со своими кафельными стенами, стерильным бельем, инструментами, емкостями, наполненными и порожними до поры, увидел напряженные лица, как в центральном посту подводной лодки, когда идут на погружение. Юра решительно обколоч новоккаином операционное поле. Я увидел, как гнется игла, как вздуваются под оранжевой кожей горбатые шишки, закрыв глаза, потом, кажется, сразу же и открыл, зафиксировав резкое движение скальпеля уже на излете и неведомо откуда брызнувшую кровь. Кушель пробивался туда, где рентген показывал трещину в теменной кости. Скоро она открылась — тонкая, точно спутанный комочек красных шелковых ниток. Живая кость похожа на березовый луб, когда только что сорвали кору. Она ослепительно белая и влажная и не такая твердая, как казалось бы, если по ней шархнуть ногой в ботинке на толстой подошве.

У каждой операции своя драматургия, и совсем не обязательно быть специалистом, чтобы понять, что же происходит. Не случайно некоторые зарубежные телекомпании — у нас это не принято — показывают в прямой эфир репортажи из операционной. Зрелище всегда захватывает, потому что неясно, чем все кончится. Есть любители таких незарегистрированных репортажей, где неожиданности могут возникнуть на каждом шагу. А тут еще высокий профессионал дает пояснения.

Конечно, тонкости может определить только специалист, но меня как зрителя интересует совсем другое. Мне интересно, в какое же окно вписывается наш доктор? Что он умеет, чего от него можно ждать и еще — наверное, это главное, — что же такое хирургия повседневных катастроф и минует она меня или нет?

У профессора Мусалатова врачей в роду не было. Его семью в свое время сослали в Казахстан, в чужие, летом жаркие, а зимой промозглые степи. Отец был кузнецом. Двухметровый, вот с такими ручищами, отец не боялся никакой работы, превыше всего ценил порядок и настаивал на том, что настоящий мужчина должен иметь нужную людям профессию, а лучше всего быть кузнецом или доктором. Дальше в этом почетном списке шли столяры, плотники, инженеры-строители и шофера.

Хасан Аласханович окончил медучилище. Потом уже был в его судьбе военный госпиталь под Потсдамом, бывшая клиника Коха, ГСВГ — Группа советских войск в Германии, где он служил положенные тогда, по-моему, три года. В госпитале тоже был порядок. К нему хорошо относились, приглашали на сверхсрочную, в нем воен-

ная косточка определилась, но он решил учиться на доктора. Вступительные экзамены в Первый орден Ленина Московский медицинский сдавал в сержантской форме с медицинскими эмблемами. Ну разве можно было не принять такого молодца!

Он всегда, с раннего детства, мечтал быть доктором. Почему? — объяснить невозможно, словно неизъяснимой красоты голос посоветовал его душе: будь доктором! Будь! Можно выяснять дальше, но исчерпывающего ответа все равно не будет. Это как выяснять у верующего, как он пришел к Богу. Было вам видение, или врожденное это, или просто судьба, точно указание свыше? А вот почему человек оказался в травматологии — это, пожалуй, спросить можно, и Мусалатов рассказывает:

— Привозят мертвого. Через день живой! Сразу виден уровень работы. Можно показать товар лицом. Все видят. Нужно быстро принимать решение, быстро действовать. А потом все-таки это творчество: костную структуру можно по-разному скреплять. Тысячи вариантов, а ты находишь самый лучший!

Врач Юрий Кушель — это мы уже сидим в ординаторской на третьем этаже — рассказывает про Америку. Там медицинское образование поставлено будь здоров! В общем, не так, как у нас. Сначала медицинская школа — четыре года отдай, — потом резидентура от четырех до семи лет, чем уже специалист, тем дольше учиться. Для общего хирурга это пять лет, уролога — шесть, нейрохирурга — семь, терапевта — четыре года.

— А чего его учить? — снисходительно с высоты своей хирургической специальности роняет Юра.— Пусть идет, работает. Но это не все. Хочешь стать совсем узким специалистом, иди, шагай на постспециализацию — два года. Значит, нейрохирургу надо учиться минимум одиннадцать лет.

— Не слабо.

— Зато платят.

Я тоже ввернул про Америку. Одна знакомая девушка ездила туда в город Демойнт, штат Айова, от своей московской гимназии, жила там в обычной американской семье. Как-то вечером после ужина ее спросили за столом: «Саша, а ты кем хочешь стать?» Она простодушно ответила: «Доктором». И все заулыбались, и был в этой улыбке какой-то непонятный подтекст, пока хозяин не вздохнул с пониманием: «Богатой хочешь быть...»

— Там медицина очень дорогая, но это все понимают. Оборудование новейшее, врачи классные, а за класс надо платить. Они там получают до двух тысяч долларов в день. Вот и считайте.

Мы считать не хотим. У нас кипятильничек переходит из стакана в стакан, развернули принесенные из дома бутерброды, высыпали все на середину стола. Кто-то яблоки принес со своего дачного участка, кто-то полпирогоа: у племянника был день рождения.

— С улицы кого попало берут, только если интересный случай.

— Если б у них брали всех, у них был бы тот же бардак, что и у нас... Там сложная система страховки, но есть и бесплатные больницы на уровне ну как у нас. Кормежка только лучше, интерьер, сестренки шустрые все, а так тот же конвейер.

Алешин пьет чай, одновременно читает. Он вообще большой книголюб, хранитель самой разнообразной информации, она у него по своим полочкам разложена, и он цитирует по руководство по военной топографии, то Ивана Сергеевича Тургенева, который в свое время первым дал самое исчерпывающее описание врача 4-го Главного управления. У него в «Му-му» читаем: «Степан отличался от прочих крепостных тем, что умел деликатно братья за пульс и спал по 14 часов в сутки».

И все-таки чем отличается русский доктор от американского или немецкого? Ведь есть же какие-то отличия в отношении к делу, в подходе к решению, существуют какие-то традиции, или у нас они потеряны?

— Есть, — сказал Силин в своем пыльном кабинете. Это я в тот день возвращаюсь, когда на четвертом этаже шел ремонт и студенты в коридоре, разложив тетрадки, слушали лекцию под нудное гудение сварочного трансформатора. — Есть отличия, а то как же... У немцев пунктуальность, все выверено, есть незыблемые правила, неколебимые авторитеты. Если положено сделать разрез там и тут, он, будьте уверены, сделает там и тут и ни в коем случае не наоборот — тут и там. Орднунг ист орднунг. У нас больше творчества. У нас нет двух одинаковых операций, у немцев, возьму на себя смелость, есть. Про американцев не скажу, я их просто не знаю. Был у нас такой гениальный ортопед Вредер, который дарил себя всем, советовал: сделайте так вот, попробуйте вот такой ход, — потом это описывалось как операции Вредера. Тогда ученики не воровали у учителей, а учителя были щедрей, но это все опять же отражения уровня общества, его дедовщины. О себе он говорил: «Я не столько Вредер, сколько Полезен». Это начало века, первая треть, двадцатые, тридцатые годы. Он вел прием, сидя в противоположном от дверей углу.

Входит дама с ребенком. «Вы знаете, доктор...» «Знаю, знаю», — кивал он и писал, писал, а потом говорил: «Отдайте эту записочку моему ассистенту, здесь все написано». Он ставил диагноз, пока они шли от дверей к его столу. Это производило ошеломляющий эффект. И это, конечно, школа. Были такие врачи. Но сейчас все труднее и труднее работать. Во-первых, все слишком дорого. Дешевле, чем на Западе, но для нас, при нашем масштабе цен, слишком дорого. У них потребность и спрос — синонимы, а у нас?

Вопрос повисает в воздухе, потому что в кабинет Силина заглядывают две дамы, одна просто приятная, зато другая — приятная во всех отношениях. Та, которая во всех отношениях, тяжело волочит приятную, это ее жестоко разбил радикулит. Этой ночью ни с того ни с сего, знаете... Такси нет, своя машина не на ходу, аккумулятор на балконе, пока левака словили...

Леонид Леонидович галантно приглашает больную располагаться как дома. А пока суть да дело, мы спускаемся вниз, в отделение, где у него повседневные профессорские дела. Там он оставляет меня одного и исчезает. Когда я возвращаюсь в его кабинет, то обнаруживаю, что больная, разбитая радикулитом, и ее подруга, приятная во всех отношениях, исчезли.

— А ушли...

— Как ушли?

— А так. Я ее посмотрел, и она ушла. Обычное дело. Все встало на место. Поднялась, пошла.

Лицо Силина при этом было серьезным, но он явно торжествовал. Трубка тихо подымливалась в его руке, пахло хорошим табаком и духами приятных дам, на столе лежали, сложенные тонкой стопкой, какие-то служебные бумаги, и я подумал, что наш доктор временами тоже неплохо смотрится в своем окне и возрождение России начнется не с броска на юг, не с упорядочения налоговой системы, хотя надо бы, а — с медицины. Иначе вымрем все, как динозавры. Врачи потянут интеллектуальный и мастеровой уровень нации. Других объективных сил нет. Кто не согласен, ладно, дайте срок, все очень меняется, господа, когда вам больно. Жизнь заставит.

Можно быть жадным, но казаться добрым, можно быть трусливым, но изображать из себя смельчака Талалихина, глупость можно скрывать, если помалкивать, но никому еще ни разу не удавалось, не будучи интеллигентом, изображать из себя такового. Разве что Климу Ворошилову и то только на вербальном уровне, на страницах книги, написанной про него во времена культа личности. Там луганский слесарь попадает в одно купе с аристократами, те его принимают за своего. Манеры, знание военной истории их, профессиональных офицеров-гвардейцев, смутили. Вот ведь оно как. Люблю книги про советских полководцев!

Хороший врач — априорно интеллигент. Собственно, с них-то и началась интеллигенция в нашей многострадальной стране, с земских, с университетских врачей, а еще раньше с полковых, с корабельных лекарей, которых из уважения надо было сажать в офицерскую кают-компанию. Это я размышляю в предоперационной. Передо мной на белой кафельной стене большое прямоугольное окно, я вижу обвод бестеневой лампы, баллон с закисью азота, плечо анестезиолога, который уже приступил к своим обязанностям.

Профессор Александр Георгиевич Аганесов готовится к пластике локтевого нерва. Он старательно моет руки, что-то бормочет себе под нос, чем-то он недоволен, что ли, или сердится, еще не могу понять. Через открытую дверь он беседует с хирургической сестрой, та ему отвечает прокуренным голосом: «Да, Александр Георгиевич... Нет, Александр Георгиевич». Он свои инструменты привез и как-то там просит, чтоб они лежали с руки.

Предстоит оперировать мальчика семи лет. В прошлом году у себя в детском саду, в старшей группе, он показывал ребятам приемы карате, размахнулся по всем правилам, разбил дверное стекло и перерезал локтевой нерв.

Все закричали, завизжали девчонки. «Анна Васильевна! Анна Васильевна...» Доглатывая рисовую кашу, появилась руководительница Анна Васильевна, мрачная, как танк, но увидела кровь, побледнела, сняла мальчика со стекла, стала кричать вниз, чтоб заведующая вызвала «Скорую». Из кабинета выскочила заведующая, перетянула руку мальчика вафельным полотенцем, вызвала родителей. В детской больнице дежурный хирург зашил рану, успокоил, сказав, что до свадьбы заживет, но прошло три месяца, а пальчики на раненой руке не двигались. «Ничего, — уверенно сказали в больнице, родителей эта уверенность сбила с толку, — подождите до полугода. Растущий организм. У них бывает». Родители прождали полгода, потом еще полгода, пальцы не шевелились, мальчику в школу, в первый класс, они кинулись на кафедру к Мусалатову.

— Ну-с, ну-с, — с поднятыми руками входя в операционную, проговорил Аганесов. Мне показалось, что он нервничает. Он потрогал плечо ребенка, тонкое, как куриное крылышко, и застыл. Губы его подрагивали, будто он читал молитву. В операционной стыла холодная тишина, только на пульте у анестезиолога тихо поблуживала, пошаркивала, посасывала потусторонняя какая-то сила, подрагивали стрелки приборов, и время от времени раздавался звук, точно какая-то большая, неприкаянная птица постукивала клювом.

Наконец Аганесов сделал первый разрез, перед этим сказав: «Ну, с Богом, господа!» — и оживился. Теперь его можно было бы показывать по телевизору в прямом репортаже из операционной: все-таки это захватывает, когда нет ни суеты, ни лишнего движений, ни окриков. Тихо. Только позвякивают инструменты, которые Аганесов возит на серьезные операции в черном дипломате на заднем сиденье своей «шестерки».

Хирургия — ремесло в том прямом смысле, что требует ловкости рук, смекалки, глазомера, чувства материала, с которым имеешь дело. Золото это — тогда ты ювелир, человеческая плоть — тогда хирург. Однажды я видел в Переделкино, как печник Тимофеев, с утра поддатый, но в меру, клал печку с камином на даче у поэта Рождественского, как он сосредоточенно жевал глину, определяя, готова или еще нет, как сплевывал в ладонь, мял грязными пальцами, покачивая головой, размышлял, а потом выкладывал ряд за рядом, явно получая от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Он был похож на хирурга. Или хирург был похож на печника? Было такое в свое время классическое стихотворение — «Ленин и печник». Предлагаю на новом витке — «Ленин и хирург», где хирург благодарит вождя за все то, что он сделал для нашего здравоохранения.

— Пошире или пошире будем делать?

— Более широко.

Это Аганесов переговаривается со своим ассистентом. Вот уже и шутки начались. Обстановка разряжается. Аганесов нашел перерезанный нерв. Как-то незаметно он его выделил. Отрезал два омертвевших кусочка, выложил на салфетку, чтоб отправить к гистологам.

— Ну, что у нас?

— Одна культя есть. Если стянется, все будет в порядке. А если не стянется...

— А почему хирург в детской больнице не сшил нервы? Чтоб все, как полага-ется.

— Вам нужен исчерпывающий ответ? Увольте. Кто скажет, что там могло произойти? Что было — бессонная ночь накануне, квалификации не хватило, умер родственник? Хирург — живой человек. Не суди и не судим будешь.

А может, есть какая-то другая причина, если смотреть совсем глубоко, подумал я.

Сейчас все бастуют — водители автобусов, шахтеры, работники коммунальных служб. И все грозят: мы возить не будем, ходите пешком! Мы такое устроим, что век помнить будете! Мы воду отключим, канализации не будет, ройте колодцы по дворам! Не бастуют только доктора. Они, конечно, могут хоть завтра, но сразу, чтоб никого не напугать, начинаются оговорки — срочную помощь будем оказывать, тех, кто лежит в реанимации, будем вытягивать, кому необходима срочная операция по жизненным показателям, оперировать будем, остальные пусть разбредаются по домам.

Пусть! Но это легче сказать, чем сделать. Когда в сорок третьем году под Сталинградом у взятого в плен фельдмаршала Паулюса спросили из вежливости или согласно военным традициям, какие у него будут пожелания, он попросил будущего главного маршала артиллерии Воронова: «Пусть немецкие доктора останутся с нашими ранеными...» И все. Иных просьб у него не было. Свои доктора должны оставаться со своими. И они выходили из колонн, обмороженные, раненые, закутанные в обгоревшие одеяла, еле волоча ноги в соломенных эрзац-сапогах, немецкие врачи, чтоб спасти тех, кого еще можно было спасти.

Нет, доктора бастовать не могут. Есть другой вариант — вы делаете вид, что платите, мы делаем вид, что работаем. Все время жить в режиме подвига утомительно. Сталинград бывает один раз в жизни. Вот и тот доктор, который первый раз оперировал мальчика, скорей всего делал вид...

Никогда не забуду, как зубной техник сказал мне без обиняков: «Стране нужны протезы, нам нужны деньги!» И весь разговор, и я его понял. Взрослые люди.

Аганесов вспоминает, как работал в институте Склифосовского. Вот где насмотришься разных катастроф! Вокзалы рядом, Комсомольская площадь, отсюда привозили погавших под поездов, раздавленных, сгоревших, выпавших на ходу... Врачи буквально собирали людей по кусочкам. Потом он служил в 7-й больнице на Каширке. Тоже бойкое местечко. Ночью при посадке в Домодедове рухнул самолет,

всю ночь возили к ним раненых. Он до утра не выходил из операционной. Вот так набивается квалификация.

С 79-го он в Медицинской академии, потому что всегда хотел заниматься наукой. В Склифе, где он протрубил восемь лет, защитить диссертацию было трудно, времени не хватало, всякие препоны надо было преодолеть вполне посторонние, к делу не относящиеся, а в Академии у них это всячески приветствуется, у них на кафедре докторов меднаук больше, чем просто ассистентов.

— По-моему, это хорошо. Человек должен видеть свои результаты. Взять молодого, заставить его пахать, чтоб он приходил домой и хвастался: «Вася, если б ты знал, какой я хороший хирург!», оставаясь при этом беспросветно младшим научным, просто нечестно. Согласитесь, это не дело. Человек должен развиваться и в срок получать свои регалии. На фига мне профессорство в 70 лет? Чтобы еще одну лишнюю строчку на памятнике выбили? Французы правы: кто дает вовремя, тот дает вдвое. Научный потенциал надо сразу использовать в полную силу, а не хранить под спудом.

Так мы беседуем, а операция катится своим порядком. По мнению Александра Георгиевича, не такая уж она сложная, высокая хирургия здесь не требуется, достаточно хорошего, крепкого ремесла. Это многим под силу. Вот операции на позвоночнике при остеохондрозе поясничного отдела — это серьезно, и он мне обещает показать такую операцию.

Я начинаю готовиться. Листаю специальную литературу. Но о чем идет речь, догадываюсь только по заглавию. Это то же самое, как, не будучи профессиональным музыкантом, пытаться разобраться в партитуре. Поверим специалистам, что нас не шельмуют. Да и роль молчаливого, гордого небожителя малосимпатична, она ведь смешна — это если поверить профессору Силину, считающему, что не красота, а чувство юмора спасет мир.

Операцию по поводу поясничного остеохондроза Александр Георгиевич проводит в госпитале МВД, куда мы приезжаем на той же «шестерке» с тем же дипломатом. Оперируют майора внутренней службы 39 лет. В органах прослужил двадцать. Последний год ни одной ночи спокойно не проспал. Усмехается, что не может с ребятами сыграть в волейбол — это, конечно, трагедия, — и жена от него уйдет как пить дать. Это серьезней, и робкая улыбка на его лице гаснет. «Теперь, видимо, придется в отставку. Пяти лет всего и не хватило до полной пенсии...» Он говорит пензия и повторяет несколько раз, потому что волнуется. Я смотрю в его уставшее от боли лицо. Если б я мог ему чем-то помочь... В коридоре перед операционной сидит жена майора Тамара Юрьевна, комкает в руках бумажную салфетку и прячет в карман бумажные катышки.

Операция началась в 12.35. Ассистировал Аганесову Сергей Васильевич Бровкин, тоже доктор медицинских наук, отец двух сыновей. В машине он жаловался нам: «Я девочку хочу. Господи, да не в том смысле! Вам бы только... Мне доченьку хочется...»

Когда я вошел в операционную, майор лежал лицом вниз, упиравшись локтями и коленями в операционный стол.

Из той литературы, которую я пытался читать, чтоб выяснить, как же он лечится, этот поясничный остеохондроз, я понял, что одну из самых первых операций дискэктомии провел великий Николай Нилович Бурденко, выпускник императорского Тартуского университета, памятник которому снесли благородные эстонцы, потому что поняли, что Тартуский, бывший Юрьевский, вовсе не русский, а эстонский университет, насобирали профессоров по хуторам... Национализм всегда малосимпатичен, а что сказать о холуйской его разновидности, не знаю, прежде всего надо забыть русский язык, говорить с акцентом и настаивать: «Мы европейцы...» В добрый час.

Остеохондроз — болезнь распространенная. Сергей Васильевич рассказывал мне, какие существуют методики его лечения. Я удивился, что все понял. Бровкин развел руками.

— Я ведь студентам читаю. Знаете, какие попадаются...

— Понимают?

— Стараются по мере сил... Престиж пропал.

Остеохондроз — болезнь распространенная, не делающая различия между рабочим и аристократом. Разрабатывались разные методики лечения, так или иначе возвращающие к нормальной жизни через полгода-год, причем предполагалось обязательное ношение корсета. Я представил майора в черном сатиновом корсете с белыми длинными шнурками — это я сам такую модель сконструировал, — и мне стало не по себе. Совсем рядом, за стеной, Тамара Юрьевна комкала салфетку.

На кафедре у Мусалатова оперируют по новой методике, возвращая к нормальной жизни за шесть недель. Причем после операции больной встает на вторые сутки, а высший пилотаж заключается в том, что хирургу приходится работать на

очень маленьком поле. Там разве что палец поместишь и то с трудом. А чтоб дойти до пораженного диска, надо обойти спинной мозг и корешок, иначе может быть паралич, поэтому нужен свой инструментарий, своя аппаратура. Всем этим и занимается Аганесов.

Бровкин объясняет: тут главное — дойти до диска, а удалить его — это уже дело техники, механика на каждый день.

— Очень маленькое поле не для красоты, а чтоб не разрушать кости, не повредить мышц. Вот наш майор вернется в строй, зачем ему дырка на спине? И зачем ему полгода лежать пластом?

Я соглашаюсь, что незачем. Время надо ценить. Время — деньги.

Итак, чем может удивить российский хирург? Только индивидуальным мастерством, умелостью своих рук, продуманностью каждого своего шага. О технической оснащенности наших операционных вряд ли можно говорить в мажоре, и тут мне вспоминается история, которую рассказывали при мне про одного стоматолога по фамилии Вайнштейн не то из Смоленска, не то из Тамбова — это не важно. Так вот, он там лечил зубы местному начальству, его уважали, редкий пациент не тащил поллитровку, завернутую в областную газету. Дали трехкомнатную квартиру, гараж в центре, кажется, что еще, но человеку все надоело, сколько можно работать, как негр, он заявляет. А тут еще антисемитизм на бытовом уровне, на улице жидом обзывали, он уехал в Штаты, точно канул. Сколько-то времени не было от него ни слуху ни духу, а потом приходит письмо через два года, и пишет он друзьям, что устроиться по специальности не может и даже уже не пытается: материалы другие, техника другая, работает у одного негра, зубного врача, помогает ему по мелочи, цемент замешивает, то, се, но держат его не потому. Иногда к хозяину приходят гости, такие же негры, американские зубные врачи, и тогда его вызывают к столу, и он рассказывает о том, как лечат зубы в России, и все смеются до колик.

Это про нашу бедность. Еще одна горькая капля перед операцией. «Ну-с, ну-с», — говорит Аганесов, и, по-моему, он опять волнуется. А потом, как-то сразу успокоившись, большой, в зеленом операционном халате, в маске и голубой шапочке, четыре часа стоит на возвышении над нашим майором с зудящим коагулятором в одной руке и отсосом в другой, время от времени заявляя что-нибудь вроде: «Я крови жуть как боюсь. Нет, честное слово! Тут у него венозное сплетение, это нам, если что, даст такого шороха...»

Конечно, чтоб понимать музыку, надо быть профессионалом, но как интересно наблюдать за работой хирурга! Как он держит скальпель, как напряженно смотрят его глаза, как он вдруг начинает нервничать, а потом успокаивается, как вроде бы ни с того ни с сего начинают суетиться сестры, это очень любопытно, почувствовать внутренний драматизм действия, чтоб через четыре часа после начала, в 15.35, услышать как заключение:

— Каталочка?

— Уже приехала.

И, значит, наступает время, когда можно расслабиться, сесть где-нибудь в уголке, желательно в полном одиночестве, закрыть глаза и вспоминать, все ли ты правильно сделал, перед этим поблагодарив всех, кто был рядом.

Конечно, это высший пилотаж, думаю я, а начинать придется с городской какой-нибудь больницы, и вспоминаю, как иду гулкими коридорами из отделения в приемный покой. Как скрипит грузовой лифт, хлопает расхристанная дверь. Пахнет потом, мочой, лекарствами, стоптанной обувью, влажными простынями. С потолка сочится вода, не иначе где-то опять прорвало трубу, а сантехник третий день пьет. На стенах шелушится побелка. Я иду, и мне надо выяснить для себя, что же ожидает девочку Сашу, которая заявила в Америке, что хочет стать доктором. «А, богатой хочешь быть!..» — ей еще ответили. Но ведь она не просто так, для этого она закончила биологический класс у себя в гимназии, летом на даче, преодолевая внутренний протест, осколком безопасной бритвы резала лягушек — для доктора неизменнойшее занятие, — рассматривала страшные картинки в учебнике анатомии и, замирая от сладкого ужаса, перед сном разглядывала на свет настольной лампы свою ладонь. Как течет кровь. Какого она густого красного цвета и как все интересно устроено. Потом она станет студенткой Медицинской академии, и я думаю: что же ожидает ее, эту девочку, в служении, на которое она себя обрекла, потому что Саша — моя дочка.



Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ

Человек без свойств

Роза при имени прежнем — с нагими мы впредь именами.

Б. Морланский

Разговоры о кризисе литературы подразумевают в большинстве случаев кризис романских форм. Исчерпанность здесь ощущается великая — еще Борхес, проведя унификацию сюжетов, свел их к минимальному числу. Показательно, что само его высказывание о «четырёх циклах» за короткий срок стало расхожим литературным штампом. Что ж говорить о вечных нарративных стратегиях-добродетелях, истертых буквально до дыр?! Другим общим местом почему-то стало утверждение о том, что традиционный роман становится практически невозможным. Вот и Виктор Ерофеев, привыкший на повышенных тонах изрекать банальности, пишет в «Общей газете»: «Если ИЗО и музыка нашли свой язык, самовыразились настолько, что коснулись собственного дна, то роман не нашел самого себя. По-прежнему это читво. Роман ничем не отличается от письма к маме с Южного берега Крыма. Все — то же. Все куротники — писатели... Жанр романа до сих пор разработан весьма поверхностно. Это литературное месторождение освоено меньше, чем на треть. Конечно, роман неисчерпаем, но о его конце говорить слишком рано, и разговоры о смерти романа применительны лишь к его осуществленным моделям». Что и говорить — в кино положение еще тяжелее: там одни и те же сюжетные конструкции навязли до такой степени, что слова в простоте уже точно не скажешь. Литературе в этом смысле еще повезло — сами средства передачи замыслов и смыслов здесь не столь агрессивны: всегда существует дистанция между автором и текстом, текстом и читателем. И каждое из звеньев этой цепочки стремится захватить как можно больше суверенитета, обособить возникающий здесь и сейчас текст, наполнить его самодостаточным содержанием. Кино стало жертвой своей прямолинейности: что вижу — то пою. И вне видимой, достаточной вменяемой истории, которую **можно было бы пересказать**, кинематографа не существует¹. Впрочем, на том же самом принципе строилось и большинство «традиционных», то есть привычных конструкций. Хотя вряд ли содержание «Евгения Онегина», «Мертвых душ» или любого другого «классического» романа исчерпывается сюжетным каркасом. Еще Лев Толстой отметил принципиальную невозможность пересказа «Анны Карениной»: содержание мысли неотделимо от формы ее подачи. Закономерно, что в случае с искусственно возведенным на бумаге сооружением актуальность этой посылки возрастает в несколько раз.

Кризис кризисом, но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сошло, совпало сразу несколько моментов, совокупность которых дает толчок к экспериментам в области романских форм. Во-первых, литература утратила необходимость быть эстетически и идеологически понятной, доступной, одинаково скроенной по одним и тем же лекалам. Она перестала быть делом общественным и, значит, стремящимся к полному стиранию крайностей, размытости авторского начала. Пи-

¹ Дальше — больше. Я бы вообще предложил называть термином «кино» класс вещей, предназначенных для одноразового употребления. Апофеоз сюжета, чистота соблюдения жанрового канона никак не мирволят многократному пересматриванию. В случае с так называемым «авторским кинематографом» следует говорить о симуляции литературы какими-то сугубо визуальными средствами, а не о «кино» в чистом виде.

сатель получил полное право возделывать свою писательскую «ниву», как ему вздумается, когда на его территории — хоть потоп. Появилась возможность быть непохожим. Не каким-то там сугубо индивидуальным собственником своего know-how, но чуть ли не марсианином треногим и многоголовым, живущим по совершенно иным, чуждым меркам. Если же читателю непонятно или «трудно», то это его, читателя, проблемы. Период вхождения в Иное, привыкания к иному мироположению требует определенных усилий и обязательной скуки. Из этого, во-вторых, вытекает необязательность занимательности чтения, что, как правило, базируется на сюжетной вменяемости, жанровой предсказуемости. Легкость мысли необыкновенная в «серьезной», озабоченной поисками смыслов словесности стала чуть ли не презираема. Ибо функцию развлечения оттянула на себя, как мазь Вишневого, коммерческая или бульварная беллетристика в ярких обложках и с сомнительными копирайтами. Точно по ленинскому указанию внутри культуры стало вдруг два противоположно направленных потока, обоюдно взирающих на конкурирующую сторону свысока. Все как бы понимают, что журнальная проза — дело, конечно, нужное, даже необходимое. Но читать предпочитают легкомысленные однодневки. Или смотреть сделанные по литературным лекалам (мало зрелища, много слов, 90% — диалоги) «мыльные оперы». С одной стороны, снобизм современных писателей — вполне объяснимая реакция на перемену участи, с другой — не менее закономерная реакция на удвоение мира, мира «старого», обжитого, привычного и того, формирующегося на наших глазах и с нашим непосредственным участием, что еще не имеет четких границ. И потому внушает всяческие разнообразие опасения. В подобной ситуации можно только восхищаться энтузиазмом волонтеров, вызвавшихся прокладывать новые дорожки². Все это неожиданно совпало с массовым переходом передовых писательских масс к работе на компьютере. Что, конечно же, не могло не сказаться на эстетике новых текстов. Находящей выражение, в первую очередь, на самом бросающемся в глаза композиционном уровне. В свое время М. Эпштейн³ подробно рассказал о значении для писательского труда перехода от рукописи к машинописи, не простого видоизменения техники, но «смены способов духовного производства. Сейчас мало уже кто работает от руки, доверяет осязательным импульсам, — возникла необходимость самопроверки текстовой реальностью. Печатаю, я вижу перед собой готовый результат своего труда, каким его воспримут другие». И если переход от пера к машинке М. Эпштейн приравнивает к переходу от фольклорной эпохи к литературной, то переход от машинки к еще более абстрактному, но и визуальному компьютерному плетению словес оценит сейчас вряд ли представляется возможным. Другой неожиданный аспект нашей проблемы сформулировал в интервью Вячеславу Курицыну Алексей Парщиков: «Я люблю его за то, что экран удивительным образом соединяет руки и глаз. Игра на клавиатуре сразу соединяется с экраном — ощущение совершенно магическое. И, что важно, там нет ничего мертвого. Компьютер — очень динамическое существо. Только не надо подходить к нему как к поставщику информации. Любой информацией быстро наедаешься. Для меня компьютер — возрождение чуда письма. Письмо рукой исчезло, вместе с ним, как писал Барт, «умер автор», но в компьютере возвращается этот живой контакт руки и письма. И автор может воскреснуть». Именно так все и происходит.

Если учесть, что теперь литератор может иметь на своем столе весь технологический типографский цикл, от проверки орфографии до брошюровочного аппарата, можно только порадоваться брешам в озоновом слое нашей доморощенной литературоцентричности. Иначе метафора Вик. Ерофеева «каждый курортник — писатель» превратилась бы в зловещую реальность. И не в виртуальном будущем литературы следует искать, по рецепту того же В. Е., спасение. Культурный механизм мудрее наших досужих рассуждений о нем и до сих пор не утратил способности саморегулироваться.

Однако первые признаки эстетики всеобщей писательской компьютеризации можно отметить уже сейчас. И самое заметное: здесь — приоритет части над целым. При всем богатстве открывающихся возможностей дисплей не позволяет окинуть взглядом целое. Функция «просмотр» неповоротливо толчется лишь на весьма ограниченном пространстве двух десятков страниц. Что еще допустимо при работе

² Еще один довод в пользу спокойного тона при обсуждении текущей словесности. Не возводить, ожидая, когда писатель «отгадает» задуманное критиком «словечко», свое непонимание в принцип, а довольствоваться тем, что есть, что имеем. Не из-за сложности ли подобного подхода мы наблюдаем сейчас в критике то, что наблюдаем: реально играющих критиков — раз, два и обчелся.

³ «Заметки о культуре и современности» в книге «Парадоксы новизны».

над статьей или рассказом, но весьма существенно затрудняет работу над повестью или романом. Которые вынуждены существовать виртуально, во чреве загадочного процессора, который урчит по ночам и вообще живет своей, какой-то загадочной жизнью. Здесь невозможны весьма важные тактильные ощущения от наработанного — не только толщина или запах бумаги, но и аутентичное соотношение частей между собой. И даже если принтер тут же добавит только что отпечатанную главу к стопочке уже обжитого текста, сама эта глава, пока, в процессе работы, записывания, находится внутри *machina*, и объем ее является весьма абстрактным. Существенное следствие этого — усложнение композиции, которая начинает распадаться на инкапсулирующиеся и мало связанные между собой файлы. Когда переход от одного файла к другому требует выполнения набора определенных операций. Компьютер дает возможность бесконечной работы над отдельными кусками текста. Их можно править, менять места, вырезать или вставлять, подбирать синонимы... Можно устроить охоту на служебные слова или слова-паразиты, можно совершенствовать свой стиль до изнеможения. Но лишь частями, по частям. Что провоцирует членение текста на многочисленные краткосрочные эпизоды, развивающиеся, покуда хватит писательского дыхания.

Другой важной особенностью зачатого в компьютерной пробирке текста оказывается его мнимая бесконечность. Развертываясь, подобно некоему древнему свитку, он имеет вполне осязаемое начало, но, строка за строкой, набранные абзацы уходят куда-то вверх, исчезают за кромкой экрана и уступают место новым и новым комбинациям знаков. Которые, пройдя точно такой же путь, как и их многочисленные предшественники, исчезают целыми армиями, не исчезая. Точно каждый раз забываешь закрыть вторую скобку, размыкая высказывание в бесконечность. Даже формальное окончание текста и заключительный аккорд не избавляют от странного ощущения незавершенности. Мирволя новым творческим подвигам и трудовым свершениям.

Все вышесказанное дает возможность решить проблему сюжетостроения, сделав сам сюжет, его мутации и непредсказуемые изменения важной составляющей семантики, идейно-смысловой стороны текста. Когда сюжет становится таким же персонажем, как и населяющие его страницы жители. Когда оригинальное композиционное решение оказывается оригинальным авторским открытием и, значит, вполне непредсказуемым и потому занятым. Ничего нового в этом нет. Раньше так уже бывало: эмансипация отдельного индивида, повышение интереса к жизни отдельного человека обуславливало актуализацию «субъективных» жанров. Вспомним обстоятельство возникновения эссе, подьемы популярности эпистолярного жанра, новации в повествовательных моделях. К примеру, Ницше, характеризуя поэтику Стерна, ввел понятие «бесконечной мелодии»: «если только можно выразить словами такой стиль искусства, при котором постоянно нарушается определенная форма, рамки ее раздвигаются и она обращается во что-то неопределенное, так как, означая собой одно, она в то же время означает и другое...» Нам здесь важна констатация бесконечности «мелодии», ее принципиальная формальная размытость, неопределенность. Показательна и сама апелляция к музыке, не имеющей однозначного «прочтения»: сам композитор, исполнитель и слушатели воспринимают как бы совершенно разные, параллельно звучащие произведения. Подобная вариативность оказывается возможной и в повествовательной словесности. «Отступления Стерна от рассказа служат продолжением и развитием фабулы; его сентенции заключают в себе в то же время и насмешку над всем сентенциозным, его отвращение от серьезного происходит от свойственной ему способности, при которой, взяв известную вещь, он не может изобразить ее только поверхностно и внешним образом. Поэтому у настоящего читателя он вызывает чувство неуверенности в себе — он сам не знает, ходит он, стоит или лежит: это такое чувство, которое напоминает собою парение в воздухе. Он, этот самый изворотливый из писателей, часть изворотливости уделяет и своему читателю. Стерн совершенно неожиданно меняет роли и так скоро делается читателем, как тот становится автором; его книга похожа на театральную сцену...» В нашем же случае театр достаточно заменить на видеоприставку с компьютерными играми⁴.

Потом случались и более радикально настроенные времена. Модернизм решал проблему сюжета за счет новых «космогонических» устройств, где физика другая, время и пространство замороченные, оптика и сила притяжения иные. Соответственно все может происходить как-то по-другому. Еще один способ из модернистско-

⁴ Кстати, недавно кто-то из критиков предсказал Стерну и Жан-Полю бешеную популярность в недалеком будущем, объявив их писателями XXI века.

го арсенала, преодолевающий тупиковость традиционного схематизма, — привлечение в качестве сюжета самих стилевых приемов. Когда содержание мысли неотделимо от ее формы, стиль и становится сюжетонесущим элементом (вспомним «потоки сознания», знаменитый монолог Молли Блум, *et cetera*, *et cetera*). Любопытно, что два этих момента как-то очень серьезно между собой увязаны в единый узел. Ибо ничто так не способствует созданию самостийной картины мира, как особо выстроенное письмо. И наоборот. Важно, что мы-то думали — история, институтский курс, а тут самая что ни на есть актуальность выходит, самая современная современность. Лаборатория романых форм! Композиционно-стилистические заморочки рассыпанных по журналам текстов оказываются свидетелями копирайта, опознавательного или товарного знака. Потому-то и необходимо усилие вхождения в Иное. Когда автор не бежит навстречу своему Магомету, но поджидает его на своей территории. Имеет право! Потому-то и падают тиражи, потому-то с непривычки так тяжело читать — необходим тренированный и гибкий механизм отстранения от привычного, накатанного, как бы традиционного. А на самом деле, по лени и нелюбопытности, просто более удобного. Но ведь любые трудности, трудозатраты сторидей вознаграждаются особенной пластичностью и неординарностью восприятия. По большей части, конечно, текстами подобного рода «грешат» «молодые» издания, весьма охочие до всего нового. Однако постепенно и самые суровые мастодонты осознают необходимость жанровых мутаций. Ибо в чистом виде жанр сейчас можно использовать либо в коммерции, либо в пародии.

Тут надо еще отметить радиоактивный след традиционного недоверия и силу инерции романтических мифов, связанных с писательским ремеслом, — гусиное перо, рабочий беспорядок, рисунки на полях... Мерцающая хладнокровность ровно работающей машины никак в такую схему не вписывается. Поэтому первые отзывы о текстах подобного рода были переполнены явно негативными коннотациями. Показателен в этом смысле отзыв Александра Вяльцева о творчестве Виктора Пелевина: «Сразу оговорюсь: никакого Пелевина не существует. Есть лишь «цепочка светящихся сообщений на экране дисплея». Оттого и пишет он так (*sic!*) нечеловечески бесцветно, оттого и сюжеты у него сплошь сконструированы, словно куплены в глянцевого коробке в отделе «моделист-конструктор» в Детском мире, — из штампов речи и полузабытых абстрактных идей. О жизни он имеет совершенно фантастическое представление, высиженное в лаборатории студентом-практикантом из технического вуза». Достаточно симптоматично, что в «машинном ладе» подзревает писатель, виртуозно конструирующий свои замысловатые построения, за что не единожды был наречен критиками «русским Борхесом». Кстати, его последний роман «Чапаев и пустота», напечатанный «Знаменем», — еще одно свидетельство дальнейшей компьютерной экспансии в творчество писателя.

Самой непосредственной иллюстрацией влияния «компьютерного вируса» на композиционное построение является конструкция журнального варианта романа Владимира Шарова «Мне ли не пожелать» («Знамя», 1995, № 12). Части которого словно призваны отобразить в точной последовательности этапы загрузки самого компьютерного организма.

Публикация открывается историей трех сестер Лептаговых, работавших в доме чайных церемоний, открытом в начале 90-х годов в Москве одним предприимчивым человеком специально для японцев. Начинается роман нарочито тривиально, как некий квазижурнальный текст в духе «исканий прозы» последнего времени — реалии нового, внезапно удвоившегося времени, экскурсии в историю некоего рода (в данном случае Лептаговых) как метафизический парафраз русской истории, нечто историсофское и литературоцентричное а la Пьецух или кто-то другой, примеров не шесть. Историей здесь, как и в построениях подобного толка, оказывается не то, что было на самом деле, но то, что сохранилось в устных или письменных текстах того или иного времени. Подход совершенно книжный, нескрываемо лабораторный. И потому совершенно естественно переходящий в трактовку одноименной чеховской пьесы, в которой сестры Лептаговы мечтали сыграть, да все вышли. Часть эта, хоть и первая, но зато самая компактная и как бы самая важная — без нее все остальное не воспринималось бы так, как нужно автору. Именно эта часть (аналогичная процессу загрузки ДОСа, основной операционной системы компьютера, которая, собственно, и обеспечивает работу всей системы) позволяет последующие части романа выдерживать в более или менее чистых, без примесей, дискурсивных масках. Она создает необходимую дистанцию — отстраненность, задает систему координат, позволяет без сбоев работать всему остальному массиву.

Следующая часть. ДОС загрузилась и, минув баскетбольные поля Norton, мы выходим в текстовой редактор. Пусть это будет Microsoft Word. Автор щелкает

«мышкой», загораются и исчезают важные (и не очень) окошки программы. По объему (каких-то две странички) они так же малозатратны, но существенны и незаменимы. Окончательно оторвавшись от земли, мы делаем еще один решительный шаг в разряженные слои атмосферы. Здесь все иное. «В России давно зрело недовольство каноническим текстом Библии, давно и иерархи церкви, и простые миряне ощущали ее неполноту, неоконченность. Ведь Святое Писание, превратившись на апостолах, учениках Господа нашего Иисуса Христа, так и не было продолжено, будто Господь больше не являлся людям, больше не говорил с ними». В. Шаров рассказывает о некоем грандиозном плане модернизации Священного Писания, которую затеяли партия и правительство, озаботив почетной обязанностью лучших представителей Союза советских писателей. Был разработан подробный план, и лучшие перья приступили к работе. Льготы и почет они получили исключительный, но и ответственность, сами понимаете, да-да, не шуточная. «Структуру третьего Завета, призванного дополнить канонический текст Библии (прямо это сказано все же не было), решили оставить прежней, такой же, что была и в двух предыдущих, а именно: книги законоположительные, исторические, учительные, поэтические и пророческие...» Выше только звезды. Атмосфера-стратосфера, дальше со всеми останками. На такой теософской (по духу) ноте мы и входим в пространство свободного файла, «документа 1», где любой желающий да умеющий волен проявлять своеволие и здоровую творческую злость. Эта часть в принципе бесконечна, как полотно Пенелопы или разговоры о погоде. Шаров выстраивает ее как жизнеописание неудавшегося композитора, но гениального хормейстера Владимира Лептагова, чей хор «Большая Волга» был средоточием российской истории XX века. Именно здесь, а не в Кремле, находились реальные рычаги власти. Именно здесь в результате заговора скопцов и эсеров, осуществленного по заданию своей партии best-овой Бальменовой, вызрела октябрьская революция и прочие красоты стиля.

Можно было бы сказать, что эта часть повествования выдержана в нарочито бесцветном стиле такой усредненной монографии-биографии (родился-женится), если бы Лептагов постепенно не выходил из поля читательского внимания, заслуживаемый более значимыми с точки зрения вечности событиями. Получается, что Лептагов, как персона отработанный в самом начале «документа», уходит с экрана дисплея, уступая место некоей мистрии, разыгранной на темы и мотивы отечественной истории. Но не той, что была, и даже не той, что могла бы, с некоторыми допущениями в духе «романтического материализма», быть. Шаров выстраивает совершенно свою «космогонию», где смешаны одновременно Ветхозаветная (романист даже нисколько не маскирует аллюзии и заимствования, которые выглядят здесь как комочки в манной каше) линия и соц-артовские арабески с вкраплением многочисленных реалий дохрущевского периода. Эти пласты плюс собственно романная, мистериальная «история» накладываются друг на друга, точно нарисованы на кальке, и смешиваются в странный, прихотливый рисунок. В котором Лептагов и все остальные персонажи выполняют роль колесиков-винтиков сюжета, ничего особенного из себя не представляя. Так, завитки-виньетки, не больше. Множатся, наскакивая друг на друга, подробности и события, коих могло бы хватить не на одну энциклопедию. Не успеваешь зафиксировать или тем более привыкнуть. Биограф Лептагова проговаривает их походя, в ритме чуть ли не рэповском, угарном. Правдоподобие, подробности, кони, люди оказываются не важными. Несущественными. Куда важнее общий фон еще одной завиральной теории, главное достоинство которой — непохожесть на все предыдущие. Куда ценнее сама возможность нести ересь, выстраивать свои, не заемные (а если и заимствованные, то лишь отчасти, одного литературного хулиганства ради) параллельные ряды.

Обратимся к роману Александра Бородыни «Гонщик» («Октябрь», 1995, № 10), чья структура (впрочем, как и очевидная обильная многопись писателя) так же выдает технологическое вмешательство в творческий процесс. Здесь, как и в романе В. Шарова, действует не логика жизни, но «машинерия чудес» (В. Кальпиди), призванная воплотить иррациональные фантазмы коллективного совкового подсознания. Бородыня создает виртуальный лабиринт, лишенный тигров и благородства, свойственных конструкциям такого рода. Здесь нет даже зеркал, одни только обманные зеркалки: «единственное, что тут необычное, — гипсовые стекла. Прекрасная выдумка. Днем они прекрасно проводят свет. А ночью скрадывают все — даже лунное сиянье»⁵, как некогда высказался Вильгельм Баскервильский в одном из самых компьютерных романов.

⁵ «Недаром в доме все зеркала из глины...» (Б. Гребеншиков). «О, глиняная жизнь!» (О. Мандельштам).

Текст Бородыни предельно дискретен, делим. Небольшие части делятся на еще более компактные главки, которые, в свою очередь, членятся на маленькие кирпичики. Сюжет разбегается сразу врозь, пучком. Как съехавшие дуги троллейбуса или рассыпанные бусы, так что если продолжить выстраивать романную структуру в заданных писателем направлениях, все эти линии, может быть, и сойдутся в один пучок. Но где-то уже далеко за сценой. При всем при том окольные пути и петляния не создают впечатления какой-то особой разболтанности или провинциальности. Все достаточно ладно сбито и, главное, динамично слажено: день-ночь, сутки прочь, хрясь-брясь, главы-голова как не бывало. Все неумолимо, точно загнипнотизировано согнанное в какие-то правильные фигуры-ряды, движется к отсутствующему финалу.

Он плетет свои затейливые кружева поверх черной дыры зоны. Ибо только Зона (тюрьма, лагерь) — единственное, что остается в этом круговороте неизменным. Была, есть, будет, всех нас переживет. Описание ее требует особого стиля, языка, логики. Сказовые интонации работают на эпичность дыхания, на искусственное попадание-раздражение архетипических центров⁶. Поскольку Бородыня предельно ограничен пространством (в Зоне особо не разгуляешься!), он расширяет временные границы, вводит излюбленный для «магических реалистов» прием множественности миров и вариативности истории. Однако не история в ее поступательности, пошаговой последовательности его интересует. Роман работает над созданием общего, вне скреп сюжета, впечатления. Психологически понятно, откуда нагнетание это самое: когда вдруг, посреди ночи, накатят воспоминания о будущем (от **тюрьмы** и сумы не зарекайся), картинки да тошнотворные **запах**и, и в них, подернутых страхом и ужасом, все зло, тупость, все вонь сливается-застывает в одну злую и вонючую точку, болванку такой тяжести, что нет сил вынести, нет мочи держать удар. Но — чу! Видение отступает, откатывается прочь, можно, отмучившись, заснуть. Только бы больше не думать. А если это не какая-то там неволя, но всеобобщающий символ, метафора, так сказать, нашего существования? Зона как прообраз мира, как космос, холодный и равнодушный. Кафкианский навязчивый морок, с бесконечными пространственно-временными лабиринтами и отсутствием (Расея!) даже намек на порядок. Тот же «Архипелаг ГУЛАГ», но не фактологический, реальный, а подсознательный, **подпольный**, страх страха, сон о сне. Концентрированное воплощение неотвязного кошмара, кусок дымящейся совести.

Особенно поражает огромное количество смертей и та легкость, с какой обреченные люди на смерть идут. Вот уж точно заговоренные! Ну прямо панорама Бородинской битвы, где, если приглядеться... Нет, лучше не вспоминать об этом. Персонажи вспыхивают и гаснут в «Гонщике» не как спички даже, но как искры, рассыпающиеся из-под точильного авторского ножа в множестве превеликом, одна-две, десяток — роли (!) не играет. Фигуры-функции, отрабатывающие свой участок факельного шествия и передающие огонь дальше, следующим. Все это нескрываясь напоминает компьютерные игры, причем именно самые простые, нарочито незамысловатые, неповоротливые игры. Изобретатели коих нисколько не заботились о хоть каком-то правдоподобии. Главное, чтобы длилось-продолжалось, выходило на новые уровни сложности прохождения, не давало сбоев, вело к финалу. Победительно — за волю к победе — приз, призовая игра, возможность запустить механизм еще раз.

Понятно, зачем это бесчисленное число статистов, умирающих, сгорающих (буквально) в самых нелепых позах. Как и у Шарова, здесь не подробности важны, но общий дух построения, то послевкусие, что останется, — ощущение перманентного, выгнутого лентой Мебиуса нескончаемого кошмара. Который не отпускает ни наяву, ни тем более во сне. Засыпая, отдельная особь рода человеческого подключается к всемирному Интернету бессознательного, путешествует-скитается там, что твой Улисс-Одиссей. И, вымотавшись окончательно, с облегчением просыпается в менее ужасном (несмотря на всеобщую барачность) мире. Не случайна фраза о некоей Лиле, что «не смогла понять, проснулась она или, напротив, сон ее стал глубже».

Перевод писательства в статус виртуального рукоделия, лишено обязательной материальной подосновы, мирволит внедрению в текстовую ткань всевозможных бестелесных, невидимых обычному глазу сущностей. Оно и понятно — уютная однозначность враз оказалась разрушенной. «Научная картина мира» — да что это

⁶ Новый роман А. Бородыни «Цепной щенок» («Знамя», 1996, № 1), построенный на обыгрывании инцестуальных мотивов, лишней раз подтверждает целенаправленность работы писателя с архетипическим.

такое?! Многого, многого хотите! В трещины, образовавшиеся в монолите позитивистского сознания, хлынули всяческие смыслообразующие инфернальности. Так литератор оказывается сродни летучей мыши, улавливающей ультразвук. Нет, о том, что все не так просто, не так однозначно, догадывались как-то и раньше. Однако только теперь проблематика нового онтологического строительства явилась во всей очевидности. И предельный авторский солипсизм тому порукой. Теперь, когда писатель получает в подручное средство возможность не линейного, не плоскостного — во всех отношениях — решения хронотопа, **онтологическая физика**, как никогда, может претендовать на широту и всеохватность.

Свежеорганизованный уральский «процесс-журнал» «Несовременные записки» в качестве главного прозаического козыря-гвоздя предлагает в первом номере метафизическо-стилистическую мистерию Леонида Соколовского «Ночь и рассвет». Что-то в духе нового «Фауста» (причем больше второй, нежели первой части). «Неужели вся эта головокружительная, как вечный удар, твердь воли и рождения и присутствия не разорвет наш разум и не повелит нам быть свободными от пределов, которые есть мы?»

Если верить иудейскому теософу Адину Штайнзальцу, «человек, исполняющий заповедь, молящийся или направляющий мысли ко Всевышнему, создает тем самым ангела... связанного самой сутью своей с человеком, породившим его, но тем не менее существующего в другом измерении бытия». Роман двадцатипятилетнего Соколовского как раз и живописует «другое измерение», где существуют и взаимодействуют с измерением «нашенским» Судьи, то есть злые молитвы. Ибо когда человек судит другого, рождается Судья, «еще одно к легионам несчастных существ, чертящих в небе безумные зигзаги». Нужно побороть эту «пятую колонну в сердце каждого человека», тогда, может быть, и мир качнется вправо, качнувшись влево. По Соколовскому, все в мире опутано кровеносной системой причинно-следственных — из песни и то слов не выкинешь: ничто на земле не проходит бесследно. Уж если обычный плевок «на полпути обратился в крохотного стеклянного человечка, который задумчиво покружил над их головами и медленно полетел прочь», можно представить, каких перемен следует ожидать от более глобальных действий. Так возникают в романе мириады микробных Судей, а затем, со второй главы («Читатель, радуйся! Буду писать о людях»), и некие антропоморфоподобные персонажи. Однако автору важно проявить их на фоне стилистического ландшафта. Как если бы они, прозрачные, возникали из слов и клубов описательного марева, написанные, точнее, выписанные из пейзажа. «Как из зыбей, поднимался из Земель творения новый Марк». Такие метаморфозы возникают порой по протекции визионерских гравюр У. Блейка, на полотнах попсового Дали. «Сережа медленно шевелил пальцами и знал: там, снаружи, так же медленно шевелятся потоки и вихри, истечения земли, невидимые облачка, слепые пятна печали о тех, кому не дано лица».

Сам Соколовский только подчеркивает нарочитую прерывистость («Бытие стало отрывочным») и многоплановость, многоэтажность (где на каждом этаже — жители определенного сорта) построения. Как если бы однажды он рассортировал их по файлам, вызывая по очереди то один файл, то другой. Каждый такой отрывок стремится к самодостаточности, замкнут на себя, снова и снова задавая внутри своего «этажа-ангара» очередную систему координат — у людей, у судей или у покойников на кладбище. Самоценные лепесточки файлов на стволе корневого, связующего каталога. Что, кстати, делает роман неровным. Но, с другой стороны, способствует появлению сильных, как бы не зависящих от общего фона кусков. В их числе — кладбищенский бунт и завоевательский поход покойников на город: «На земле происходит Великое Соитие Жизни и Смерти. Поэтому необходим великий групповой секс между живыми и мертвыми».

Происходит масса событий, интересных и не очень. Постепенно становится очевидной авторская сверхзадача: все изображенное — не что иное, как символ прихода Весны Священной. То есть подоплека становления Весны, выраженная в цепочке логически объяснимых событий. Этакий мистериальный балет, хореографическая сюита. В финале которой «страх смерти исчез из мира».

Опубликованный в «НЗ» роман — лишь первая часть трилогии «Книги об утрае». «Чем больше времени — тем сильнее мы живы, ибо живем мигами, не протяженностью, как лес, — а из смертей, из вызовов Смерти, из воспоминания о смерти растут эти миги». В опубликованной постфактум беседе автор нарочито вызывающе перечисляет среди предшественников и оказавших влияние персон такую вот команду: «Кант, Хайдеггер, Бубер (хотя это в последующих частях романа); Бергсон, Манделштам (от него я почерпнул больше философии, чем от толпы именных философов), Аквинат и неотомисты, Толкиен (не могу его здесь не упомянуть),

прочие английские католики; Лосский-сын, Флоренский... Наверняка я забыл кого-то очень важного». Участвительный собеседник с позволения автора добавляет в этот же список Платона и Шопенгауэра. Действительно — сознание практиканта-лаборанта, в пробирке выращившего странный, ни на что не похожий цветок.

Прямоговорение обесмысливает саму процедуру поисков смысла — значит, разговор о метафизических проблемах и должен выглядеть как набор междометий, воздушных ям и опущенных звеньев, отчаянной жестикуляции и штампованных фраз, в котором невербализованный момент довлеет над сформулированными обломками чувства. «Ну, вы же понимаете» или что-нибудь из Канта или Хайдеггера, напрямую с темой разговора не связанное. Мерло-Понти: «Так называемые «мысли» по этому поводу — это не более чем эмблемы употребления жизни, словесные обозначения духовно-телесного единства, которые могут быть узаконены только при условии, что они не будут приниматься за смыслы». Поневоле оценишь деконструктивный пафос Деррида, пытающегося навести порядок за сценой театра мысли — фанерные декорации пообносились, облезли и в таком виде стали еще более неповоротливыми и цепляющимися. Разговор о метафизических проблемах возможен только помимо слов. Это и есть представление, возникающее из фиксации энергетике, «запах», едва уловимых жестов или перемещений зрачка. Мысль, точнее образ мысли, переправляется напрямую, без посредников (которые совершенно закономерно требуют за свое посредничество взду, маленький процент, состоящий из омертвелостей и штампов), из лба в лоб, из глаз в глаза. Метафизика не нуждается в фиксации на пространстве всеобщего, в гирляндах компромиссных слов. Это как сны, у каждого сугубо индивидуальные. Вот она, благородная сверхзадача, блин, искусства — не жанрами баловаться, голливуды или бродвей обгонять пытаясь, но выстраивать некие конструкции, «метафорические арматуры» (В. Подорога), чтобы, помимо жестов и слов, сразу же на «подсознание» — точно лазерными, косыми лучами...

Тут-то крохоборческий, подбирающий каждую мелочь-деталь и из этого ласточкино гнездо лепящий стиль Андрея Левкина, опубликованного в новом питерском литературном журнале «Ё» «Письма к ангелам», очень даже полезен будет. По форме это совершенно раскованное и уже ничем не сдерживаемое повествование. История рассказывается не через фабулу, но через само письмо, письмом. «Вопрос в том, чтобы узнать свою империю». Пятая колонна Империи состоит из Ангелов. «Ангелы — небольшие, в размер жизни, их нельзя использовать, иначе они быстро кончатся, изотрутся. Ангелы не размножаются, потому что они даже не растения. Когда из пустоты приходит тело, оно всегда опасно: у него слишком много мяса, чтобы ничего не весить. У каждого ангела длинные ноги и большие плашмя крылья — чтобы быть с ними где угодно... Все ангелы млеют от Шопена. Он кажется им похожим на себя, он для них как старший брат из Америки, у него есть руки, а у них тоже, но такие слабые». Левкин составляет их классификацию, методологически близкую системе из китайской энциклопедии. Той, что вдохновила Мишеля Фуко на создание «Слов и вещей»: «Каждой из этих необычных рубрик можно дать точную интерпретацию и конкретное содержание; но, выделяя их, китайская энциклопедия как раз препятствует возможности отождествить их со всеми прочими». «Ангел может быть песком, сначала в котором утопают ноги по щиколотку, потом дальше, потом это будет почти гора, вроде по которой надо взобраться, а песок, то есть куски ангела, падает сверху, сыпясь еще раньше, чем ты сделал по нему шаг, и человек просыпается в испарине и оба его глаза смотрят не туда».

Так уже было, когда Хлебников составил свой «Сад» из нелогичных и непредсказуемых перечислений. О, Сад-Сад, где логика выносятся за скобки, за такт. И тогда сюжет переносится «с той стороны зеркального стекла» на эту, к нам. Сюжетом становится не внутреннее устройство текста, но наше с ним взаимодействие. То есть текст как бы объективируется, получая еще одну степень отстраненности-дистанцированности. Он живет сам по себе, а мы, вставляя его в свой компьютер, сами по себе. «Ангелы второй степени глядят на человека уже как на что-то, немного более похожее на правду, и уже не сидят у него на плечах звездочками на погонах, но заведуют его печенкой. Ангелы второй степени слишком похожи на болезни, чтобы о них знать откуда-то, кроме медицинских справочников». Так чтение превращается в путешествие. Сиюминутные тревожения, перерывы или отлучки индивидуализируют прочтение, делают его сугубо сугубым. Есть равномерно дышащее равномерными периодами тело письма. Оно гомогенно, монохромно, одинаково. Но на его ровной поверхности скачет-скачет курсор внимания. «Ангелы третьего снизу сорта носят сапоги. Они стоят кружком вокруг человека, а тот еще почему-то рад, что их достиг. А они — существа непонятные, вроде таможенной службы: чего, соб-

ственно, ты тут попал здесь? Или же, что, тебя не устраивало то, что после того, как тебя отпустит печень, тебе станет очень хорошо?» Просто аутентичность прочтения недостижима в принципе. Понимая это, ангел как бы успокаивается на твой счет и начинает существовать в заданной, то есть автономной, программе. Хочешь не хочешь, а все равно ангелы у тебя, как и тараканы в голове, строго несимметричные. Текст — зеркало, кривое или треснутое, но. Там — тайна, там — ангелы. «Ангелы пятой степени похожи на кресло-качалку: у них скрипучий язык, учить который нет смысла, потому что для них все, кроме них, в тягость. А более всего этот скрип похож на то, как продевают иголку сквозь кожу». Новая повествовательность и есть освоение той методы, когда ангел идет не к вам, но от собственной сущности. Требуется допуск и кой-какие навыки умения говорить не на своем языке. «Ангел-хранитель любого человека есть он сам, умерший, когда понял, что умрет». Все это имеет такое же отношение к чтению, как и к жизни, да-да, жизненному существованию. «Там, тогда начинается очень жаркая осень и трава сухая на ощупь, трава пахнет сеном, ангелы пахнут книгами, книги выгорели, словно овцы на травке, и любая грязь засохла в буквы, и это мучает нас, как знает». А как иначе можно живописать эти милые бестелесные существа, как поймать бабочек внутри сюжета, не придавив плитами страниц крылья?

Мерзательная отстраненность-равнодушие экрана дисплея не потворствует особому углублению в психологию. Там, за/на матовой поверхности нет, не может быть людей. Только функции, только маски. Только полчища статистов, призванных для реализации авторского замысла. Особенно очевидно это становится в не менее очевидно компьютерном «Эроне» А. Королева («Знамя», 1994, №№ 7—8). Когда романист резко обрывает, едва разогнавшись, сначала одну, затем другую сюжетные линии. Сменяет тональность и ритм, вообще переходит к «документальным» спискам и реестрам событий (демонстрируя возможности компьютерной памяти бесконечно) или ударяется в квазифилософские отступления. Только что было интересно и дух захватывало, а нет, надо увлекательность заболтать, разрушить, разбавить. Важна не «беллетристика», но фигура автора-демиурга, встающего со всей самим собой построенной вселенной вровень. Ради этого терапевтически пишущему необходимого ощущения все, вероятно, и было затеяно. И здесь автор — один и неделим, все и всё — он, лишь он один, и нет никого больше. И не может никого быть. Потому как это обратная сторона медали авторского своеволия, «я один и разбитое зеркало». Постоянные пользователи знают, как отражаются многочасовые бдения за компьютером на отношениях с людьми, как компьютер отучает от самых простых форм общения. Тем более писателя, изначально, технологически обреченного на одиночество. И не только своей доступностью и податливостью, постоянной провокацией к бесконечной, ничем не сдерживаемой писанине.

Сюжетные построения «компьютерного периода» организуются авторской синдроматикой, являются выражением неповторимой индивидуальности, как если человек человеку — марсианин. Писатель получает дополнительную возможность дистанцироваться, транслируя (освобождаясь) на экранную, то есть объективно иную, нездешнюю реальность, себя самого — от себя самого. Отсутствие прямой необходимости сочинять понятную, узнаваемую, определяющуюся в своих приоритетах литературу делает все это возможным. Литератор может не идти на поводу у жанра, но подстраивать-перестраивать его под себя, под свои надобности. Роман тогда и оказывается хорошим, не симулирующим романное построение и не раздувающим фантазм романских форм, выхолащивая параллельно саму эпическую суть, когда устраивает прежде всего самого автора. Когда он (роман) возникает из глубинной потребности стать еще одним звеном между пишущим и действительностью. Не на продажу, не тиража ради, но собой и для себя. Отсутствие желания понравиться оборачивается дополнительной свободой для маневра. Тогда-то и оказывается уместной авторская логика, встающая в тексте во весь рост. Здесь главное — в сугубые дебри не забраться, середину выдержать. Что, как мне кажется, и составляет для писателя-компьютерщика основу писательского мастерства. Что отличает его от моделиста-конструктора и графомана, который ведь тоже сам себе читатель.



Вячеслав КУРИЦЫН

Свинина могла бы быть более выразительной

В одном из последних номеров старой «Столицы» журналисты опросили некое количество звезд на предмет сказать чего-нибудь про болезни, лекарства, фонари и аптеки и прочие капли датского короля. Владимир Сорокин сообщил, как он лечится от простуды. Берет килограмм лимонов и кастрюлю холодной воды. Кастрюлю ставит в холодильник, чтобы вода вовсе заледенела, а лимоны чистит. Потом высасывает ноздрями полтора литра морозной жидкости, ложится на горизонтальную поверхность типа «диван» и ест лимоны, как яблоки. Говорят, кстати, что есть некоторые слаборазвитые страны — то ли типа Швеции, то ли Южной Кореи, — где люди доверяют печатному слову.

Это все — вроде как эпитафия к сегодняшней теме. Но что нам известно о статусе эпитафии? Не более, чем известно вообще о механизме предстаний и воследований. Служит ли эпитафией кавычка, открывающая цитату из «Тибетской книги мертвых»? Служат ли моим эпитафией слова, которые слышала мама от соседок по палате в последние минуты перед моим появлением на свет? Есть ли дождь — эпитафия мокрых зонтов? Можно ли назвать аперитив эпитафией обеда?

Итак.

Показательно не только то, что в Москве произошла филологическая конференция, посвященная «Еде и питью в русской литературе». Показательно, что «все газеты» (под каковым словосочетанием в узкогуманитарном контексте полагаются «Независимая», «Сегодня» и «Коммерсант-Дейли») опубликовали об этой маленькой — однодневной — конференции обширные и подробные отчеты. В то время как по крайней мере в двух из этих изданий вообще нет традиции писать про научные сборища, тем паче подробно, тем паче про филологические, то есть сугубо маргинальные.

И вряд ли причина такого интереса во всемерном уважении к редакции «НЛО», которая эти чтения организовала.

Привлекла, конечно, тема: надо же, про еду и питье. Но привлекла, мне кажется, не столько экзотичностью, сколько, напротив, уместностью и своевременностью.

Есть много способов объяснить, почему весной и летом текущего года хочется говорить о еде. Хотя бы потому, что еда — это всегда интересно и говорить о ней никогда не скучно, как, впрочем, и употреблять ее по более известному назначению.

Или, согласно версии, высказанной Александром Чудаковым, литература циклируется на еде в некие переломные моменты. Когда то есть ломается сама литература: не суть важно, ломается при этом что-нибудь еще вокруг. Благоклонен к жратве, по Чудакову, постмодернизм. Весь прошлый год Чудаков читал романы, выдвинутые на Букеровскую премию, и обнаружил, что чем больше постмодернизма, тем больше еды.

Среди романов, читанных Чудаковым, была и «Эротическая Одиссея» Андрея Матвеева, фаршированная такими, например, сценами.

«— Как ты относишься к китайской кухне? — спрашивает своего друга-сотрапезника Ф. З.

— Замечательно, — говорит Д. К. и приступает к поглощению салата из маринованных куриных шкурок, смешанных с дальневосточным папоротником.

— Это надо запивать! — серьезно говорит Зюзевякин, отправляя в рот какую-то смесь из грибов, улиток и креветочного мяса.

— Подогретым вином, — так же серьезно отвечает Каблуков и принимается за редкую рыбу серебрянку, доставленную к сегодняшнему столу прямо с побережья Южно-Китайского моря.

— А фаршированные свиные ножки ты любишь? — еще более серьезно спрашивает Зюзевякин.

— Если только с грецкими орехами...»

Некоторая наивность дискурса (должно акцентировать: автор знает, что определенные ножки где-то принято есть с определенными орехами) только подчеркивает интенцию. Нам сообщают о том, что есть хорошо, а хорошо есть — еще лучше.

В совокупности же с тем легким фактом, что практически весь роман Матвеева посвящен еде и плотской любви (и то, и другое описано с нескрываемым удовольствием и с каким-то, я бы сказал, удивительным историческим оптимизмом), напрашивается естественный вывод. Эпоха постмодернизма, заткнувшая вонючим кляпом интертекстуальности и прочих нерусских слов ту заветную щель, посредством коей привыкла воспарять в объятия цельномолочному Логосу пронзительная отечественная душа, любит потреблять много и разнообразно. Любит не только удовлетворять желания, но едва не больше любит желать — продуцировать все новые и новые потребности. Потому ее суетливые рыцари и возбуждают с утра до ночи и от заката до рассвета мирную публику, сую оной под сопатку всяческие лакомые картинки. Ну, или в случае Сорокина с его ледяными лимонами на лубяном диване — не очень лакомые, но не менее от того возбуждающие. Острые ощущения без паспорта лезут в пресыщенный ум. Это как тарзанка в Парке Горького: платишь кучу денег, чтобы сигануть вниз головой с пятидесятиметровой высоты, а потом болтаться на резинке с глупейшим выражением лица и желудка. Гоги прыгнул, Руслан прыгнул, Сурен, нытик, и тот был мужчиной, прыгнул, а я как не прыгну?

Но дело, конечно, не только в идеологии общества потребления или постпотребления. Дело еще и в поиске достоверностей — каких-то таких надежных вещей, истинность которых признается достаточно большим количеством, как это теперь говорят, наших экспертов. Еда — есть. Ее можно осознать, обонять, видеть и кушать. Совесть, честь, нерукотворный Логос и даже его величество симулякр — это все вещи глубоко сомнительные. Тактильной, во всяком случае, экспертизе их никто должным образом не подвергал. Почти не приходится слышать, что кто-то подавился костью от Логоса нерукотворного маринованного или был прохвачен поносом от симулякров с просроченным сроком годности. Бога нет, как известно, уже больше ста лет, да и евархистическим вкушением от тела Господня не будешь сыт более двадцати минут в год. Хочется чего-то надежного. Культура еды существует удивительное количество столетий, и с изрядной степенью уверенности можно предположить, что будет существовать и еще какое-то время. И норвежская кухня с ее плюондюлингами и бебебезушечками в сметане ничуть не мешает русским блинам с икрой, вылущенной из русских же рыб. Плюрализм, согласитесь, редкий.

По Теренсу Маккене, автору интеллектуального супербестселлера «Пища богов», и на свет-то Божий человек появился исключительно благодаря еде. Не в том смысле, что обезьяна, которая не ела, не смогла бы стать человеком по причине изнеможения организма вплоть до полной его аннигиляции. А в том смысле, что ту роль, которую Энгельс, скажем, отводил труду (когда обезьяна взяла в руки палку, она стала человеком: впрочем, не уверен, что эти «Рога и копыта» есть истинная цитата из классика), Маккена отводит псилоцибиновому грибку. Что такое произошло, что были-были обезьяны, а потом вдруг стали люди, а объем мозга за короткий срок увеличился в три раза? А то, что наши предки накушались сних псилоцибинов, кои изменяют сознание таким образом, что оно, сознание, хочет помыслить себя со стороны. Включается механизм рефлексии — так, собственно, и проявляется человек. Не путем зерна, а путем еды. Дополнительно важно, что произрастают означенные псилоцибины на коровьих лепешках, то есть и сами являются, так сказать, побочным результатом еды.

Семиотика и философия пищи — тема богатейшая. На упоминавшейся конференции ей отдал щедрую дань, например, Сергей Зенкин, представивший доклад о Ролане Барте как семиофаге. Барт, в свою очередь, строил мудреную концепцию насчет того, что европейская кухня репрессивна и блюда в ней похожи на «убранных покойников», а восточная, напротив, нерепрессивна. Не составляло бы большого труда свести эти рассуждения в одну цепочку со, скажем, замечаниями Игоря Смирнова о том, что изоморфизм между похоронным обрядом и приготовлением пищи довольно очевиден. «Мы ставим себе на стол убитое убитого и мертвое мертвого — вяленое, сушеное, жареное, вареное, скисшее, сгнившее, отбитое, размельченное, отмокшее, разъеденное солью...» Естественный соблазн оптимистично потолковать о близости между едой и смертью мог бы нас привести сначала к перечислению бесчисленных случаев «еды у гроба» (у Платонова, у Мамлеева, у Довлатова, у кавалера Гримо, еще одного героя конференции, который, разослав приглашение на свои похороны, встретил пришедших изрядным пиром, а в другом случае за спинами пирующих стояло по гробу). Обойдя стороной не вдохновляющую нас тему канибализма (но сказав мимоходом пару теплых слов на тему близлежащей некрофилии), воспев очередную хвалу Персикову и Сорокину, мы уткнулись бы в неизбежную «Волшебную гору», в волшебные сцены, в коих Ганс поит и кормит с

ложечки умирающую от всех возможных (в том числе кожных) болезней барышню. Где-нибудь в конце тоннеля таких рассусоливаний нас ожидало бы слияние с архетипом воблы или огурца.

Но сейчас нам интереснее не философия с семиотикой, а поэзия пищи. Песнь, пропетая Кириловым севрату на мотивы «я еще не хочу умирать», коснулся всяк сущего здесь чужого уха. Едологические рассуждения другого классика — «килограмм салата рыбного в кулинарии приобрел» и «целу курицу сгубила на меня страна» — легли в фундамент мироощущения многих миллионов русских любителей изящной словесности. Вайль и Генис самую, может быть, веселую свою книгу написали о еде — «Русская кухня в изгнании».

Но как сотни и тысячи маленьких ручейков, пробиваясь сквозь лесные чащи и болотистые местности, образуют вместе прекрасную могучую реку, несущую свои гордые воды к бурлящему океану, как сотни и тысячи скромных тружеников пера порождают глыбы Максима Горького или Льва Толстого, так и все вышеперечисленные любви к еде нужны были, может быть, только затем, чтобы на страницах «Коммерсанта-Дейли» расцвел драгоценный бриллиант Дарьи Цивинной.

Корчует ли невиданный ураган многолетние дубравы, хлещет ли безжалостный град, всемирный ли потоп плещет под ногами, добравшись уже до половины ножки стула и гоняя из угла в угол бумажные кораблики, выполненные отчаявшейся рукой из страниц тома «О вкусной и здоровой пище»... Падает ли доллар, ярятся ли радикальные пройдохи всех мастей, осуществляют ли всемерную возню силы левой и правой реакции... Грозит ли с первых полос экономической, социальная ли катастрофа, проиграли ли наши во все виды спорта — у тебя все равно есть счастливый шанс. Отворить последнюю полосу и насладиться сладкими речами Дарьи Цивинной и ее петербургской коллеги Елены Герусовой, струящимися под ласковой сенью рубрики «Ресторанная критика».

Самое время отжаться бесу цитации.

«Осетрина заливная в коралловом ожерелье из креветок. Копченая севрюга ломтями, с сочащимся слезливым изломом, нежными прожилками, ароматом ольхи, на зеленом ложе из салата. Лоснящаяся розовая лососина с серебристым отливом на спинке, тающая во рту, с каплей отчаянно-кислого лимона и вкрадчивым маслянистым авокадо. Белужий бок подкопченный, полупрозрачный, с иссиня-черными маслинами. Рюмка водки ледяной...»

Белоснежный судак, фаршированный крабами, возлежащими на салате «Оливье» — прочном, основательном, с хрусткими кубиками соленых огурцов и бусинами зеленого горошка... Окорок розовый, душистый, прокопченный, истомившийся на крюке, с пупырчатými малосолистыми огурчиками... Телятина разварная, изнеженная и томная, молочной спелости, с ядреной квашеной капустой, пронизанной духом деревянной бочки. Завитки из ветчины — ветераны советских банкетов, — заключенные в хрустальный мавзолей желе... Постреливающая рыбная скобянка на сковороде. Румяные куриные крылышки с чесноком — кажется, сами запорхнут в рот».

Дальше, дальше.

«Очень вкусны чуть солоноватые, обжаренные во фритюре золотистые сырные шарики, названные делисьезами... Пожалуй, лучшая судьба делисьез — быть вместе с пивом... Очень хорошо выглядит в ресторане рыба по-польски. На ее роль приглашен судак. Податливую плоть судака покрывает цвета сливовой кости нежная шапка масляно-яичного соуса. Блюдо сопровождают очаровательные небольшие шарики картофеля шато и легкая мозаика овощей».

Еще, еще.

«Кусочки груши, ананаса, яблока и банана в хрустящем обжаренном тесте пропитываются медово-кунжутным соусом. Сладкий вкус фруктовых оладий оттеняет лимонный...» Что-то такое лимонное его оттеняет.

Здесь уже не приходится говорить ни об «обществе потребления», ни о «поисках достоверности». То есть можно, конечно, но без вящего энтузиазма: ясно, что такие тексты призваны разжигать аппетит у тех, кто не прочь заплатить \$ 33 за обжаренные тигровые креветки с чесноком, весенним луком и соевым соусом. Ясно также, что тигровые креветки — ценность более очевидная и носочуйная, чем роман из толстого журнала и вздох на скамейке. Но эстетически настроенных нас интересует в этом деле милая, «таящая на языке» эфемерность искусства.

Конечно, к этим текстам полезно относиться как к высокому искусству. Взвзвывая на творения малых голландцев, мы уже как-то привыкли, что это искусство, а не пропаганда известного рода неумеренности. Блуждая по залу античных древностей ГМИИ, где как раз во время написания мною этих строк началась выставка «Сокровища Трои из коллекции Шлимана», даже самые прикинутые барышни вряд ли всерьез завидуют прекрасной Елене, которая имела возможность носить колье, составленное из тысячи золотых деталечек. И самое успешное здесь кино девяностых — полуминутные рекламные ролики — люди смотрят не столько ради предлагаемого пуфика, сколько из интереса к сюжету, видеоряду и эффектному слогану.

Но ресторанный критика «Ъ» не сводится к клиповой демонстрации ярких красок и заигрыванию с доверчивыми вкусовыми рецепторами. Как... ну не знаю, как «Роза мира» Даниила Андреева вводит нас в странный и загадочный мир духов, демонов разных категорий и прочих суккубов, так Цивина и Герусова открывают перед нами не менее inferнальный (а может, и более, поскольку находится не в иных измерениях, где, надо думать, возможно все, а прямо здесь, на нашем или почти на вашем столе) мир смутных сущностей и явлений. Севрюга ВОЗЛЕЖИТ на ложе, а авокадо — ВКРАДЧИВ. Телятина ИЗНЕЖЕНА, ТОМНА и, надо полагать, ЗАНОСЧИВА и КАПРИЗНА. Язык отварной дымится не от жара, а от НЕГИ. Утка утопает В ОБЪЯТИЯХ пряной квашеной капусты. Окорок УТОМИЛСЯ висеть на крюке. Куриные крылышки ПРЫГАЮТ в рот, а ВЕТЕРАНЫ — завитки ветчины покоятся в мавзолее желе. Судак ПРИГЛАШЕН НА РОЛЬ. А лучшая СУДЬБА делисьез, как уже было сказано, быть с пивом. И лексически, и грамматически всячески подчеркивается субъектность, актантность судаков, блинов и какой-то скобянки. Не «порежь, положи в кастрюлю, поперчи», а горошинки СОПРОВОЖДАЮТ свинину. У этих штук какие-то очень свои отношения, в суть которых нам проникнуть не дано.

Мы можем, наверное, их съесть. Но что с того? Фашист мог убить комиссара, но не мог погасить пылающую в его груди алую букву. Мы можем их съесть, но не можем заставить их быть нашими рабами. В крайнем случае мы можем только пожаловаться: «Свинина могла бы быть более выразительной. Во всяком случае, ее можно упрекнуть в пресности». Могла бы, да. Боги могли быть более милосердными. Этот автохтонный мир, о котором — видимо, тоже весьма приблизительно — рассказывает «Ресторанный критика», может выбрасывать на поверхность сгустки и воронки доступных нам смыслов.

Какой-то социальный урок: «Сюда можно прийти с дамой, но не на решающее свидание. Это может быть одна из первых встреч...» И будет вовек несчастен тот, кто придет в этот ресторан на решающее свидание. Боги действительно будут милосердны только тогда, когда захотят этого сами: «Администрация «Пресни» считает, что не имеет права принуждать гостей есть только палочками и не может ставить их перед выбором: суп после горячего или жизнь после смерти». Ни больше ни меньше.

Удивительно в этом проекте вот еще что. «Коммерсант-Дейли» — газета достаточно специфичная. За исключением артистической журналистики Максима Соколова (о ней, надеюсь, мы сможем поговорить в других выпусках рубрики), здесь царствует очень строгий стиль: информация, подоплека, экспертная оценка, все подчеркнуто деловое, четкое, лишненное особых эмоций и тем более всяких стилистических красотостей. Рациональное, внятное письмо для занятых людей, желающих знать самую суть дела. Предполагаемый читатель «Коммерсанта» — человек, цивилизованное общество. Даже в отделе культуры здесь не очень поощряются вольности и игривости. И вот этот строгий мир оборачивается на последней полосе не просто лирической словесностью, но еще и словесностью, представляющей достаточно понятную вещь (еда, ресторан) как иррациональную феерию. Еда — универсальный символ потребления. «Ресторанный критика» — самая акцентированная рубрика о потреблении. Потребление, которое вроде мыслится как подчиненное человеку, вдруг пугает чеширской улыбкой демона Максвелла. Толстая мурашка возникает на спине, взбегает на плечо, и быстро спускается по руке, и множится по дороге, и ты уже не совсем знаешь, кто так мелко раскачивает кончики пальцев.

Что касается оборотного способа иррационализации еды — того, что эксплуатирует формулу «покроши, потуши» и неплохо представлен в первом абзаце примером из В. Г. Сорокина, — то он, кажется, ныне вполне приручен и получил повсеместное распространение. Трагические, полные всякой сакралки рецепты коктейлей из «Москвы — Петушков» так хорошо пропитали пирог культуры, что спокойно аукаются в детской литературе.

У Григория Остера — «Борщ из ябед с драчунами»:

«Взять одинаковое количество ябед и драчунов, посадить в одну и ту же кастрюлю, заливать томатной пастой, хорошо перемешать и варить, часто бросаясь в ябед и драчунов свеклой. В уже готовый борщ вместо соли можно добавить несколько плакс».

Или у не столь известного Христо Христова — «Рецепт жареных апельсинов»:

«Возьми три крупных апельсина, сними с них кожицу и, напевая веселую песенку, съешь один апельсин, а два других порежь на кубики 1 сантиметр на 1 сантиметр и положи на предварительно разогретую сковородку. Не забудь положить туда свежего сливочного масла, нарезанного кубиками 1 сантиметр на 1 сантиметр. Закрой сковородку крышкой. А перед готовностью (жарить нужно недолго) посыпь жареные апельсины мелко нарезанным зеленым луком, полей клубничным вареньем и капни пару капель свежезаваренного чая».

«Ты тоже усмехнулся ей в ответ...»

●

Борис Заходер. Почти посмертное. Государственный культурный центр-музей В. С. Высоцкого. Библиотека «Ваганта». М., 1996.

●

Есть у Бориса Заходера шуточное стихотворение, в котором рассказывается, как решил он однажды найти хоть какого-нибудь своего однофамильца. Изучил от корки до корки все телефонные книги, какие только сумел разыскать «в Москве, в Петербурге, в Рязани и в Риге, в Париже, в Берлине и даже в Нью-Йорке», но так нигде и не нашел ни одного Заходера. Фамилия оказалась не просто редкая, а прямо-таки уникальная. Обстоятельство это наполнило его душу немой гордостью: что ни говори, а приятно все-таки сознавать свою единственность.

И вдруг оказалось (какая жалость!),
Что все это мне, увы, показалось:
В литературе сверх всякой меры
Буквально кишмя кишат Заходеры!

Смотрите сами: вот есть, например,
Детский писатель Борис Заходер.
Есть переводчики — взрослый, детский,
Польский, английский, чешский, немецкий...

У всех у них разные интересы,
Хотя они все как один Борисы:
Один Заходер сочиняет пьесы
(Его, очевидно, волнуют актрисы!).

Тот пишет сказки про разных тварей,
Тот норовит смастерить сценарий;
Есть среди них даже автор либретто.
Тут не хватало только поэта!..

Да, действительно... Все знают Бориса Заходера, подарившего нам Винни Пуха, Мэри Поппинс и Питера Пэна. Заходера, создавшего уникальный, единственный в своем роде пересказ принципиально непереводимой «Алисы в стране чудес»! (Он смело окунул британскую героиню этой знаменитой книги в мир русского детского фольклора, заставив ее путать и переиначивать на свой лад не английские Nursery Rhymes, а стишки, которые на слуху у российских мальчишек и девочек, — «Чижик-пыжик», «Дети, в школу собирайтесь», «Вечер был, сверкали звезды»...) Знают также многочисленные Заходеровы сказки, загадки, считалки, шутки, прибаутки и прочие, как он сам их называл, «мелкие заходерзости». Все они, кстати, были написаны стихами, притом виртуозными. (Борис Заходер — один из самых блистательных современных российских стихотворцев.)

Так почему же в таком случае автор этого шуточного стихотворения говорит, что среди множества Заходеров, столь усердно и плодотворно подвизающихся на ниве отечественной словесности, до недавнего времени не хватало Заходера-поэта? Неужели он так низко ценит все прежние свои стихи? Или он просто оговорился, неудачно выразился?

Нет, это не оговорка.

Доказательством тому может служить коротенькое предисловие к только что вышедшей тоненькой книжечке, которую он грустно озаглавил — «Почти посмертное»: «Странное название, не спорю. Но когда человек выпускает (точнее — надеется выпустить) в свет свою первую книгу стихов на семьдесят восьмом году жизни, то — если учесть среднюю продолжительность жизни мужчин в нашей прекрасной стране — название это не покажется таким уж странным. Автор имеет на него право».

На этот счет никаких недоумений действительно не возникает. Название хоть и не совсем обычное, но он и в самом деле имеет на него право. Непонятно другое: почему все-таки эту тоненькую книжку он всерьез, уже без всяких шуток и огово-

рок, называет своей **первой книгой стихов?** Словно до нее он никаких стихов никогда не публиковал.

Давным-давно Борис Житков сочинил такой иронический диалог:

— У вас есть пистолет?

— Да, только детский.

— Вы — писатель?

— Да, только...

Может ли быть, чтобы Борис Заходер, всю жизнь сочинявший стихи и сказки для детей, разделял этот уничижительно-пренебрежительный взгляд на призвание детского писателя? Неужто и он тоже детскую литературу почитает литературой второго сорта, чем-то вроде ненастоящего, игрушечного, детского пистолета?

Нет, дело не в этом.

Просто у него иной, более высокий взгляд на роль и назначение поэта. А также на смысл и назначение поэзии. Поэзии без каких бы то ни было эпитетов — «детская» или, скажем, «ироническая» (мелькает в последнее время и такое, словно бы извиняющееся определение).

В пятнадцати сонетах, формально замыкающих книгу, а по существу, составляющих ее **сердцевину**, Заходер делится с читателем своими размышлениями о **вечном** — о жизни и смерти, о бренности всего земного, об Истине и о Боге, о божественном даре человеческой речи, но более всего — о природе художественного творчества:

Нет ничего святого у поэта!
Что может быть святого у того,
Кто отдает на поруганье света
Святые тайны сердца своего?

Это могло бы показаться цинизмом, этаким нарочитым нигилистическим кощунством, если бы не финал стихотворения, в котором выясняется, что у поэта все же есть своя — правда, единственная! — святыня:

Да, он с усмешкой смотрит на святыни,
Не верит в рай и презирает ад;
Он знает — все его слова звучат,
Как голос вопиющего в пустыне,—
Но для него страшнее адских мук
Пустое слово и неверный звук.
Как будто этот звук невдохновенный
Разрушит всю гармонию вселенной.

Русские поэты советского периода — даже те, кого мы уже причислили (и справедливо причислили) к сонму великих, — мучительно выясняли свои взаимоотношения с партией, с народом, страной («Я хочу быть понят родной страной...»), с временем («И разве я не мерюсь пятилеткой...»), с эпохой («Мне на плечи кидается век-волкодав...»).

Заходер озабочен своими взаимоотношениями с **вселенной**:

Сказать ли правду? Памятников — нет.
Ни рукотворных, ни нерукотворных.
Настанет срок — увы, сотрется след
Всех наших дел — и славных, и позорных.

Начало — откровенно полемическое. Вторая строка целит чуть ли не в самого Пушкина: это ведь он гордо объявил, что памятник себе воздвиг нерукотворный.

Но при всей своей полемичности мысль не такая уж новая. Вспомним хотя бы знаменитое державинское:

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

А если что и остается
Сквозь звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Но Заходер и эту вечную тему разворачивает по-своему:

Сотрется след побед и прочих бед,
След вдохновений и трудов упорных,
Черты царей на серебре монет
И надписи в общественных уборных...

Последняя строка, уравнивающая все вдохновенные усилия сынов человеческих с надписями в общественных уборных, вносит в заходеровское развитие этой традиционной темы свою, индивидуальную краску. Но по-настоящему оригинальным это стихотворение делает венчающее его — воистину небанальное! — утешение, которое все-таки находит для себя поэт:

Ведь всякий срок — увы, всего лишь срок.
И он пройдет. Сотрется след вселенной,

Где мы с тобой сумели — между строк —
Прочтешь усмешку вечности. Мгновенной.
Сотрется след... Но не горюй, поэт!
Ты тоже усмехнулся — ей в ответ.

Российский литератор — такова одна из главных особенностей нашего отечества — все свои душевные силы неизменно тратил на раздумья о том, как бы лучше обустроить Россию. И поэтому, неведомо сострил в одном из последних своих фельетонов Леонид Лиходеев, поэт у нас больше, чем поэт, а корова меньше, чем корова.

Но что Лиходеев, если даже Маяковский, этот ассенизатор и водовоз, агитатор, горлан и главарь, «поставивший свое перо в услужение коммунистической партии и советского правительства» (собственные его слова!), если даже он грустно вздохнул однажды:

«Всех писателей сделали глашатаями правды, афишами добродетели и справедливости... Из писателей выживают чиновников просвещения, историков, бюрократов нравственности... Памятник поставили не тому Пушкину, который был веселым хозяином на великом празднике красочетания слов и пел:

И блеск, и шум, и говор балов,
И в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.

Нет, на памятнике поместили: за то, что

Чувства добрые он лирой пробуждал...»

Если бы случилось так, что Борису Заходеру вдруг вздумали (разумеется, не сейчас, а когда-нибудь, в будущем) поставить памятник, на памятнике этом надо было бы пометить совсем не то, что замечательный поэт этот веселыми книжками своими способствовал нравственному и общественному воспитанию советской детворы. Нет, на его памятнике следовало бы начертать именно вот это, им самим открытое и сформулированное:

...Не горюй, поэт!

Ты тоже усмехнулся ей в ответ!

Бенедикт САРНОВ

Попытка рецензии

●
●
●
Алексей Пурин. Евразия. Другие стихотворения. СПб., «Пушкинский фонд», 1995. Тираж 500 экз.

Жанр рецензии предполагает некий набор обязательных сведений об авторе. Вот они: родился в таком-то году, такие публикации там-то и там-то, тогда-то вышла такая-то книга. Автор принадлежит к такому-то поколению, направлению, течению. Об этом все. Пуринская книга состоит из двух частей: «Другие стихотворения» и «Евразия». Будучи аккуратным рецензентом, я делю свой текст на две части: первая посвящена «Другим стихотворениям», вторая — «Евразии», тем более что эти главы развивают два сюжетных отклонения одной темы.

Что еще? Да-да, чуть не забыл: автор показывает что... чувствуется влияние... лирический герой... Бахтин писал... автор смог... автор выразил... в наше время.

Часть I. На подступах к Евразии

Я видел: мрамор Праксителя
Дыханьем Ваховым ожил.

Вячеслав Иванов.

И в драме, и в эпической поэме, и в сказке образ ожившей статуи вызывает в сознании противоположный образ **омертвевших людей**, идет ли речь о простом сравнении их со статуей, о случайном эпизоде, об агонии или о смерти.

Роман Якобсон.

Постой... при мертвом!..

Александр Пушкин.

Чем встречает нас «Алекса́ндро-Невская лавра» — первый цикл «других стихотворений»? Тупым гудением первой строки первой строфы:

Патлатых тополей столетний люминал¹.

¹ Страшное слово, тупиковое: с тупичкового «ль» начинается и тупиковым «л» закрывается (язык взлетает к верхнему небу и замыкает выход из гортани).

Гул завершается сперва негромким «ла» мычащего «мыла» (последняя строка первой строфы) и травестийным «ля» начала следующей строфы («Ну и наляпано!»), где возникает вдруг «ноль» — страшный, круглый, пустой ноль — сама Смерть:

Ну и ноля полно!

Где же полно ноля? Где полно смёрти? На кладбище, в Александро-Невской лавре, например. Но вот еще вопрос. Является ли смерть незримой субстанцией, растворенной в воздухе — этом эликсире жизни (на манер сухого напитка «Ин-вайт» — только добавь воды), или же смерть, вернее, Смерть, — объект, имеющий геометрию, архитектонику, пределы и возможности? Автор колеблется. В первом стихотворении смерть сыпуча, мимолетна, инфекционна: «грошовое забвенье незабудок», «гречиха чахлая»; но уже во втором — принимает более скульптурные, «культурные» очертания: «базар антикварный», «вазы, чернильницы и циферблаты», «нагие эфебы над урной матроны». Это Смерть как предел Жизни, как прекращение движения, как скульптура, как артефакт, «пленительная фальшь»:

Кто при жизни позволить себе выкрутасы
мог такие — лежать, опираясь на локоть,
скинув кивер?²

Впрочем, есть опасность, что скульпторы могут оказаться заводными фигурами. Поэт входит «в сад» (читай — «на кладбище»), дабы «развеять печаль», и вот его и гипотетического(-ую) спутника (-цу) встречают, выскакивая из-под земли, разные примечательные чудики: нимфы, орлы, Достоевские, «ангелы без креста», кресты без ангелов, худые скрипачи, «пухлые амурсы». Кажется, сейчас запищит Майкл Джексон: «Триллер!» Или чугунные музы сбациают «Оперу нищих». Но нет, все на местах, Смерть застыла в бронзовом карауле, она «над», а не «под» землей («Нет смерти в недрах глины»). Ее искусственность, трехмер-

² Хорошее название для постмодернистского опуса: «Смерть как выкрутас».

ность, красота лечат от страха, успокаивают:

Чей бюст горит как медный таз?
Чем успокаивает нас
осанка балерины?

Но почему именно эти позы, стойки, воздетые руки? Прочитируем отчет одного любителя скульптуры дублинского некрополя: «Он тут насмотрелся вдоволь на уходящих в землю, укладывает ими участок за участком вокруг. Святые поля. Больше было бы места, если хоронить стоя. Сидя или же на коленях не выйдет. Стоя? В один прекрасный день оползень или что, вдруг голова показывается наружу, и протянутая рука... Мистер Блум шагнул в одиночестве под деревьями меж опечаленных ангелов, крестов, обломанных колонн, фамильных склепов, молящихся с поднятыми горé взорами...»

Так или иначе, но в стихотворениях Пуринина именно такая красота, именно такое искусство может быть — отделенное своей телесностью, застывшее в неестественной (значит, искусственной) позе, акмеистически-петербургски вещное. Здесь, на Севере Европы, тяжесть рождает нежность, скульптура оборачивается поэмой, поэма — скульптурой, маятник застывает лимитрофной Свободой:

Где сингапурский загар? Где греческий
запах йода?
Где кварцевый пляжный блеск?.. Лишь как
неужный отвес
или застывший маятник, ульманисова
Свобода
свисает с отяжелевших, насупившихся небес.

Боже мой! А что здесь, в Северной Европе, за лица, не лица, а профили на тяжелых серебряных монетах уверенных в себе держав:

Бисмарки-рыбаки и Гинденбурги-лесничие
даже и пиво табачное пьют, нахмурясь,
желтая горечь и полное безразличие...

Вот он, застывший, холодный, прекрасный, безразличный Север, чеканный профиль Смерти, Европа. Что же Юг, Евразия? Она — теплая, влажная, длинная — гусеницей заползает в стихи,

медленно, осторожно, случайно в стихотворении «Крестовские корты» возникает строчка «гамбиты бабочки узорчатой Лолиты».

Вообще «Корты» — любопытный пример мимикрии «Евразии» под «Европу». На первый взгляд антураж тот же, что и в «теннисных» стихах Мандельштама, Палея, Набокова:

Такие свежие на них трусы и майки,
как будто оксфордские раскрываешь книжки.

Но по пуринскому корту белой бабочкой порхает не «англичанин вечно юный», облечен «в снег альпийский» не «юноша белый и легкий», а

Аристократия из ресторанной шайки,
героев отпрыски, комфорта нуворишки.

Это Евразия припудрилась альпийским снегом, именно она (волей-неволей) привлекает внимание, отравляет мысли всякой чепухой, вроде:

И упоительней ментоловой облатки
прохладца сбившихся со счета пятилеток.

Там, где у Набокова «юности белой игра», у нашего поэта — «пятилетки». Впрочем, говорит это не о специфической «совковости», скорее о «российскости», «евразийскости». Похожий случай произошел в 1898 году с Розановым: «Ну пристало ли, ну не дико ли среди красот Военно-Грузинской дороги думать о чиновниках, чиновничестве? Вот подите же! — неотступно думал и впервые, грешный человек, именно на этой чудной дороге я подумал с уважением о чиновнике». В связи с этим можно вспомнить знаменитый анекдот о солдате, который, глядя на кирпич, думал о «бабах», потому что он «всегда о них думает».

Вот мы незаметно и до армии добрались. Той самой, которой посвящен цикл стихов, давший название всей книге. Цикл называется «Евразия». То, что «Евразия» равняется «Армии», становится ясно еще в одном из «других стихотворений»:

О, блаженный воздух единообразия!
Ничего нет безалабернее армии.
Разве Крым — еще Европа, а не Азия,
навсегда осоловевшая в казарме
и гареме?

В приведенной строфе сконцентрированы все опознавательные признаки «Евразии — Армии»: «единообразие», «безалаберность», «осоловелость» (безмыслие+бесформенность), «гарем» («я всегда о них думаю»). Цикличность, бесформенность, неинтеллигентность, стремление к продолжению рода. Что это? Ответ: Жизнь.

Часть II. Евразия: география и население

Всему виной быстрый распад
времени, оставленного без постоянного
бдительного присмотра.

Бруно Шулиц.

Другую жизнь узнал тот угол,
Где смотрит Африкой Россия,
Изгиб бровей людей где кругол,
А отблеск лиц и чист, и смугол,
Где дышит в башнях Ассирия.

Велимир Хлебников.

Они набрасываются на нас уже в первом стихотворении цикла «Евразия» — длинные, непроизносимые, ощетинившиеся ножками «р», хвостиками «щ» и «ц», крапленные точечными «ё», разглядывающие пришельцев в пенсне «ф». Евразийские слова. Симулякры настоящих слов. Единственная в своем роде лексика этого евразийского Тлёна. «Лесозаготовительный ВСО», «размусоливание», «собственноручной», «версифицированный»; наконец, местный шедевр, эдакий лексический железнодорожный составчик: «подчасразве-место-имеющих-и-то-на-периферии». «Ту-ту! — по-детски кричит автор.— Поехали!»

Всего 30 станций между первой — «Внутренняя рецензия» и последней — «Без названия». Уже на второй мы обнаруживаем, что время исчезло, привокзальные часы показывают семьдесят две минуты сто сорок первого, год... ну, хотя бы одна тысяча восьмисотый — год написания державинского «Снигиря». Эта евразийская станция (стихотворение), кстати, тоже называется «Снигирь». Пуринский «Снигирь» начинает прыгать там, где отпрыгал свое державинский — Суворов.

Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что воевать? —

воскликает киргиз-кайсацкий сенатор.
Лейтенант Пурин прибавляет:

В самом деле, должно быть, глуповатая
флейта насвистывает
птичьи эти мотивчики. Оттого
и склонность такая
к побрякушкам, петличкам, погончикам,
детская и неистовая,
словно к спичечным этикеткам...

И чуть позже:

На столетье не грех ошибиться...

И наконец:

Та же пташка сидит с металлическим
клювом на жердочке,
те же семечки сыплются подслеповатыми
звуками.

Время выкачано из этой санатории под
клепсидрой, впрочем, осталось простран-
ство с его географическими пунктами —
«Поселковый клуб», «Баня», «Верхние
Важины». Территория Евразии — домен
Мифа, его «альма-матка», по мнению
многих, неиссякаемый источник «правды-
матер». Дионис — вот здешний хмельной
хозяин, хранитель, гений места и майор-
дом одновременно. В пуринском цикле
Диониса зовут «капитан Филимонов»⁴.

А вот и жанровая вакхическая кар-
тинка:

Ресторанчик для заиндевших в глубинке
солдафончиков. «Девочек» дряблые спинки
лиловеют... Ау, «декабристка», мороз!
Алкогольная нимфа!.. Как врет без запинки
Филимонов, ей в ухо засунувши нос⁵.

Разве не о том же писал другой заядлый
путешественник по дионисовой Евра-
зии — Вячеслав Иванов:

Зимой, порою тризн вакхальных,
Когда менад безумный хор
Смятеньем воплей погребальных
Тревожит сон пустынных гор...

(«Тризна Диониса»)?

⁴ Обратите внимание на греческое происхождение этой фамилии.

⁵ Странное иносказание. Для поверенных в делах Вены в России? Для авторов книг, вроде «Психодиахронологика»?

Но пуринский Дионис — Филимонов (может быть, капитана Филимонова и впрямь зовут Денисом?) в тризнах не нуждается: жив-здоров, тянет понемногу свои оргии в компании Сатира — рядового Шалданова («У рядового Шалданова — ну до колен / точно полено!») и Виночерпия — прапорщика Пономарева («А потом за тушенкой и луком бежит на кухню. / Сейф раскрыв, разливает поспешно. Захлебы. Всхлипы»).

А вот и сами оргии:

Среди ночи в котельную дверь отворяю —
«Playboy»!
На крючок бы закрылись, топчан затащили
б за шкаф,
потушили бы лампу!.. В одних сапогах
рядовой
Бурлаков... Кладовщица, его оседлав...

Узнаю тебя, Скифия, Паннония, Ин-
гро-Карелия, Фракия, Трапезундия, Со-
ха, Хива и Бухара! Всё, или почти всё,
что великий Александр схватил своей то-
ченной аполлонической рукой, но не удержал,
размяк от вина и малярии, выпустил,
и оно («всё») растеклось на полмира
и застывает. Евразия. И спустя более
двух тысяч лет другой Александр (вели-
кий, но местного масштаба; суровый, су-
ворый) повел Евразию на Европу, но,
скованный кристальной альпийской стужей,
не сумел завоевать даже курортную
Швейцарию. Постепенно границы Евра-
зии установились, обособилась та (по вы-
ражению Победоносцева) «ледяная пус-
тыня», по которой гуляет и лихой чело-
век, и казак молодой, и капитан Тушин, и
тушинский вор, и Дионис Давыдов, и Ди-
онис Филимонов. Пусть «пустыня»⁶, но
населена густо, словно рубенсова мифо-
логическая мясная лавка. Вот еще один
абориген:

высунется рожица малайская, зловещая
из прибрежных зарослей, лаково-ореховая.

С этим малайцем мы уже знакомы по
опиумным кошмарам Де Куинси, по гек-
заметрическим кошмарам Белого. Пол-
ное смешение, ершистый коктейль на кар-
ельских rocks... География накладывает-
ся на географию, как тело на тело:

⁶ Противоречия между «пустыней» и «густо населена» нет. В «пустыне» прежде всего не людей нет, а истории, времени. «Пустыня» — чистое пространство вне времени.

И скандальная у прапорщика Цебрия
история —
разродится турком дочка собирается...
Сербия такая, Черногория
в нашей темной Скандинавии, Аравия!

Нет, не двинется более всей массой Евразия на Европу, слишком занята собой, кипит, булькает, хлюпают. Повторим вновь державинское:

Львиного сердца, крыльев орлиных
Нет уже с нами! — что воевать?

Действительно, что воевать? Ссадим-ка мы лучше снигиря ловким выстрелом из рогатки, приговаривая:

Заткнись, пичужечка! Довольно
выкаблучивать
Про бравого тушканчика Суворова.

И точка.

Прелесть пуринской книги, особый изгиб ее интонации рождены энергией поля меж двумя полюсами: между прекрасной, скульптурной, мраморной Смертью (Петербургом, Европой) и бесформенной, кишасшей, алчущей, смуглопотной Жизнью (Евразией). Слева — Аполлон из Летнего сада, справа — Дионис в армейской шапке набекрень. Посредине — поэт:

Да и ты, среди картин гуляющий
и чужим пыланием взволнованный,
радуешься вдруг всепоглощающей
тишине забвенья загипсованной.

Кирилл КОБРИН

«Прорвется стих в расхлябанном стишке»

●

Леонид Григорьян. Терпкое благо. Стихи. Ростов-на-Дону, «Гефест», 1995. Тираж 500 экз.

●

Правозащитник-диссидент, переводчик Камю и Сартра, Леонид Григорьян (на

долгие годы уходивший от идеологического присмотра и давления в строгое преподавание латыни) остается центром притяжения для молодых ростовских интеллектуалов, но широкий читатель не имел возможности познакомиться с этим парадоксальным и грустно-ироничным поэтом... Ситуация изменилась в последние годы, когда вышли лирические книги «Вечернее чудо», «Затерянная тетрадь», «Мчатся тучи», «Светает».

Поэтический сборник Леонида Григорьяна «Терпкое благо» — книга жесткая и печальная. Пять экзистенциально-лирических тем заявлены автором открыто и четко. Привычная тоска, сквозь которую прорастает скорбная радость жизни. Наши отчаянные дни, когда «все перевернулось», а растерянный провинциал, «сосед-маргинал» со злобой, но и с болью пытается понять, что же произошло и что же ему теперь делать. Горькое подведение итогов, когда поэту «уже не тридцать — дважды тридцать». Конечно, творчество. И, конечно, любовь.

Резкое пересечение этих тем, столкновение высокого и низкого, сентиментальности и цинизма, молитвенной любви и грубой ревности, «самоменья и самопрезренья» порождают странное, подчас неприятное, но неизменно тревожное впечатление. Вся книга словно бы резкий и болезненный вскрик, но ведь поэт знает:

Доконала паскуда-тоска,
Затопила его мелочами...
Но из темени, издалека
Не сдается и дышит пока
Не хрипящая мукой строка —
Музыкальная фраза молчанья.

Просветленного молчания нет в книге, есть мучительная невозможность заговорить, сказать, понять даже самого близкого человека.

А вокруг скрежещут «голоса» — привычные голоса нашего сегодня (а может быть, и нашего «всегда»), как в гротескном «Вопле маргинала»:

Бухнуть, кирнуть, наклюкаться, поддать,
Шарахнуть, налакаться, вмазать, врезать,
Набраться, тяпнуть, хряпнуть, заложить...

Переплетение поэтической речи, привычно и как бы невольно расцветенной

родными для латиниста образами античности, с жаргонной лексикой, с грубым просторечием далеко не всегда представляется уместным и порой производит даже комическое впечатление. Это прежде всего касается публицистических, «политических» стихов, которые откровенно не удаются Леониду Григорьяну, хоть и воодушевлены лучшими чувствами интеллигента-гуманиста.

Но когда закружит мокрым снегом то-скливый ростовский декабрь, и одинокий поэт остановится с потухшей сигаретой у черного окна, и появятся первые неуверенные строки, которые сохраняют надежду, что можно заговорить и можно быть услышанным, то...

Прорвется стих
В расхлябанном стишке...

Сергей КАМЕНСКИЙ



К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
Рукописи редакция не возвращает.
Рукопись может быть возвращена в течение года при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на пересылку.

*Читайте
в ближайших номерах:*

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН
ЛЕТИТ СЕБЕ АЭРОПЛАН

СВОБОДНАЯ ФАНТАЗИЯ ПО МОТИВАМ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА МАРКА ШАГАЛА

«В переполненном зале академии искусств на сцене расположились участники предстоящего диспута между Шагалом и Малевичем. В центре председатель, слева Малевич, несмотря на свой радикализм, в строгой пиджачной паре, при галстуке, справа Шагал в косоворотке и кожаной куртке. За спиной обоих участников располагался небольшой хор для поддержки основных идей. У Малевича в хоре преобладали женщины. На стенах были развешены образцы живописи обоих дуэлянтов. Акварели Шагала и геометрически выстроенные фигуры Малевича.

— Начинаем театрализованный диспут на тему «Формы и краски» между товарищами Шагалом и Малевичем. Дуэлянтов ко мне. Орел или решка?

— Орел,— сказал Малевич.

— Ваше начало, Казимир Малевич,— сказал председатель».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года «Октябрь»
собирается опубликовать
на своих страницах:*

Анатолий АНАНЬЕВ. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Книга вторая.

Игорь ВОЛГИН. «Родиться в России...». Достоевский и современники: жизнь в документах. Книга вторая.

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Летит себе аэроплан. Свободная фантазия по мотивам жизни и творчества Марка Шагала.

Бахыт КЕНЖЕЕВ. Письма к Господу Богу. Роман.

Руслан КИРЕЕВ. Витгинские легенды. Рассказы.

Юнна МОРИЦ. Рассказы.

Анатолий НАЙМАН. Славный конец бесславных поколений. Рассказы.

Олег ПАВЛОВ. Дело Матюшина. Повесть.

Записки из-под сапога. Рассказы.

Михаил ПРИШВИН. Дневник 1938 года.

Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ. Быть! Документальное повествование.

А также новые произведения Алексея ВАРЛАМОВА, Михаила РОЩИНА, Генриха САПГИРА, Асара ЭППЕЛЯ.

Москвичи и жители Подмосковья могут по льготной цене оформить подписку на «Октябрь» непосредственно в редакции (ул. «Правды», 11/13) и получать журналы у нас — с 12⁰⁰ до 17³⁰.

Телефон для справок: 214-31-23.
